

# МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ





Москва, ЗАО «Духовная Нива», 2005

Алексей Петрович Арцыбушев



ISBN 5-87785-028-8  
УДК–821.161.1-94  
ББК–84(2РОС=РУС)6-4  
А-88

В автобиографической повести «Милосердия Двери» рассказывается о жизненном пути, пройденном автором со дня его рождения в 1919 году у стен Дивеевской обители до момента реабилитации в 1956 году. Лейтмотивом повести является неисчерпаемое милосердие человеческих сердец, неистребимо живущее в них, несмотря на всю сатанинскую злобу, господствующую в эпоху коммунистического террора и сталинского геноцида в многострадальной России.

© ЗАО «Духовная нива», 2005  
© А.П. Арцыбушев, 2005

## «ЗДЕСЬ ТАЙНО БОЖИЙ ГРАД ЖИВЕТ»

(Автобиографическая проза Алексея Арцыбушева)

Книга, которую вы держите в руках – уникальна. Ибо судьба автора, описавшего на ее страницах свою жизнь, воистину удивительна.

Алексей Петрович Арцыбушев. Имя это вряд ли что скажет даже искушенному читателю. Но уверен, стоит лишь перечислить то, к чему он был причастен за свою более чем 80-летнюю жизнь, многим он окажется человеком весьма близким. Впрочем, судите сами...

Внук министра юстиции и министра внутренних дел Российской Империи Александра Алексеевича Хвостова («старого Хвостова», как называли его в своей переписке Царственные Мученики), сын тайной монахини в миру м. Таисии (постриженицы старцев, известных своей твердостью в вере и уставной строгостью, московского Даниловского монастыря), родился он в Дивееве, в доме Михаила Васильевича Мантурова – одного из создателей этого любимого детища преподобного Серафима.

Первые шаги по земле, исхоженной стопочками Царицы Небесной. Детство, совпавшее с предзакатными годами существования будущей Великой женской Лавры, перед самым осквернением ее «бесами русской революции», куда буквально со всей России устремился неостановимый поток паломников. Здесь перед «погружением во тьму» Святая Русь получала во укрепление Батюшкино благословение.

И каких только людей здесь не было! Простые мужики и бывшие царские сановники, епископы и монахи, студенты, профессора и фабричные работницы. Будущие церковно прославленные и безвестные мученики и страдальцы. Многие из них заворачивали в гостеприимный дом Арцыбушевых, располагавшийся в трехстах метрах от построенной еще матушкой – первоначальницей Александрой Казанской церкви, той самой, которой, по обетованию Серафимову, суждено стать «ядрышком» будущего чудного Нового собора....

В этом-то домике незаметно возрастал мальчик — внук, сын и племянник монахинь, посошник священномученика епископа Серафима (Звездинского), еще в молодости за свои дивные проповеди прозванного Среброустом.

Потом был разгон Дивеева, высылка в Муром. Улица с ее беспощадными законами. «Чтобы выжить, я должен был стать таким, как все мои сверстники». Но не стал. Не позволило дивеевское детство:

Когда ты этот путь проходишь,  
Склони чело у тайных врат,  
Забудь о злобе и невзгодах,  
Будь нежен: каждый встречный — брат...

Этот внутренний дивеевский стержень не позволит ему и в дальнейшем сломаться, поможет каждый раз после очередного падения встать и идти дальше.

Впрочем, рассказывать о жизни Арцыбушева — это значит пересказывать его книгу. Делать мы это, разумеется, не будем. Но обойти одно из его жизненных обстоятельств все-таки невозможно. Имеем в виду 10-летнее пребывание Алексея Петровича в лагерях и ссылке в послевоенное время, подробно описанное в его повествовании.

Лагерная тема для большинства из нас связана с именами В. Шаламова и А. Солженицына. Это описание ада на земле, созданного для одних людей людьми другими, соотечественниками, часто товарищами по работе, соседями, а иногда даже родственниками. Кажется (по густоте сконцентрированного зла), что человеку там просто не выжить. Жестокая проза, но, наверное, необходимая, чтобы пробудить нашу спящую совесть.

У Арцыбушева же все по-другому. Нет, в его заполярной зоне было не легче. И лагеря те же, и время то же. Просто весь тот ужас прошел через восприятие человека глубоко верующего.

«...Все мытарства, выпавшие на мою долю, — пишет А. П. Арцыбушев, — принимал как заслуженное, как наказание за свои грехи. Такая внутренняя позиция справедливости наказания, ее необходимости для меня, помогала мне и поддерживала в трудные

минуты жизни. Внутри себя, в своей душе, я все принял как должное, как необходимое для меня испытание».

Нет, это вовсе не толстовство с его «непротиплением злу силой». Именно активное сопротивление — злу (на следствии и в лагере) — помогло ему выжить и выйти на свободу. В лагерном формуляре для сведения конвоя так и значилось: «Дерзок! Скользок на ноги!»

Читаешь все это, а на память невольно приходит житие преподобного Ефрема Сирина. Этот сын землевладельца из г. Низибии в Месопотамии, живший в IV веке, в юном возрасте отличался раздражительностью и безрассудством. Ложно обвиненный в краже овец, он попал в темницу. Вскоре туда ввергли еще двоих, также невиновных в этом преступлении. Там на восьмой день во сне он услышал голос: «Будь благочестив и уразумеешь Промысл; перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал, и по себе дознаешь, что эти люди страждут не несправедливо, но не избегнут наказания и виновные». Эти слова так поразили юношу, вспомнившего прошлые свои грехи, что после этого он твердо встал на путь исправления.

Этот высокий христианский дух явственен и в словах Алексея Петровича: «Вспоминаю без всякой ненависти и озлобления и всех вертухаев и множество разных «гражданов начальников», от которых зависела моя судьба, жизнь, смерть. Зло и ненависть, правящие тогда свой кровавый пир, гасились в душе моей могучей силой самого маленького добра, живущего даже в самом тщедушном теле последнего доходяги. Эту силу всепобеждающего человеческого добра я ощущал на себе, оказавшись и в пожизненной ссылке все на том же Крайнем Севере, но уже без привычного своего номера У-102 на спине».

Здесь мы подходим к стержню, лейтмотиву всего в целом повествования Алексея Петровича Арцыбушева. «Вспоминая всю свою прожитую жизнь,— пишет он, — в особенности сейчас, когда я пишу о ней, свидетельствую:

### **МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ ВСЕГДА БЫЛИ ОТКРЫТЫ!**

В тяжелые моменты и обстоятельства всегда приходила помощь — неожиданная и чудесная».



Прошли годы. Позади лагерь, ссылка. Возвращение к нормальной жизни. Без колючей проволоки, лая сторожевых псов, окриков конвоиров, пронизывающих ночь лучей прожекторов, без обязательных отметок в комендатуре и, вообще, без отношения к себе как к недочеловеку. Семья. Работа в комбинате графического искусства. Жизненные падения и восстания. Много было всего... И вновь в его жизнь вошло Дивеево. Возвращение в мир детства. Работы по восстановлению иконостаса Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря. Таким, каким он помнил его, до того как во вьюжный декабрьский день 1930 года его с семьей изгнали из дивеевского гнезда. Причастность к изготовлению ризы на вышедшую в июне 1991 года из долголетнего затвора Великую Дивеевскую святыню — образ Божией Матери «Умиление» — келейную икону преподобного Серафима, перед которой он и предал дух свой Богу. Сошлись начала и концы...

Сейчас трудно себе представить, что все это так и осталось бы не запечатленным на бумаге. А ведь это вполне могло бы произойти, не благослови Алексея Петровича на писательский труд близкий ему священник о. Александр Егоров. «Это необходимо не для Вас, — напутствовал он автора, — а для тех, кто будет жить после Вас».

Вот так и родилась эта книга. И нельзя не позавидовать тем читателям, которым еще только предстоит общение с ее талантливым автором и людьми, с которыми он совершил свой нелегкий путь длиною в жизнь.

Сергей ФОМИН

## ЧАСТЬ I

**У** каждого человека — своя судьба, свое место и время рождения. У каждого человека — свой жизненный путь, который он должен пройти в этом мире. У одних он очень короткий, у других — длинный. Но у каждого человека, пришедшего в сей мир, есть свое назначение, свой предопределенный Богом путь, от которого как бы он ни старался уклониться, но пройти его должен. Это особенно становится ясно, когда, прожив большую жизнь, оглядываешься на пройденный путь и видишь его как бы с птичьего полета, охватывая целиком, без остатка. И тогда увидишь Божественную руку, что вела тебя и ведет через все испытания жизни.

Со мной это произошло в осеннее утро, когда природа готовилась к зимнему покою, скинув свой золотой убор. Стояла ли она обнаженной в лучах осеннего солнца или зябко мокла в морозящем тумане осеннего утра — для меня это осталось тайной. Но, критически оглядывая свою жизнь, думаю, что я родился в ясное, солнечное, осеннее утро. Вы спросите: почему? Да потому, что в самые мрачные, в самые безысходные дни и годы моей жизни, в самой её преисподней, я ощущал тот первый свет и тепло незримого солнца. Оно давало мне надежду, веру и радость.

Еще задолго до моего рождения, родители моего отца облюбовали себе дивное святое место, среди ржаных просторов, рощ и перелесков, переходящих в дремучие сосновые леса, на границе Арзамасского уезда с Тамбовщиной, в двенадцати верстах от Саровской пустыни. Здесь воссияло великое и дивное солнце, величайший из Российских святых — преподобный Серафим. На берегах ничем не примечательной речушки Вучкинзы, по одну её сторону раскинулось село Дивеево, известное всей России не как село, а как Дивеевский женский монастырь, основанный первоначальноницей монахиней Александрой Мельгуновой (ныне канонизированной преподобной Александры Дивеевской). В создании этой обители по велению Божией Матери деятельное участие принял прп. Серафим Саровский. По указанию батюшки строилась обитель



Батюшка Серафим Саровский.



Делана Исауров Москва 1 Октабра 1905 года.

Дит. Серафимо-Дивбековскаго Монастыря Бив.

**Первоначальница Юнахима Явенсаидова  
Серафимо-Дивбековскаго Монастыря**

его духовным чадом Михаилом Мантуровым. Прп. Саровский исцелил его от недуга, в котором врачи оказались бессильными. После исцеления Михаил Мантуров по благословению прп. Серафима принял добровольную нищету и вместе со своей женой поселился в Дивееве рядом с монастырем, выстроив небольшой домик, и всецело, под руководством прп. Серафима, посвятил свою жизнь строительству Дивеевского монастыря, план которого чертил ему батюшка. По его указанию, выполняя повеление Божией Матери, была вырыта Канавка, подковообразный ров вокруг основной части монастыря. Она как бы опоясала собой большое пространство с монастырским кладбищем, с деревянной церковью Преображения Господня, с зимним храмом в честь Тихвинской Божией Матери, с богадельней, с храмом «Всех скорбящих радости» и кельями монахинь. По словам Божией Матери, во внутрь рова сего не вступит нога антихриста. Надо рвом шла широкая тропа, по которой утром, днем и вечером медленно шли богомольцы, творя молитву «Богородице Дево, радуйся».

После открытия мощей и прославления прп. Серафима в Саров и в Дивеево хлынул поток богомольцев, среди которых были и родители моего отца — Петр Михайлович и Екатерина Юрьевна Арцыбушевы. К тому времени Дивеевский монастырь был одним из крупных женских монастырей России, с большим белокаменным собором, со вторым, еще не достроенным, с высокой, отдельно стоящей колокольней с аркой посередине и с двумя корпусами по бокам, в которых размещались разные службы и мастерские: иконописные, литографские и золотошвейные. Прямо от арки вела аллея к летнему собору, о красоте и величии которого рассказать трудно. Справа в отдалении — белокаменная трапезная с храмом, от трапезной и начиналась КАНАВКА.

Как рассказывает летопись Дивеевского монастыря, когда первоначальница — монахиня Александра с котомкой колесила по России в поисках места для задуманного ею монастыря, она задремала на бревнышках в двенадцати верстах от Саровской пустыни, куда держала свой путь, и увидела во сне Матерь Божию, которая сказала ей: «Тут и строй». Послушав повеление Божией Матери, матушка приступила, с благословения Саровских старцев, к созданию монастырской общины и строительству храма в честь

Казанской Божией Матери, построив рядом с ним свою келию. Это – начало рождения обители.

В то время прп. Серафим был рукоположен в Сарове во иеродьяконы. В Дивееве он был только один раз. В сане иеродьякона он пришел вместе с одним Саровским старцем напутствовать на смертном одре лежавшую матушку Александру, которая слезно просила иеродьякона Серафима не оставлять сирот.

С тех пор прп. Серафим до конца своей жизни, ни разу не побывав в Дивееве, духовно руководил по повелению Божией Матери Дивеевскими сестрами. По указанию Божией Матери он создал для них монастырский устав и с помощью сперва Мантурова, а впоследствии Мотовилова строил обитель. По его повелению спереди к Казанской церкви были пристроены два придела — нижний, в честь Рождества Божией Матери, и верхний, подвальный, в честь Рождества Спасителя. Подвальный храм — очень маленький и держат его посередине четыре сводчатых столба, у которых, по предсказанию батюшки, лягут четверо мощей: первоначальницы мон. Александры, 19-летней схимонахини Марфы, монахини Елены, сестры Михаила Мантурова, умершей по благословию батюшки Серафима, вместо лежащего на смертном одре ее брата. «Ты умри вместо него, он мне еще нужен», — сказал батюшка. Матушка Елена поклонилась в ноги батюшке и сказала: «Благословите, батюшка». И, вернувшись из Сарова в Дивеево, захворала и в Бозе почил.

По предсказанию прп. Серафима, а их было очень много, четвертыми мощами у четвертого столба будут его мощи, куда он сам придет при огромном стечении народа, в подтверждение всеобщего воскресения. Этого чудесного события ждет святая Русь, когда оно произойдет, знает один Бог, но оно будет. В это верит русский человек, в это верили мои предки, в это глубоко верю и я.

А сейчас пока Канавку еле-еле заметно; на месте монастырского кладбища — хоккейное поле и построена школа, храм Преображения стерт с лица земли, Тихвинская церковь сгорела, соборы разграблены и в мерзости стоят и запустении, крест на колокольне сперва был согнут дугой, потом купол и вовсе сорван, а вместо креста — антенна в виде шестиконечной звезды. Казанскую церковь, с которой снесли колокольню и верхнюю часть шатра,

превратили в дом, в котором сперва располагался райбанк, а ныне склад продуктов и хозяйственных товаров, а в подвальном храме с четырьмя столбами, у которых лягут четверо мощей угодников Божиих, стояли сейфы с деньгами и бумагами, тщательно охраняемые современной электроникой (ныне склад). Все изломано, все исковеркано, оплевано. Залиты мерзким асфальтом, замурованы до поры до времени святые могилы, к которым шли на поклонение все чтущие Дивеевскую святыню люди, а часовенки над ними, за оградой Казанского храма, сравнены с землей, но среди всей этой асфальтовой пустыни уцелела одна береза, росшая у могилы первоначальницы, по ней-то люди и узнают, где, когда придет время, искать обетованные мощи, т.к. могилки всех были рядом.

Удивительно, что все предсказания прп. Серафима относятся только к Дивееву, которое Матерь Божия в своих явлениях прп. Серафиму определила, как четвертый Свой жребий на земле, о Сарове нигде нет никаких предсказаний.

И не мудрено, что этот святой уголок умирающей России избрали мои предки (дедушка и бабушка), чтобы в нем, рядом с глубоко чтимыми ими святынями окончить свою жизнь и с верой уйти в мир иной. Посетив Саров и Дивеево несколько раз, пожертвовав Дивеевской обители колокола, дедушка приобрел участок земли и домик Мантурова на нем, который состоял из одной рубленой комнаты. Он пристроил к нему анфиладу срубленных из основных бревен комнат, число которых равнялось семи, и огромную кухню с русской печью, плитой, ларями для муки и разными службами, банькой, сараем, в котором поселилась корова Кукушка, и глубоким, сводчатым погребом, с крюками коваными в потолок, с сорокаведерными бочками для квашения капусты, отсеками для картошки, бочонками и бочками под соленые грузди, моченые яблоки и иную постную снедь. Таким остался в моей памяти этот Дивеевский дом, в котором и суждено мне было родиться в то самое осеннее утро 10 октября 1919 г.

Сияло ли осеннее солнышко в то утро, озаряя перламутровым светом своим обнаженные липы, еще не полностью сбросившие свою листву суковато-развесистые яблони, большие кусты сирени, еще полные листвой, и огромную березу, стоявшую посреди сада, которая с детских лет врезалась мне в память, так как ее

длинные ветви, раскачиваемые ветром, были похожи на длинные руки матушки регентши, управляющие монастырским хором: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых и на седалище губителей не седе...»

А может быть все эти липы, яблони, сирень и береза мокли под осенним дождем. Одно могу сказать почти наверняка, что просыпался и засыпал я под мерный звон «дедушкиных колоколов», наполнявших своим призывным звоном и наш дом, и сад, и огромный огород за садом, в котором росла, цвела и выкапывалась дивная картошка. Ее сажали Дивеевские послушницы, а за сохой шел Василий, вертьяновский крестьянин, жену которого звали Авдотьей.

Еще с ранних детских лет помню я то ли книгу, то ли папку в сафьяновом переплете, на которой тесненным золотом было написано «Петр Михайлович Арцыбушев — нотариус Его Величества». Возвращаясь к нотариусу его величества, я должен сказать, что большую часть своей жизни он с семьей прожил в Петербурге, где и держал свою нотариальную контору; почему и причем тут «Его Величество» — я не знаю, думаю, что его услугами пользовался двор.

Семья у дедушки была большая: три сына, старший Миша (впоследствии дядя Миша), средний Юрий и младший Петя — впоследствии мой папа, а также еще две дочери — Наталия и Мария (тетя Наташа и тетя Маруся). О семье Арцыбушевых в петербургском «свете» с иронией говорили: «Все на бал, а Арцыбушевы в церковь». Этими словами сказано все. Поэтому не мудрено, что в 15-м году мой дедушка, Петр Михайлович, ликвидировав свое дело в столице, бросил все и навсегда поселился «в медвежьем углу», в 60 верстах от Арзамаса, у стен Дивеевского монастыря. Из окон его дома был виден монастырь с его соборами и прямо перед домом, в трехстах метрах, — церковь Казанской Божией Матери, ставшая сельским храмом села Дивеева. Вместе с ним — его две дочери Наталия и Мария, ушедшие в Дивеевский монастырь и ставшие впоследствии одна схимонахиней Митрофанией, другая — монахиней Варварой.

Мой папа, окончив правоведческий корпус, женился на моей матушке, познакомившись с ней в госпитале, где вместе ухаживали



за ранеными, так как шла Первая мировая война. Мама моя, урожденная Татьяна Александровна Хвостова, была младшей дочерью Александра Алексеевича Хвостова, министра юстиции, и Анастасии Владимировны, урожденной Ковалевской. У них (Хвостовых) еще была старшая дочь Екатерина (тетя Катя) и младший сын Володя, а самого старшего сына звали Алексеем.

Моя, Богом мне данная, бабушка Екатерина Юрьевна Арцыбушева, урожденная Подгоречание-Петрович, была чистейшей черногоркой и по нраву своему, и по виду — южная славянка. Характерец у нее был соответствующий ее роду и племени, пусть она меня простит, но, объективно говоря, характер — взбалмошный. Кроме того, она не допускала мысли, что ее дети могут кого-то полюбить, кроме нее самой. Она была безумно ревнивой к своим детям и помышлять о своей личной жизни они не смели. Думаю, что поэтому ее две дочери предпочли монастырь семейному очагу, а дядя Миша так и остался холостым до конца своей не очень долгой жизни. Окончив морской корпус, он плывал старшим офицером на крейсере «Андрей Первозванный», но не о нем мой рассказ.

Отец мой, влюбившись в мою маму, единственный посмел перейти заветную черту, и то тайком от мамы, в чем ему активно помогал его папа.

Итак, моя будущая бабушка узнала о свадьбе своего любимого Петечки на моей матушке в день их свадьбы. Деваться было некуда, но сей рискованный поступок не вызвал с ее стороны любви к моей маме, скрепя сердце, она приняла ее как невестку, но отношения их между собой были весьма нелегкими. После свадьбы, совершив в то время модное свадебное путешествие по Волге, моя мамочка обнаружила, что папочка мой дико боится грозы (результат бабушкиного воспитания). Начиналась гроза, нависли зловещие тучи, полные грома и молний, мама на палубе любитесь разгулявшейся стихией, так как обожала ее и не боялась, в то время, как папочка спрятался в каюте и умолял свою любимую Тасечку спрятаться вместе с ним, а Тасечка — не тут-то было — радуется и ликует вместе с разбушевавшейся природой! О эти грозы! Как я их люблю, благодаря маме. С самого раннего детства перед моими глазами были два разных отношения к ним. Надвигается гроза,

первые раскаты грома, первые порывы ветра; закрываются окна на все шпингалеты, плотно задергиваются тяжелые шторы; у киота с массой разных икон в серебряных и позолоченных окладах, кроме неугасимых лампад, зажигается страстная свеча. Бабушка в трепете опускается на колени перед образами, пригибая нас, меня и брата Серафима, своей мощной рукой к земле ниц, и дрожащим голосом начинает читать акафист Неопалимой Купине или Страстям Господним, а если гроза проходит медленно и долго, то акафисты продолжают до тех пор, пока не умолкнут далекие раскаты давно миновавшей грозы.

Увидя сей трепет перед силами природы, мама стала прятать нас от бабушки, лишь только в воздухе запахнет грозой, а когда она загрохочет во всю свою прекрасную силу, она выводила нас на балкон. Отсюда был виден весь небосклон, который прорезали огненные стрелы, и мама, положив свои руки на наши плечи, говорила:

– Посмотрите, как это красиво.

И мы видели и не пугались грозы, и косые струи дождя омывали наши плечи, головы и протянутые руки. Часто кончалось тем, что на балкон влетала бабушка, заламывая руки, и в ужасе кричала:

– Это не мать, а монстр!

Но вернемся на пароход, на котором плывут в самом начале своей супружеской жизни Петруша и Тасечка.

По словам моей мамы, их несоответствие было только в грозе, они по-разному ее воспринимали, во всем остальном они были «во едину плоть», и любовь их от гроз не уменьшалась, так как мама потихоньку своим примером сняла с Петечки его трепет перед грозами. Их свадьба была в 16-м году. Немного пожив в Питере, они с родившимся сыном Петрушей в роковом для всего мира, а для России в особенности, 1917-м году уехали втроем в Дивеево. Второй сын Серафим родился почему-то в Нижнем Новгороде, о чем было сообщено телеграммой в Дивеево – «Окрестности тронулись благополучно!» Получив сей загадочный код, все в доме пожали плечами, ничего не поняв и не выслав Василия на лошади в Арзамас. А телеграмма в первоначальном своем тексте гласила: «Окрестив тронулись благополучно». Вот сейчас я вспомнил, а потому мне

стало понятно, почему Серафим родился в Нижнем. Врачи предупредили маму и папу, что плод во чреве при родах грозит матери смертью. Предложили загодя убрать эту смертельную опасность. Мама наотрез отказалась убить во чреве живую жизнь и полностью отдала себя воле Божией, хотя папа, боясь за ее жизнь, колебался и просил ее хорошенько подумать, а когда мама без колебаний отвергла все варианты своего спасения, то папа обрадовался ее решению и сам передал все: и ребенка, и жену — воле Божией. Вот почему Серафим родился в Нижнем, там, наверное, были врачи, которым доверилась мама. Петруши к этому времени не было уже на свете, он скончался, проживя в этом мире девять месяцев, это была первая смерть, посетившая нашу семью, это была первая могилка на монастырском кладбище, внутри канавки, куда, по словам Божией Матери, антихрист не сможет вступить. А в это время православная Русь погружалась в антихристову бездну, в преисподнюю ада! Но звонили еще Саровские и Дивеевские колокола.

«Вот, — говорит мама, — в Сарове зазвонили ко всенощной, сейчас и у нас ударят, скорей одевайтесь».

Поспешно напяливают через наши головы белые праздничные пикейные рубашки, причесывают деревянным гребнем наши вихры, и вот мы уже идем с мамой, окутанные гулким звоном всех монастырских колоколов, солнечными, закатными лучами летнего вечера по аллее цветущих лип от колокольни в торжественный собор. Он освящен одними лампадами, которые, как по волшебству, в мгновение ока загораются от бегущего огонька, по волшебной ниточке от лампы к лампаде, и вот уже все паникадило в центре собора мерцает тихим молитвенным светом. Матушка игуменя на своем игуменском месте. В черных мантиях, с длинными шлейфами, с камилавками на головах выходят плавно и торжественно на середину собора матушки певчие правого и левого хора. Начинается всенощная, длинная, монастырская. «Изведи из темницы душу мою», на распев канонаршит канонарх, а хор отвечает: «Исповедатися имени Твоему». Из какой это темницы, думаю я, они так просят извести душу мою?

А темницы уже готовились всем: и нам, и им — всей России.

А пока звонили монастырские колокола и в Сарове, и в Дивееве, и по всей России. Ходили крестные ходы по канавке, сонмы

епископов, мирян и духовенства; словно предчувствуя беду, нескончаемым потоком шли, ехали убогие, хромые и слепые, глухие и гнилые, с котомками за плечами, неся больных на руках и носилках, шел русский народ через Дивеево в Саровскую пустынь к преподобному Серафиму, на его источник, в дальнюю и ближнюю пустынь, где в молитве и безмолвии благоухал он, крин пустынный. Огромный гранитный камень, на котором тысячу дней и тысячу ночей, воздевая преподобные руцы свои, молился за мир великий угодник Божий. Все обходил народ, молясь, целуя и припадая к его святым мощам, словно прощаясь, словно в последний раз, да так оно и было. Близились время, близилась генеральная антихристова репетиция.

1919 год: разруха, голод, а тут еще на свет Божий появился я.

Незадолго до этого события моя мама во сне видит Преподобного, который говорит ей – назовешь именем, которое будет на девятый день. Когда в то самое утро, спокойно, как говорила мама, улыбаясь, она произвела меня на свет, прямо дома, да как-то даже и неожиданно – снова мальчик, Серафиму в то время было год и два месяца. Все сразу уткнулись в святцы – какое имя на девятый день? Вот он девятый: Петр, Алексей, Иона, Филипп и Гермоген? Вот загадка? Петр? Уже был и умер. Иона, Филипп и Гермоген? Да Алексей же! В нашей Дивеевской жизни все было связано с Преподобным, он был наш, свой батюшка, бывало к нему обращались как к члену нашей семьи, как к живому, вот тут находящемуся.

Да, конечно, Алексей, ведь у батюшки брата звали Алексием, конечно, батюшка это и имел ввиду. Детская искренняя вера, как легко с тобой жить! Нет никаких проблем, все ясно и просто, и все с Божьего благословения, и с батюшкиного тоже. И окрестили меня, и нарекли именем – Алексей. С тех пор до конца своей жизни, короткой и неимоверно тяжелой, звала меня мама Аленушкой. То был 19-й год, уже два года прошло, как залитая кровью Россия содрогалась в конвульсиях. Все чего-то ждали, никто не верил в длительность этих судорог. Сегодня, завтра рухнут эти большевики, рассеется мрак, произойдет чудо.

– А слышали, что сказала блаженная Мария Ивановна?

А предсказала она близкую кончину моего отца, а не конец начавшейся бури. Пришел как-то к ней мой папа, его в монастыре

все любили, голубком называли, усадила его блаженная чай пить, сидит он с ней, чаек попивает, а она смотрит на него так внимательно, прямо в его душу смотрит, и говорит:

– А хочешь, Петенька, я тебе твою смерть покажу?

– Покажи, – спокойно отвечает Петенька.

Вскочила тогда блаженная из-за стола:

– Ой, жарко мне, жарко, жарко, открой окно, жарко мне. Ой, холодно мне, холодно, озноб колотит, накрой меня шубой, накрой, еще, еще. Ой, жарко мне, жарко, я вся горю!

Грустным пришел домой отец и рассказывает случившееся с ним Тасечке, как блаженная ему его смерть показала, а было в то время ему тридцать три года. Шла голодная зима 21-го года. Голодал монастырь, голодали и мы.

Собрав кучу разных вещей, поехал папа по селам и деревням менять их на муку и разную снедь, и так несколько раз, привозил и снова брал все, что можно обменять и ехал, большую часть отдавая голодающему монастырю. А под весну слег и не встал, то холодно ему, то жарко, бьет то жар, то озноб. «Скоротечная», – сказали врачи, а на следующий день Благовещения он скончался. Прощаясь с нами (нас мама обоих держала на руках), он, обратясь к ней, сказал:

– Тасечка, держи детей ближе к добру и Церкви.

Это был его последний завет нам и ей, но мне в тот день было полтора года, а Серафиму около трех. Память моя не сохранила живой образ отца, только его могилку рядом с Петрушей у храма Преображения Господня на монастырском кладбище, внутри канавки, куда, по словам Матери Божией, нога антихриста не вступит. Там сейчас хоккейное поле, но это еще не нога антихриста? Это еще впереди, и нога его туда не вступит, я в это верю!

Итак, на монастырском кладбище еще один холмик, еще один деревянный русский крест. Не стало папы, весь монастырь хоронил его, как рассказывала мама, в тот год весна была страшно ранней, и на Благовещение была уже зеленая трава.

8 марта 1921 года мы, дети, осиротели, не успев в памяти своей детской запечатлеть живой образ отца. Мама овдовела в 24 года, оставшись с двумя младенцами на руках, в доме покойного отца со свекровью, властной и взбалмошной, которая не могла простить маме любовь к ней любимого ею сына, и свекром, человеком

умным, спокойным и доброжелательным. В памяти моей сохранилась, к сожалению, только его смерть. Скончался он зимой 25-го года, тогда мне было пять лет. Я очень хорошо помню, как дедушка этим зимним утром в тулупе с поднятым воротником сидел в сани, стоящие на нашем дворе, запряженные заиндевевшей от мороза лошадей; как Василий, вертяновский крестьянин, брат Анюты, послушницы Дивеевского монастыря, живший по благословению матушки игуменьи в нашем доме, во служении при бабушке, прыгнул в сани, причмокнул губами и крикнул: «Но пошла, ми-ла-я». Сани тронулись, закрылись ворота. Дедушка поехал в соседнее село покупать дрова. А пока он по морозцу едет, дом продолжал жить своей жизнью.

На кухне топилась русская печь, ухватом двигались чугуны, что-то в них кипело, бурлило и варилось. На кухне мама и Анюта. Там был еще отгороженный тесовой перегородкой, так называемый, чулан с окном на огород. В этом чулане постоянно, подолгу, кто-нибудь жил, в основном бездомные калеки, пришедшие на богомолье и застигнутые стужей, без крова и пищи. Нас, детей, на кухню не пускала бабушка, но, пользуясь ее отсутствием, а по утрам она всегда ходила к службе, мы, дети, конечно, толклись на кухне, так как запретный плод всегда сладок. Я помню, но это было уже после смерти дедушки, долгое время в чулане жила нищенка Анюта со слепой девочкой Катенькой, нашей ровесницей. Вот она-то нас с братом очень интересовала. Надо сказать сразу, что на воспитание детей бабушка и мама смотрели по-разному, и все загибы и завихрения бабушкиного воспитания мама всеми силами старалась исправлять, что всегда кончалось скандальчиками, большими и малыми, и всегда на французском языке, чтобы дети не знали, о чем идет речь. Но детское сердце, не понимая смысла слов, всегда безошибочно угадывало, на чью сторону ему встать. Я всегда был на стороне мамы и открыто выражал свою неприязнь к бабушке, которую мы, дети, звали Бабунок. Серафим же всегда держал сторону Бабушка и искал за ее подолом пристанища и любви, которую и получал с избытком, что с раннего детства разобщило нас на долгие-долгие годы.

Смотря сейчас с высоты прожитых мною лет на свое детство, на прожитые в Дивеево одиннадцать лет, я вижу, как много они

сложили в мою душу неповторимо прекрасного, слепив основной костяк, который не смогла сломать вся последующая за детством мрачная преисподняя, с ее падениями, грехами и пороками. Мама свято выполняла последний завет отца: «Держи детей ближе к добру и Церкви». А церкви были рядом, и добро лилось в наши детские души широкой рекой от окружающих нас людей, от храма, в который нас сперва носили на руках, и подносили к чаше регулярно, раз в неделю. С причастием, с молоком матери вбирали мы в себя с младенчества благодатную силу добра и веры в последующей жизни, так необходимую мне, которая в минуты страшных падений давала силы, хоть на четвереньки, но встать.

Сейчас, когда я окунаюсь в воспоминания своего детства, душа моя наполняется радостью и благодарением Богу за все то, что я видел и получил, родившись у стен Дивеевского монастыря. Время, бездна и преисподняя не смогли стереть, вытравить из памяти сердца ни Саровскую пустынь (в которой мы часто бывали то с мамой, то с бабушкой) с ее соборами, мощами преподобного, торжественными службами, монастырским пенъем, мерцанием лампад у раки; ни дальней и ближней пустыньки, куда ходили мы пешком, а над нашими головами, как органы, гудели и пели свою таинственную песнь могучие сосны саровских лесов. Моему детскому взору был знаком каждый поворот дороги, каждый камушек, каждое бревнышко дальней и ближней пустыньки. Житие преподобного Серафима я с детства знал наизусть и сейчас, в трудную минуту жизни, я обращаюсь к нему, как к кому-то очень близкому и родному: «Помоги мне, ведь ты мой земляк, помоги, трудно мне, трудно, Батюшка!»

По дороге в дальнюю пустыньку – под шатровым навесом с куполком на вершине и деревянным срубом – источник. Это то самое место, где явилась Божия Матерь Преподобному, и от удара ее жезла потек источник. Все купаются в ледяной воде, мощной струей обжигающей тебя всего, но когда ты выходишь из-под нее, тебя обдает и охватывает необычайное тепло и в то же время легкость во всем теле. А вот камень – огромный, гранитный, шершавый, на нем тысячу дней и тысячу ночей «Амалика мысленного побеждая взывал еси к Богу – аллилуия!». Какое множество больших и маленьких осколков от него уносили с собой, как святыню,

во все концы России православные люди. Кто клал его в графин с водой и пил эту воду с верой, кто ставил эти камушки в киоты, к иконам, кто вделывал их в образ батюшки, в оправе или просто так, в зависимости от усердия и средств. Дивеевские иконописцы на камушках по левкасу писали Преподобного или идущего с топориком и котомкой, или молящегося на большом камне, или просто его лик.

После кончины преподобного Серафима Саровская обитель, зная глубочайшее почитание Преподобного сестрами Дивеевской обители и все предсказания Преподобного о ней, передала обители много святынь, связанных с жизнью батюшки. Так, в Дивеево была перенесена чудотворная икона Умиления (Невеста Невестная), перед которой «На молитве коленопреклонен святую душу твою в руце Божии предал еси». Эта чудотворная икона всегда стояла слева у самой солеи, зимой в теплом Тихвинском храме, летом в соборе. Чудесный лик Божией Матери я помню с самого раннего детства, к счастью, все бури и грозы этих страшных десятилетий не коснулись его, и Она, покровительница, избравшая сию обитель в четвертый земной свой жребий, ждет своего времени, чтоб занять свое место в Дивеевской Лавре, так назвал Дивеевский монастырь в своих предсказаниях о нем батюшка. В монастырь Саровом были переданы вещи преподобного: его белый балахон, сотканный из льна с пятнами его крови, пролитой им, когда его избивали разбойники, его мантия, клобук, бахилы, вериги, четки, рукавицы – всего не перечислить. Справа, у начала канавки, была построена копия дальней пустыньки, в которой все эти святыни были собраны с благоговением и любовью. Ближних пустынек Преподобный выстроил своими руками две. Первая, наиболее ветхая, была перевезена в Дивеево. Из нее в Преображенском храме на монастырском кладбище был создан алтарь, и я очень хорошо помню эти белые бревнышки, вокруг которых можно было проходить. А помню я их потому, что когда мне исполнилось шесть лет, а брату семь, для нас сшили маленькие стихари, и мы, с гордостью нося их, стали не зрителями служб, а их участниками. В монастыре в 25 году жили полу-на покое, полу-в ссылке два владыки: архиепископ Серафим Звездинский и архиепископ Зиновий. Кроме того, в Дивеево постоянно проездом в Саров и на



обратном пути подолгу гостили разные владыки, поэтому в храмах постоянно шли архиерейские службы с массой приезжих батюшек. Я уже говорил, что за несколько лет до закрытия Сарова туда текли реки богомольцев, среди которых масса духовенства, и огромная часть из них до отказа заполняла наш большой, словно для этого и предназначенный дом. Каких только не было в нем столов веры и благочестия! Все они или большая часть из них, кто не успел умереть своей смертью, погибли в сталинских лагерях: кто расстрелян, кто замучен, кто утоплен в канализационных ямах, как архиепископ Василий и многие другие. Надо отдать справедливость бабушкиному гостеприимству. Вспоминается мне, что в нашем доме остановился владыка Серафим, еще до его ссылки в Дивеево. Маме нужно было куда-то отлучиться. Она попросту попросила Владыку присмотреть за нами. Вернувшись, мама застаёт такую картину: я сижу на коленях у владыки и разглаживаю его белую, как снег, бороду и спрашиваю его: «Ну, а дальше, дальше небось уже забыл?».

— Что тут делается? — с удивлением спросила она.

Владыка, смеясь, отвечает:

— Да тут Алеша меня учит «Отче наш», я его плохо знаю, вот он и учит меня его читать наизусть.

Впоследствии, когда владыка поселился в Дивеево, он избрал меня в свои помощники, очевидно, мои уроки сыграли свою роль. Первую свою исповедь, когда мне минуло семь лет, я принес ему. О как бы я хотел принести ему сейчас исповедь за всю свою многогрешную жизнь в ее приближающемся конце! Но нет владыки, как и многих. Глядя на его портрет, висевший на стене сейчас передо мной, и рассматривая памятную медаль, отлитую во Франции в память тысячелетия крещения Руси, на обратной стороне которой — сонм угодников Божиих с надписью под ними: «СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС», — вижу я доброе, светлое лицо владыки.

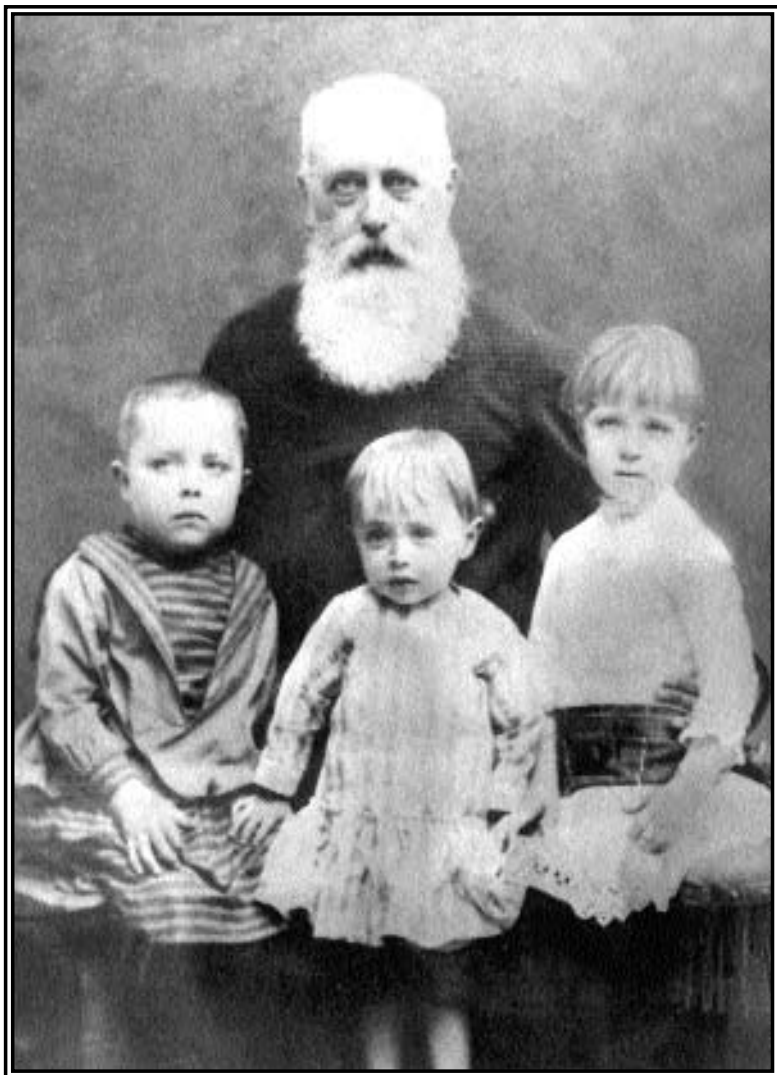
Второе января, день его ангела, торжественная служба в Тихвинском храме монастыря, он на кафедре, я рядом с посохом, он в алтарь, я с посохом у царских врат справа. Вот он торжественно светлый с двукирием и трикирием в руках стоит на солее: «Воззри Боже и виждь и посети виноград сей, его же насади Десница

Твой», а монастырский хор отвечает ему: «Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Бессмертныи помилуй нас».

Его службы были торжеством. Так, как служил владыка, я нигде больше не видел и не слышал. Это было неповторимое событие моей ребячьей души. А после литургии — крестный ход по всей канавке, а она длинная-предлинная. Январские морозы сковали снега, осыпали серебряным инеем ветви кладбищенских берез и лип, и всю владыкину серебряную бороду; сковали дыхание хора певчих, превратив его в облака белого пара, сквозь который слышно: «От юности Христа возлюбил еси блаженнии и тому единому...» Владыка идет с посохом, я впереди него со свечой в тяжелом бронзовом подсвечнике, руки застыли окончательно, они хоть и в перчатках, но словно прилипли к бронзе, я силком разжимаю их и... свеча и подсвечник падают у ног владыки. Он нагибается, поднимает свечу, несет ее, а мне, улыбаясь, показывает, чтоб я дул на руки.

А однажды был маленький скандалчик. В пасхальную ночь, стоя с посохом у царских врат, я заснул, и посох выпал у меня из рук и грохнулся рядом! Это была пасхальная ночь, а потому «Простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Пасха священная нам днесь показася».

О, Пасха моего детства! Окна нашей детской выходили в огромный сад с большой березой, управляющей в моем воображении монастырским хором, который пел то «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», то «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». А в эту великую субботу стояла она в полной тишине своих могучих ветвей, «плотию уснув, яко мертв», в торжественном ожидании великого таинства пасхальной ночи. Нас, детей, в этот день укладывали спать еще засветло, зашторив все окна, но можно ль заснуть? Таинственность и напряженная тишина великой субботы, жившая в ветвях белой березы, проникала и в наши детские души и разливалась вокруг. Она жила в сосновых бревнах, туго проконопаченных паклей, в тихом мерцании огромной лампы, знакомой мне с младенчества, у большого образа Казанской Божией Матери, висящей на стене против кроватей, добрый лик которой смотрел на меня, проникая в душу, рождая в



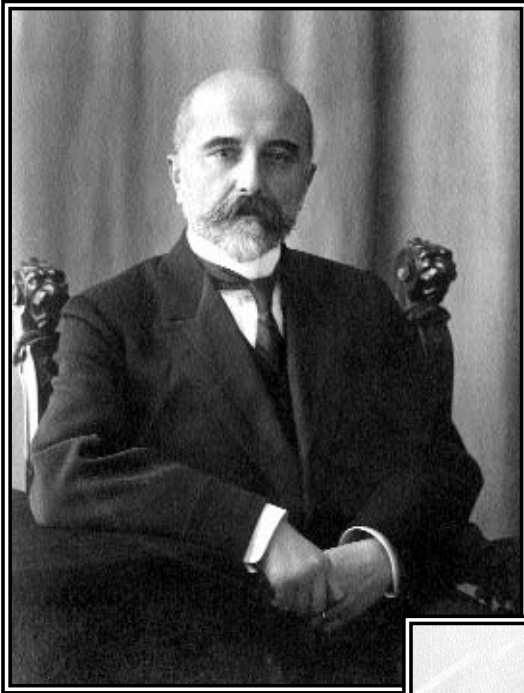
Граф Юрий Подгоречение-Петрович с внуками  
(в середине мой отец – Петр Петрович Арцыбушев).



Алексей Николаевич  
Хвостов, сенатор.  
Мой прадед.



Екатерина Лукична  
Хвостова, урожденная  
Жемчужникова.  
Моя прабабушка.



Александр Алексеевич  
Хвостов, в 1912 – 1915 гг.  
министр юстиции и  
внутренних дел.  
Мой дед.



Анастасия Владимировна  
Хвостова, урожденная  
Ковалевская.  
В тайном постриге –  
монахиня Митрофания.  
Моя бабушка.



Татьяна Александровна  
Арцыбушева, урожденная  
Хвостова,  
в тайном постриге –  
монахиня Таисия.  
Моя мать.



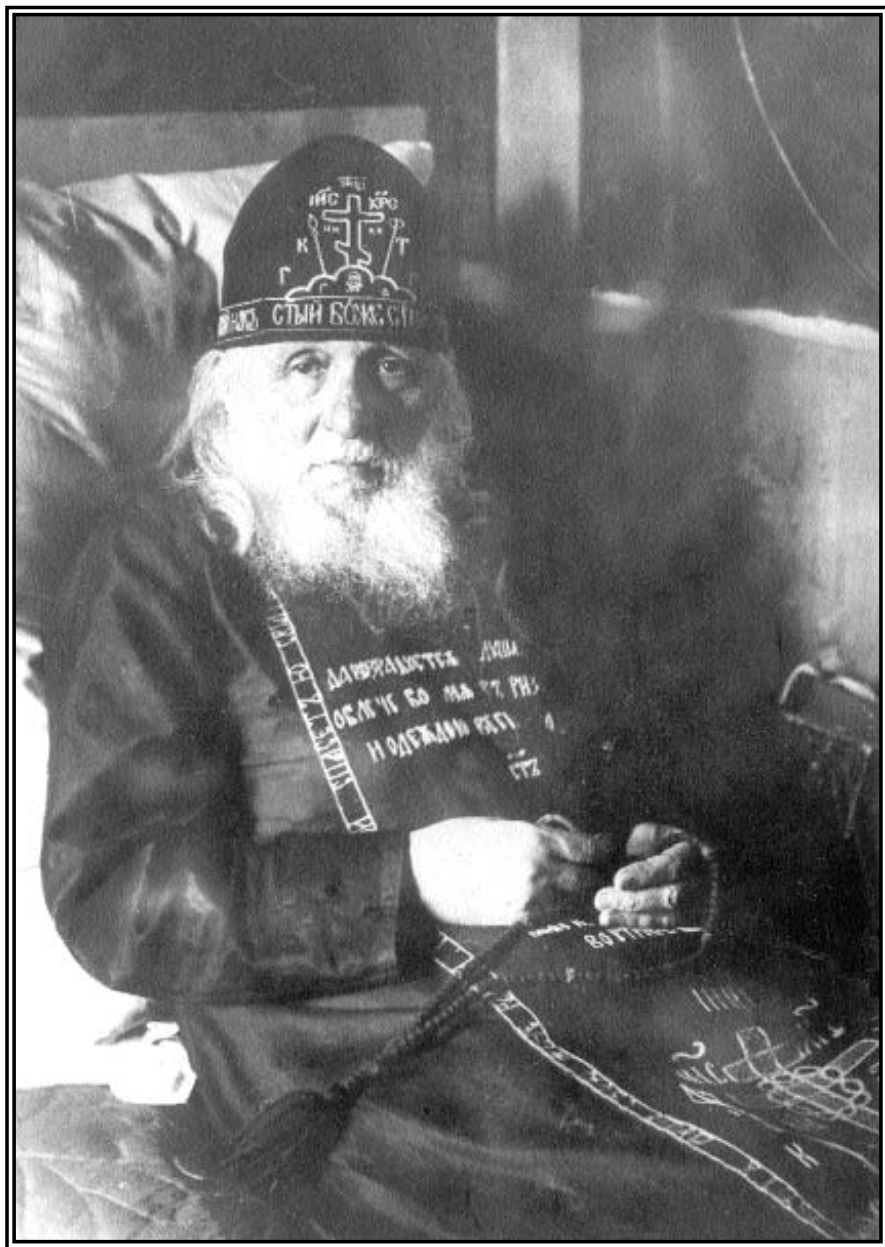
Мой отец – Петр  
Петрович Арцыбушев.



Наталья Петровна  
Арцыбушева,  
в дивеевском постриге –  
схимонахиня Феофания.  
Моя тетушка.

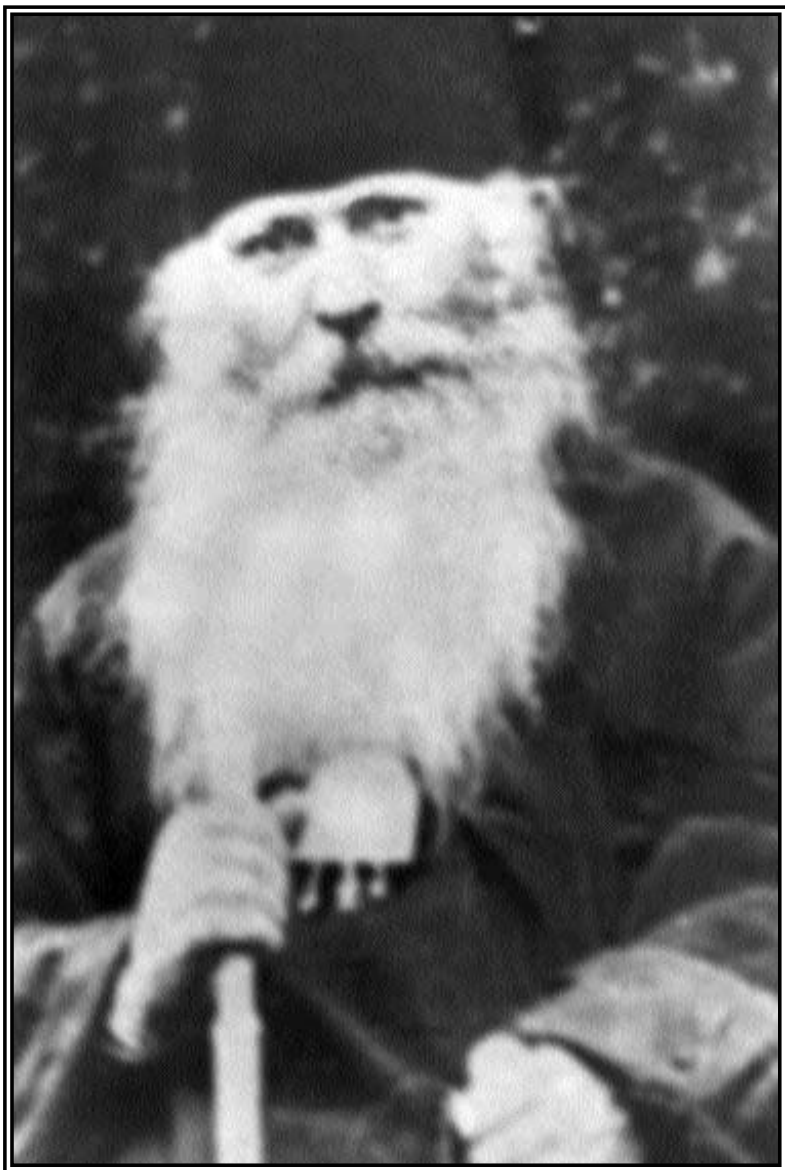


Екатерина Александровна  
Тимашева, урожденная  
Хвостова.  
В тайном постриге –  
монахиня Евдокия.  
Моя тетушка.



Иеросхимонах, преподобный Алексей Зосимовский.





Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский.



Мой брат, Серафим Арцыбушев.



Алексей Арцыбушев,



Братья Серафим и Алексей Арцыбушевы, Киев, 1940 год.

ней и в моем воображении мир иной. В этом мире я, наверное, был до своего рождения, и в него я должен вернуться, в нем — мой братец Петруша вместе с херувимами и с шестикрылыми серафимами, которые беспрестанно поют в райских садах: «Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф». И белая береза вместе с ними поет и ликует в этот субботний вечер, а скоро, очень скоро «Ангел вопияше Благодатней!». Можно ли заснуть в такой предпасхальный вечер? Вот почему заснул я в пасхальном стихаре у царских врат, когда на разных языках, торжественно и очень долго читали батюшки: «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО БЫЛО У БОГА, И СЛОВО БЫЛО БОГ!».(Евг. Иоана гл.1) В детскую входит мама, в ее руках белые, как снег, всегда пикейные рубашки, за ней Анна Григорьевна, наша гувернантка, классная дама, неусыпное око, наша первая учительница закона Божиего, букваря и дважды два — четыре, учительница наша бесчисленными акафистами, которые заставляла нас бабушка, стоя на коленях, выслушивать ежедневно, а я, не слушая слов и не вникая в них, смотрел в окно, а за ним все та же белая береза шептала мне: «Изведи из темницы душу мою!». В конце концов, из этой темницы наши души извела мама, которая понимала, что подобное впихивание в нас акафистов отвратит нас, детей, от искренней детской веры, и она была права, ибо все эти чтения акафистов в душах наших вызывали протест. Маме пришлось стойко претерпеть бурю на французском языке и на этом же языке настоять на своем. Акафисты прекратились, прекратились и наказания ими, т.к. бабушка считала, что чтение акафистов значительно полезней для наших детских душ, чем стояния в углу. Войдя в комнату, мама целует нас в носы, высунутые из-под одеял. На дворе, в саду уже темно, в небе ярко горят пасхальные звезды. Божия Матерь все так же по-доброму, все так же таинственно в мерцающем свете лампы, которая освещает всю комнату и маму, и Анну Григорьевну, смотрит на нас. Мы не тянемся, мы вскакиваем, наши длинные ночные рубашки взметаются вверх к потолку, но прежде чем надеть белоснежные, Анна Григорьевна в большом белом тазу, рядом с которым такой же белый, большой эмалированный кувшин с теплой водой, усиленно «стирает» наши носы, уши, шею. Такая стирка была необходима, но она вызывала во мне некое чувство отвращения, потому что у Анны Григорьевны

правая рука от рождения была сухой, писала она левой, а наши рожицы, как назло, скребла правой. Но что не выдержишь ради такой ночи, ради заварных пасх, пышных куличей, крашенных во все цвета радуги яиц, ради ароматного жаркого, вкус и запах которого я помню по сию пору, и повторить его я не смог до сегодняшнего дня.

В нашем доме никто не ел мясо и его очень редко готовили только для нас, детей. Все посты соблюдались с монастырской строгостью, уж если «чистый», то по всем правилам чистый для всех, и для нас тоже. Если в этот день по уставу неположено «едея», то его и не было. Вот почему по осени в больших сенах, в длинной долбленной колоде несколько монашенок с тихим пением тятками рубили капусту, жали ее с солью и ведрами наполняли сорокаведерные бочки, предварительно выпарив их раскаленными в русской печи камнями, поливая их водою и закрывая мешковиной. Щи из квашеной капусты, сваренные в русской печи в глиняных чугунах, да хорошенько протомившиеся на горячих угольках, что может быть вкусней этих щей! Все посты мы их хлебали деревянными саровскими ложками, изящно вырезанными из липы, с рукой на вершине ручки, пальцы которой были сложены в трехперстие для совершения крестного знамения, а за запястьем руки обязательно три, свободно вертящихся колечка. Такая, с детства мне знакомая, ложка каким-то чудом сохранилась у меня. Картошка была с огорода, вспаханного Василием, братом Анюты. Квашеная капуста, соленые грибы, большими кузовами принесенные из леса в грибное лето вертьяновскими девушками, цокающими и окающими на крыльце с мамой: «Цаво бат, да тысь глянь, одне груздочки бат». Из сушеных белых грибов варились ароматные супы янтарного цвета, щи и разные запеканки. На поду выпекался свой хлеб и обязательно с пылу с жару ржаные лепешки. Постились в нашем доме и по средам, и по пятницам. В скоромные дни – молоко, яйца, которыми запасались, покуда неслись куры, на зиму сотнями, заворачивая каждое яйцо в газетку и осторожно складывая их в большую плетеную корзину, стоящую на кухне. Корову Кукушку я не помню, поэтому описать ее не берусь. Она вспоила нас своим молоком в нашем раннем детстве. Позже у нас жили козы для нас, детей, так как бабушка наша,

по ее словам, терпеть не могла козьего молока. Козы менялись, но отношение к ним со стороны бабушки оставалось прежнее. Ей приносилось молочко коровье, но бывало и так: скоромный день, перед бабушкой ее любимое коровье молоко, которым она прихлебывает кусочек черного хлеба, теплого, только что испеченного, с маслицем, аромат которого затмевает аромат домашнего хлеба, и посыпает его солью. Бабушка спрашивает, сидящую тут маму:

— Тасечка, откуда такое дивное молоко? Я никогда ничего подобного не пила. Прошу тебя — всегда бери его у этой бабы, от этой коровы.

Мама, улыбаясь, спрашивает:

— Вам оно нравится?

— Очень, очень, — восклицает Екатерина Юрьевна, перейдя на французский язык тут же от восторга.

А молочко то сие было от козы Катьки, которую пришлось переименовать в Атьку, от чего она и сдохла в скором времени, не пережив в своем козьем мозгу потерю, очевидно очень важной для нее «козьей» буквы «К», что напрочь ее лишило счастья быть тезкой моей черногорской бабушки, кровь которой жарким пламенем разливается в моих венах и артериях! Бурю ее я не в силах преодолеть в себе, несмотря на мои 70 лет. Милая моя бабушка — Бабунк, ты прости меня за то, что я в детстве своем всегда был на стороне мамы, во всех Ваших «французских» ураганах. Уча нас всем премудростям Ветхого и Нового завета — за что земно Вам я кланяюсь — вы не учили нас французскому, а наслаждались им сами, высказывая на нем свой восторг от козьего молока, приняв его за коровье. Вы на нем отстаивали перед мамой в нашем присутствии наказующую силу акафистов, думая, что мы ничегошеньки не понимаем, в то время, когда мы понимали все и весь смысл ваших бурных изъяснений, не зная многих слов непонятного нам языка, потому что и по-французски Акафист есть Акафист.

Хоть Вас, милая моя бабушка, давно нет в живых, и я всегда поминаю Вас инокиней Екатериной среди множества дорогих мне детей, но позвольте мне, прожившему и пережившему ссылки, тюрьму, ту самую, в которой сидел, а быть может, там же и был расстрелян дядя Миша, прошедшему через Лефортово, Лубянку и следственные кабинеты, в которых мучили меня, как тысячи мне

подобных, прошедшему через зверские этапы, штрафные ОЛП и спецлагеря строгого режима, позвольте мне, во-первых, поблагодарить Вас за всё то доброе и бесценное, что вошло в моё сердце и душу со дня моего рождения до того дня, когда нас, в студеную зиму 1930, покрывали своими тулупами сердобольные Дивеевские и вертьяновские бабы, так как обобраны мы были до ниточки гегемонами, тут стоящими и ждущими, когда казённые сани увезут нас с мамой в ссылку. Всё, что было вложено в меня за те одиннадцать лет Вашими стараниями, мамочка всеми силами старалась вытравить в соответствии со временем и той жизнью, которая нас, возможно, может ожидать впереди. Она жила реальной жизнью, а не фантазиями о скором, очень скором возвращении той России, хребет которой был варварски сломан. Поэтому, когда Вы на французском языке возмущались, что дети убирают свои постели, а не Аннушка, то мама была права, приучая нас самостоятельно обходиться без услуг, без Аннушки, говоря: «У нищих слуг нет!». Она была права, заставляя нас выносить свои горшки, руководствуясь всё той же неопровержимой, но Вами не понимаемой истиной: «У нищих слуг нет». Она была права, когда перебарывая Ваше сопротивление, не давала нам выстаивать многочасовые монастырские службы, во время которых наши уши вяли, и ничего душа наша не могла воспринять, отягощённая дремотой, как у двенадцати Апостолов в Гефсиманском саду. Поверьте, мама своим материнским чутьём находила ту, достаточную для нас меру, слепившую основной хребет, который за всю лихую жизнь, несмотря на все падения, ужасные и страшные, трещал, гнулся, но не сломался пока и, Бог даст, не сломается! И то скажу я Вам, милая, то барское, которое неминуемо вошло в нас с первых дней нашей ссылки, когда мы жили и спали на отрепьях, сделало из нас белых ворон среди наших сверстников на улице, куда мы выходили уже без Анны Григорьевны или Анны Семёновны, или ещё без какой-нибудь Анны. Тот колпак, под которым Вы так наивно хотели нас укрыть, спрятать от горькой правды земли, разбившись неожиданно, без должной подготовки открыл нам мир, в котором детей находят не в капусте, и не аист их приносит в дом, а все рождается и умирает по тому закону Божию, который мы изучали с очередной Анной. А недавно, в Париже, как было обидно мне, что я

не бельмеса не понимаю о чем говорят, о чем это спорят французы и сколько ни пытался я уловить знакомых мне с детства слов, вроде «Алеглиз, ваз дунви, пур легра и пурлепти» (все это относилось к нам и к нашим горшкам, почему мы, а не Аннушка) и не услышал я знакомого мне слова «Акафист»! А когда я в Париже в пасхальную ночь по детской привычке захотел причаститься и подошел к исповеди, а батюшка развел руками и поднял епитрахиль, чтобы отпустить мне не сказанные мной грехи, я вынужден был остановить его руку. Языкам нас надо было учить, мы же, как видите, все понимали по мимике Вашего лица, по взмаху Ваших рук, по дрожащим щекам. Я не упрекаю Вас, я сожалею!

В открытую форточку детской комнаты доносится далекий — далекий гул, улавливаемый промытыми Анной Григорьевной нашими ушами: «Мама! Мамуля! Саров, Саров зазвонил!» Деревянным гребнем причесаны наши вихры. Вертясь, крутясь и подпрыгивая, мы с мамой выходим за ворота. Проходя мимо Казанской церкви, у которой толпится народ в нарядно расшитых, ярких сарафанах, в кокошниках на головах; цокая и окая гудит еще не вогнанный в колхоз, еще не раскулаченный, еще землепашец, еще хозяин Русской земли.

Расцвела оголодавшая за годы разрухи Россия. НЭП, НЭП, НЭП — это загадочное для меня слово я воспринимал в виде пышных слобных булочек от Шатагина, нашего соседа, впоследствии «кулака-мироода», в окошечко бани которого, видно в щель нашего забора, подсматривал я «ребяческим оком, горькую правду земли», что наводило меня на мысль, что капуста тут ни при чем и аист тоже, что все эти Анны попросту врут, да и мамочка тоже. Тут совсем не капуста. А спросить было не у кого, так как колпак оберегал нас от сих познаний. Девочек к нам, мальчикам, не допускали, была единственная слепая Катька, которой мы таясь, украдкой пытались заглянуть под подол, но ничего увидеть не смогли, так как сердца наши бились в страхе. А вот шатагинская банька мне открыла женское тело, молодое и стройное во всей его красоте, и сердце мое забилося не в страхе, а в каком-то неясном и непонятном мне томлении. Спросить не у кого. Серафиму я своих тайн не открывал. Он бабушкин, он Клепа, то есть, переведя на современный язык, и заложить может. А почему коза брюхата? А почему,

глядя в щелку глухого забора, загородившего от меня внешний мир, я увидел двух соседских собак, сцепившихся задками? Что за дива, а почему воробушки? А почему? А почему? А спросить-то не у кого. А образ той молодой, обнаженной, окутанной паром в объятиях Митьки Шатагина врезался в мою память, как прекрасное, недоступное моему детскому разуму видение.

Гудит народ у Казанской церкви, парни молодые, сильные, упругие; девки, ребяташки, вертьяновские и дивеевские мужички в новых поддевках, в расшитых рубахах, все цокает, все окает, все гудит праздничным радостным гулом. А в открытые окна храма вырывается наружу тихое бесподобное, на веки оставшееся в памяти «Волною морскою, видя потопляема... гонителя мучителя фараона... победную песнь вопияше».

«Мамочка, слышишь, фараона уже потопили, пойдем быстрей!»

А саровские колокола уже переливаются с колоколами ближних сел. Бом! Еще раз бом-бом-бом!!! Загудел могучий Дивеевский, ему тут же ответил Казанский. Мы входим в собор, весна была теплой, собор открыли к Пасхе.

В алтаре все готово к крестному ходу. Красные стихари уже на нас, посох стоит на своем месте, у царских врат, справа. Он ждет меня. Владыка благословляет меня, кладет руку мне на голову и тихо говорит: «Ступай. Бог благословит!». Вот оно долгожданное: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» Истомилась плоть от кислых щей, а душа – по празднику. Вот владыка христосуетя со мной, кладет расписное яйцо мне в руку и целует. «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ». «Во истину Воскресе! Во истину, во истину, во истину!». Эту убежденность сохранил я, хотя остывала временами вера, часто совсем куда-то уходила, но не умирала, а оживала и, как морская волна, то хлынет на берег, то откатится.

А волною морскою мы видим потопляемых всех тех фараонов, которые пытались потопить в крови Русскую веру, заковать ее в кандалы, смести с лица земли храмы и самого Воскресшего ХРИСТА. «Ты – Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют её». Фараоны всех времен упустили это из виду вместе со своим Карлом Марксом, как жалко, что у него не было Анны Григорьевны. Она бы ему прочистила уши и мозги тоже и популярно объяснила, почему все-таки «победную песнь» поем



мы вместе с Церковью, несмотря на все пережитые ею ужасы, оплевания и разрушения, а не фараоны всех мастей, иуды и предатели. Она бы, Анна Григорьевна, сказала им простую истину: «Бог поругаем не бывает!».

**«С НАМИ БОГ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ И ПОКОРЯЙТЕСЯ, ЯКО С НАМИ БОГ!»**

Всю пасхальную неделю по всей Руси звонили во все колокола. Так звонили и Дивеевские, но не монастырские, а Казанские. Переливчатый, малиновый, торжественный и праздничный звон парил в поднебесии, как весенняя песнь прилетевших жаворонков, заполняя собой пространство на много верст, сливаясь с лучами, рощами и перелесками, деревнями и селами. Торжеству этому словно не было конца.

Но медленно и неотвратно, как неминуемая смерть приговоренного к ней, приближался омерзительный гигантский спрут со своими длинными щупальцами, который, притаившись, ждал своего часа, чтобы задушить, обезглавить, чтобы отнять радость пасхального звона, чтобы веселье, смех и свадебные песни на «красной горке» превратить в плач, а саму жизнь народа в мучение и скорбь, чтобы отнять не им нажитое, чтобы присвоить не им созданное, разрушить до основания не им выстроенное, чтобы вынуть из народа, выкорчевать и вытравить все прекрасное и доброе, чем так была богата русская душа, а взамен вколотить рабскую покорность и податливость, затравленность нищетой и страхом. Да чтобы не радовалась она празднику великому, чтобы не было для нее Христа Воскресшего, чтобы снял бы русский человек свой крест нательный, да содрал бы он кресты и с храмов Божиих, да взорвал бы их, как нечисть некую, да сжег бы иконостасы древние в кострах великих, у храмов сложенных, да предал бы он свою мать родную, своего отца родимого... по примеру героя народного Павлика Морозова. А за «подвиг» сей великий в награду предателю — памятник гранитный! Да чтоб вместо образа святого с лампадой горящей, рушником шитым, украшенным, в углу красном в каждой избе крестьянской висел бы лик «усатый». Еще ходили крестные ходы в засушливое лето, еще освящали скот на Юрьев день! Еще освящали колодцы и избы крестьяне, еще вырубали мужики на крещение большой Крест в толстом льду на Вучкинзе, к которому

шли они с крестным ходом в морозное январское утро от Казанского храма под благовест с пением: «Во Иордане крещающуюся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение...» и после трехкратного погружения Креста, не стыдясь своей наготы, в любой мороз, скинув тулупы и исподнее, бросались в дымящуюся ледяную пучину, крестообразно вырубленную их мозолистыми руками, привыкшими к труду, с верой, надеждой и любовью к своей земле и ко всему тому, что окружало их от младенчества, созданное руками их предков. Еще пели песни и плели венки, бросая их в мирно текущие воды извилистой Вучкинзы в ночь под Ивана Купалу, еще украшали березками избы на Троицу, устилая свежескошенной травой добела вымытые половицы, еще шли деревенские бабы в храм Божий в празднично расшитых сарафанах с детишками на руках. Еще, по крестьянскому обычаю, с обрядами древними, с причитаниями, с хороводами, с тройками своих лошадей, украшенных разноцветными лентами, с колокольцами под дугой и бубенцами, вплетенными в сбрую, запряженными в расписные сани и телеги, лихо мчались они в храм, с мальчиками на козлах, держащих в руках иконы, коими благословляли родители жениха и невесту. Мчались они на своих тройках с образами благословенными, под звон колоколов в храм Казанской Божией Матери, под ее покров и заступление на всю жизнь до глубокой старости, до гробовой доски, молодые, красивые, сильные. Вот стоит она в белой фате, он в расшитой рубахе и пьют из одного ковша чашу сладкого вина, как чашу жизни, сладкой и горькой, он — глоток, она — глоток, он — глоток, она... Он в Сибирь, она за ним. Он с сумой, и она с ним. И все это было уже где-то совсем рядом.

Разверзалась преисподняя, пока медленно, пока осторожно сжимал спрут свои щупальца, предвкушая «светлое, неминуемое, грядущее коммунистическое завтра!». А пока играли гармошки за околицами сел и деревень, водили хороводы парни и девки, завтрашние кулаки и подкулачники, завтрашние нищие и бездомные, завтрашние ссыльные, завтрашние рабы безземельные и лишенцы бесправные, нагие и босые, с грудными детьми, в тряпье обернутыми, бездомные, бескровные, обобранные до нитки, со скотиной, угнанной на колхозный двор, с разграбленным богатством, трудом и потом крестьянским нажитым...

Кто! Кто занесет на вас свои подлые руки, кто ограбит, кто уведет ваш скот, кто погасит ваш мирный домашний очаг, кто закует вас в кандалы, кто умертвит вас, кто пустит по миру ваших жен и ваших сирот, кто похитит ваш труд, ваш пот, кто присвоит его себе? Кто? Кто? Кто? Имя ему г-е-г-е-м-о-н!!!

Это — голь босяцкая, проститутки всех мастей! Это те, кто не хотел работать! Это те, кто завидовал не вашему труду, а его результатам! Это те, око которых было завистливо, а руки ленивы! Это те, кто беспробудно пил, неся в кабак последнюю свою рубаху, в расчет на вашу. Это те, кто предпочитал жрать и пить за чужой счет! Это те, кто не сеял и не пахал, кто ненавидел труд и, разорив вас, не научился ему, а жил и живет паразитом! В деревне имя ему бедняк! А по-русски, по правде — лодырь! На общереволюционном языке — гегемон! Это он проклятьем заклеянный, чьими руками были разрушены «до основания» и деревня, и село, и город, и страна. Эта бездна зла и зависти имела свой могучий лозунг: долой! А что дальше? Мы свой, мы новый мир построим! Построили! И спустя семьдесят лет не знают, как сломать, по той простой причине, что «тот, кто был ничем, тот стал всем», а все, это те, кто никогда не умел работать и не хотел, а по паразитской своей натуре всегда был паразитом!

А пока — играй, играй гармошка, за околицей, водите хороводы, девчата, правьте русские христианские свадьбы, пейте из одной чаши сладкое вино, как символ единства и в радости, и в горе. Радуйтесь, пока лихое время еще не коснулось вас. Пеките блины из своей родимой муки, вами взращенной, поливайте их вами же взбитым масличком от своей буренушки, с любовью вами же вскормленной, это вам не маргарин пока, а маслице. Запрягайте, парни, в сани да розвальни коней своих ретивых, выводите их из стойла теплого, надевайте на них сбруи с бубенцами-колокольчиками, украшайте, девки, гривы их лентами, зажигайте костры вдоль ряда деревенского, да в санки расписные, да в розвальни, в зипунах оранжевых, в платках и в шальях, на русы косы накинутах. Берите, парни, гармошки трехрядные.

Мчатся тройки, мчатся сани, кто кого обгонит, да с маху через костры огненные. Тут и удаль, и веселье, тут и радость, и любовь, и поцелуй горячий в сугробе снежном. Знать свадеб будет много на

«красной горке», после поста Великого! Знать катать ей яйца красные уже не в девках.

А на «красной горке» яйца катала вся деревня, игра эта очень азартная и увлекательная. Фомина неделя, следующая после пасхальной, звалась «красной горкой». На красной горке начинались свадьбы деревенские. По церковному уставу жил народ крестьянский до тех пор, пока не снял с себя крест. С крещения Руси православный русский народ жил по церковному кругу: сеял, пахал, выгонял скот на пастбище, и весь труд его и жизнь органично были связаны с верой и жизнью Церкви, в том числе и свадьбы. Им было свое установленное Церковное время. Начиная с Крещения, после святок и до пятницы на масленной неделе, кроме вторников, под среду, четвергов, под пятницу и суббот под воскресенье, а так же двенадцатые праздники. Ни Великим постом, ни Рождественским, ни Петровским и Успенским свадеб не было. Благодаря такому уставу, обойти который православный народ и не стремился, к свадьбам готовились, как к таинству непреложному, как к событию, должному быть один раз и на всю жизнь, так как разводов не было. У жениха и невесты было достаточно времени, чтоб проверить себя и свою привязанность и любовь друг к другу. Вот почему браки были прочными. Каждый знал, на что идет и ради чего. Самое большое количество свадеб всегда было после святок и на «красной горке», потому что им предшествовали шесть недель Рождественского поста и еще 12 дней до Крещения, а с пятницы на масленной — семь недель великого поста и вся пасхальная неделя. Все свадебные коляски и сани с женихами и невестами в церковь и обратно мчались мимо нашего дома.

На масленичные гулянья мы ходили с мамой в Вертьяново — деревню чуть ли не в тысячу дворов, вытянувшуюся в одну улицу по другому берегу Вучкинзы, километров на пять. Там было достаточно места для скачек и на тройках, и на санях, и на розвальнях.

Возвращаясь к «красной горке» с катанием яиц, расскажу подробно об этой игре. Из длинной строганной доски делается горка, под которую подставляются сколоченные козла. Играющих чем больше, тем интересней. Яйца катают все, и парни, и девочки, и стар, и млад. Катя с горки свое яйцо, ты должен его так нацелить, чтоб ударить им любое яйцо играющих, каждый знает свое

яйцо. Если ты своим яйцом задел чье-либо, то оно твое. Вот и вся игра, но крику, визгу, радости и огорчению — нет конца. Мы с мамой всегда ходили на такие игрища. Веселья много и без всякого мага, поверьте мне. Хоть и под колпаком мы, дети, росли, но словечки некие все же знали, не понимая их житейского смысла. Всё пришло потом, когда вдребезги колпак и патриархальный наш дом теми самыми гегемонами был растащен по бревнышкам, но без всякой цели и пользы для них самих, людей и общества. Как всегда разрушали до основания, ничего построить не умели и не смогли.

Ну, а пока мы в нем живем. Идет январь 1925 года, зимний вечер, за окном сумерки из синих переходят в сине-фиолетовые, давно зажглись керосиновые лампы. А бабушки все нет и нет.

— Да где же он запропастился? — спрашивает мама у Анюты.

— В Осиновку поехал дрова покупать, да тут и не так далеко, пора бы...

Мама накрывает на стол, собираясь кормить нас ужином, за окнами уже совсем темно. Керосиновая лампа освещает сказочные узоры, вытканные морозом на стекле окна, оно искрится, как искрится серебряная парча, и напоминает мне ее своими волшебными цветами и листьями. Потрескивают дрова в горячей печи, потрескивают бревна рубленых стен от мороза. В доме тепло, тихо и уютно. В столовую, которой становился в зимнее время длинный, широкий коридор с двумя кафельными печами и двумя высокими филенчатыми дверями в детскую комнату и в комнату мамы и с дверью на кухню, входит бабушка, чем-то взволнованная.

— Почему так долго нет Петра Михайловича? — спрашивает она маму.

— Уж не случилось ли что-нибудь с ним?

Мама как-то нерешительно развела руками и разговор перешел на французский, такие переходы всегда наостряли наши уши, сосредотачивали наше внимание на мимику, на жесты, на быстроту сказанных слов, на интонацию, по которой мы определяли таинственный смысл разговора. Сейчас явно было видно, что речь идет не о нас, тут сидящих и доедающих свой ужин. Было видно, что и бабушка, и мама чем-то взволнованны. После ужина мы пошли с мамой в детскую, освещенную все той же большой

лампадой у образа Казанской Божией Матери. Тепло от жарко на-топленной печи разливалось по комнате, вместе с теплым светом, малиновым и трепещущим, освещающим лик Богоматери, потолок из темно-янтарных досок и бревенчатые стены такого же цвета. Вечерние молитвы читала мама. Поставив нас впереди себя, она всегда клала свои милые руки нам на плечи и тихим голосом начинала: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины. Иже везде сый и вся исполняя, Сокровище благих и жизни Подателю, прииде и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». Так мерно тихо и проникновенно читала она дальше: «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице...». Всегда слушая эти слова, я воображал себя и словно видел перед собой эти двери милосердия, они были вроде царских врат в соборе, золотые, резные, вот они открываются, медленно и тихо из них выходит милосердие, оно идет к нам, протягивает свои руки, обнимает ими и нас, и наш дом, и сад, и я знаю, что это милосердие никто иной, как Матерь Божия с короной на голове, вся в сиянии, вся соткана из любви и несущая всем свое милосердие, которое избавляет от бед, и что в ней спасение рода христианского. А мама продолжает, пока я размышлял, и уже слышу я: «Неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем? Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит...». Со двора доносится какой-то шум, ржание лошади, быстрые шаги по коридору. Мама поспешно выходит из комнаты в коридор, мы за ней, по коридору несут дедушку в тулупе и валенках, проносят в его комнату, которая рядом с бабушкиной, в той половине дома.

Мы остаемся одни, растерянные, в предчувствии какой-то беды. И она пришла. Дедушку по дороге разбил паралич, как раньше говорили, удар. Вот он лежит в постели, я у его ног старательно держу бутылки с горячей водой. В комнате никого нет, батюшка в епитрахили склонился над седой головой бедного дедушки, который что-то пытается сказать батюшке. Батюшка накрывает его голову епитрахилью и говорит:

— Аз, недостойный иерей, властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю...

Подносит Евангелие, а затем крест к белым губам дедушки. Все ушли на время исповеди, меня забыв, сидящего у ног дедушки

с горячими бутылками. Снова вся комната полна народа, я вижу тетю Наташу, тетю Марусю, бабушку и маму, и монашенка, прибегших из монастыря. Начинается соборование. У дедушки в руке зажженная свеча. Все, в комнате присутствующие, стоят со свечами. Дедушка лежит, голова его на высокой подушке, глаза закрыты, но он еще дышит, я это вижу по волосикам его усов, они движутся. А дальше я заснул и больше ничего не помню. Проснувшись утром, я узнал, что дедушка скончался. Это была третья смерть, пришедшая в наш дивеевский дом и теперь унесшая с собой дедушку. Я хорошо помню, как отпевали и хоронили январским морозным днем. Тихвинская церковь, кончилась заупокойная литургия. Дедушку внесли в храм накануне вечером ко всенощной. Он лежал в сосновом гробу, пахнущем смолой и установленном посередине храма на высоком для меня постаменте. Тяжелое серебряное парчовое покрывало покрывало дедушку, его сосновый гроб и тугими серебряными кистями касалось пола. Вытканные узоры на нем напоминали мне морозные узоры, которые я так любил разглядывать на окнах дивеевского дома. И тут, стоя рядом с мамой у гроба дедушки, я видел перед собой эти узоры. Дедушка лежал где-то высоко, и лица его я не видел. Храм был переполнен народом. Дедушку любили и уважали дивеевские и вертяновские крестьяне за его общительность, доброту и всегдашнюю готовность помочь словом и делом.

Началось отпевание. Вся церковь пылала от зажженных свечей. У гроба в головах справа и слева и в ногах у образа Спасителя в массивных подсвечниках горели свечи. Протодьякон с кадилом в руке и с дьяконской свечой в другой, высоко поднимая кадило, произнес:

— Благослови Владыко.

Царские врата открыты. Вверху все паникадила колышутся в свете лампад. У гроба много батюшек, все они в белых серебряных ризах. Матушка игуменья возвышается на своем резном игуменском месте. Монахини в длинных своих мантиях стоят впереди. В руках у них горящие свечи. Протодьякон трижды обходит гроб с кадилом и со свечой. В полной, какой-то сосредоточенной тишине только слышен звон кадила и запах ладана. «Благословен Бог наш...», — нараспев, благоговейно произносит батюшка. Началось

отпевание дедушки, переехавшего сюда в святые и дорогие ему места десять лет тому назад, чтобы так, по-христиански, прожить и окончить свою жизнь и быть похороненным на монастырском кладбище, закрытом, защищенном от антихриста Канавкой, вырытой по повелению Божией Матери. Чередуюсь, перекликаясь в величественно-скорбных песнопениях, поет то правый, то левый хор. «РУЦЫ ТВОИ СОТВОРИСТЕ МЯ: И СОЗДАСТЕ МЯ, ВРАЗУМИ МЯ, И НАУЧУСЯ ЗАПОВЕДЕМ ТВОИМ. ПОМИЛУЙ РАБА ТВОЕГО... УПОКОЙ БОЖЕ РАБА ТВОЕГО И УЧЕНИ ЕГО В РАИ... АЛЛИЛУИА, АЛЛИЛУИА, АЛЛИЛУИА. СЛАВА ТЕБЕ БОЖЕ!»

Вот два хора вместе и весь храм с ними запели «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего...». Вся церковь опустилась на колени, и я вместе с ними. Мерный звон кадила и фимиам снова наполняют храм до самого купола. Пришло время всем прощаться. Меня подняла мама на руки, и я увидел в последний раз лицо дедушки. Я поцеловал его в венчик, лежащий на его лбу. Руки его были сложены крестообразно на груди, а пальцы, как на саровских деревянных ложках, были сложены в трехперстие.

После «Вечной Памяти» батюшка предал дедушку земле. Свернули белое серебряное парчовое покрывало, белым саваном, со славянской вязью написанными вокруг него «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный помилуй нас», с большим черным крестом посередине, с копием и губкой на нем, с лестницей и петухом с другой его стороны (копием прободили Христа на кресте, губкой напоили отцем, при помощи лестницы сняли с креста, а петух — напоминание о том, как Петр отрекся трижды и, шед, плакася горько), с ангелами и херувимами над ними, покрыли дедушку с головой и с руками, в которые вложил ему батюшка разрешительную молитву. Затем батюшка крестообразно трижды с ног до головы перекрестил дедушку землей, сыпая ее из совочка со словами: «Господня земля и исполнение ея вселенная, и вси живущие на ней». Вот закрыли уже не видного дедушку крышкой гроба, предварительно батюшка так же крестообразно вылил из пузырька на саван елей, смешанный с вином (соборное масло). Подняли мужчины гроб, подсунув под него домотканые холщовые полотнища, и под пень хоры и народа «Святой Боже, Святой Крепкий,



Святой Бессмертный помилуй нас», под мерные удары «дедушкиных колоколов» с перезвоном стали выносить дедушку, неся его гроб на полотнищах до кладбища, останавливаясь несколько раз для пения литии.

Белый снег и морозное солнце слепили глаза, белый иней, одевший деревья, мелкой искрящейся на солнце пылью сыпался на крышку гроба, припорошивая черный крест, написанный на нем. За гробом шли бабушка и протодьяконы со свечой и кадилом, хор монастырских певчих, пели литии и беспрестанно «Святой Боже...» У свежевырытой ямы поставили гроб на табуретки и пропели панихиду. На тех же полотнищах опустили гроб в могилу и посыпались камушки земли, гулко ударяя о сосновую крышку. Быстро вырос свежий холмик, в головах которого поставили русский восьмиконечный крест, на котором славянской вязью было написано: «Петр Михайлович Арцыбушев». Это третья могилка на Дивеевском монастырском кладбище. Больше уж никто в эту землю не лег из нашей семьи. Я имею ввиду то Дивеевское кладбище, где лежат отец, сын и внук.

Это была третья смерть в нашем доме, но первая, когда я ощутил, что такое смерть и как она приходит. Дедушкина смерть была той тихой, мирной, не постыдной кончиной живота нашего, о которой постоянно молится Церковь и вместе с ней народ Божий, о чем молился и чего удостоился дедушка.

Следующая смерть посетила наш дом, и как гроза, которой всю жизнь боялась бабушка, смела его с лица земли, но до этого еще нам осталось жить в нем пять лет, и много еще утечет за это время воды.

Как я писал выше, две дочери Петра Михайловича приняли монашество в Дивеевском монастыре. Схимонахинями и монахинями они стали значительно позже, пока они инокини Наталия и Мария. Тети Наташа и Маруся. Одна — золотошвейка, вторая — иконописец. Обе тетушки бывали у нас в доме, но не часто. Из них я лично любил тетю Марусю, тетю Наташу я, признаться, совсем не любил. Тетя Маруся, младшая сестра моего отца, была доброй, сердечной и веселой, с художественной натурой, немного экзальтированной и, по словам мамы, малость глуповатой. Ее доброе сердце для меня всю последующую жизнь было дороже ее ума, она

не была глупой, скорее недалекой. Тетя Наташа, самая старшая из всех детей дедушки, была близнецом дяди Миши. Она была сухой и строгой старой девой, стремящейся скорее нас поставить в угол, чем приласкать, в противоположность тете Марусе. В храме она всегда очень бдительно смотрела на нас и за нами, как мы крестимся и там ли где положено, не вихляемся ли, не смотрим ли по сторонам, не чешемся ли невзначай, и, заметив какой-либо изъян в нашем благолепии, всегда стучала на нас бабушке и ставила на вид маме. Она была сторонницей акафистов в усиленной дозе во вразумление и просвещение наших душ. Мама с ней иногда сражалась все на том же языке, неведомом нам.

Дядя Миша с нами в Дивееве никогда не жил, он только приезжал к нам в отпуск. Его приезды были праздниками для нас, он привозил всегда кучу игрушек и массу всяких вкусных вещей. Окончив морской корпус, до революции он плавал старшим офицером. Во время Гельсенфорского бунта матросов, которые озверев топили офицеров, дядю Мишу спасла его храбрость и вера. Во время разгула матросни на палубе крейсера дядя Миша сидел в каюте в ожидании смерти, но ждать ему надоело и, не дожидаясь, одев парадную форму, он поднялся на палубу, на которой бушевала матросня, громогласно скомандовал: «С-м-и-р-н-о!» Прошел сквозь вытянувшегося по стойке смирно ряда изумленной матросни, сел в шлюпку и уплыл на ней в порт. Так он уцелел. Вернувшись в Петроград, он очень скоро его покинул и после 1917 года оказался в Астрахани на Каспии в рыболовецком флоте, где, как опытный моряк и умный человек, дослужился очень быстро до директора рыбных промыслов Волги и Каспия. После смерти дедушки, дивеевский дом был записан на него, а мы, дети, с мамой числились на его иждивении. Благодаря чему, в разгул коллективизации и раскулачивания нас не трогали, и мы продолжали жить в своем доме. А в доме после смерти дедушки жили: бабушка, в скором времени принявшая иночество, мама, мы, дети, Аннушка во служении бабушки, очередные Анны, в наше просвещение, и на кухне, в чулане, какая-нибудь бездомная душа, с Катькой или без нее. Тетушки навещали нас, одна ласкала, другая воспитывала, нюхала за шиворотом, чтобы точно определить, кто из нас испортил воздух. Справедливость торжествовала, безобразник стоял

в углу. К тому времени акафисты были отменены. А виноват был совсем не я, а гороховый суп, квашеная капуста, свежевыпеченный хлеб в русской печи и все та же тленная плоть, пока еще детская, из которой стремилась тетушка создать бесплотное тело раньше времени. Тетушка была строгого нрава и даже невольные грехи не отпускала и не разрешала. Будьте милосердны — сие к нам не относилось. Не относилось не потому, что милосердие не было добрым качеством ее души, что осознал я гораздо позднее, а потому, что, во-первых, у тети не было своих детей, во-вторых, она желала создать из нас столпов благочестия, к тому же стремилась и бабушка, и мама, но разными путями и средствами; мама знала, что детские души наши больше открыты к ласке, которой она достигала лучших результатов, чем бабушка насилием. Я помню мамины слова, сказанные ею спустя много времени, когда я был юношей, Коленке, о котором речь пойдет значительно ниже: «Из Алеши лаской можно веревки вить, насилия же над собой он не терпит». А кто его терпит? В характере русского народа заложен огромный потенциал всенародного терпения, но и ему есть предел. Я уже говорил, что во мне бурлит сильная струя черногорской крови, унаследованной мной от предков. «Кто такие черногорцы, Бонапарте спросил, это племя, племя злое, не боится наших сил». Вот и объяснение моего свободолюбия. Не перенося с детских лет насилия над собой, я не любил насилующих меня. Простите и Вы меня, милая тетечка Наташа, Вас давно уже нет на этом свете; когда Вы скончались в 1957 году в Муроме, куда закинула Вас судьба, после разгона Дивеевского монастыря, в котором прошла и моя юность, я не удосужился приехать из Москвы на Ваше погребение. Это моя огромная вина перед Вами, и я в ней каюсь. Каюсь и в том, что в 1942 году я так же не приехал из Москвы в Муром на погребение бабушки, которая скончалась в тот день, который во сне предсказал ей батюшка Серафим за много лет до ее кончины. Но я всегда поминаю Вас монахиней Феофанией, вместе со многими монахинями моего рода, простоты ради пропуская очень значительную приставку «схи». Это правда! Моя бабушка, сколько я себя помню, а следовательно и ее, как только время неминуемо приближалось к весне, бабушка деятельно начинала готовиться к своей смерти. А так как она была нрава крутого, то

приготовление сие касалось не ее одной, готовиться должны были все. Однажды она увидела во сне преподобного Серафима, сны с преподобным — в Дивееве вещь была обычная. Близость батюшки в самой жизни продолжалась и во сне. Видит бабушка во сне Саровского чудотворца, словно входит он к ней, в ее комнату, а комната бабушки была той самой комнатой, в которой жил Мишенька Мантуров, ближайшее духовное чадо батюшки Серафима. Когда-то в этой самой комнате в углу перед образами чудесно зажглась лампада, масла в которой не было, по нищете, добровольно принятой Мантуровым, по благословию батюшки. Зажглась она в тот самый момент, когда жена его, протестантка по вере, горько сетовала на мужа и на батюшку, о его добровольной нищете, смысла в которой она не видела. «Вот посмотри, до чего мы дошли, — плача говорила она, — лампада потухла, даже масла на лампаду нет!» В этот момент лампада вдруг загорелась. Случившееся чудо так поразило ее, что она с плачем стала просить прощения у Бога, батюшки и мужа. С этих пор ни одного слова упрека с ее стороны больше не было, а после кончины мужа она приняла постриг в Дивеевском монастыре с именем Елена.

Эта самая комната, после приобретения дедушкой домика Мантурова, осталась в том виде, как она была при нем. За этой комнатой была еще маленькая, в которой жила Анюта, послушница Дивеевского монастыря, по благословию игуменьи жившая в нашем доме при бабушке. Так вот, видит бабушка во сне, что в ее комнату входит батюшка Серафим и говорит ей: «Умрешь двенадцатого мая». Больше батюшка ничего не сказал. С этого момента, с приближением назначенного батюшкой дня, в нашем доме все замирало. Бабушка готовилась к смерти. Она ежедневно говела, выстаивая все длиннейшие службы монастырские, снова переписывала свои завещания, так как за год ее симпатии менялись, в ту или другую сторону. Усиленно постилась, пересматривала все погребальные принадлежности, что-то в них меняла и давала новые указания в отношении своего погребения и жизни, которая должна идти в доме после того, когда душа ее покинет и этот дом, и этот сад с огородом, и нас, детей, и вообще сей мир. Указания давались по-русски и по-французски, что создавало еще большую трагичность грядущего мая. Это продолжалось из года в год до конца ее

жизни до двенадцатого мая 1942 года, когда она уже была в глубокой старости, и суровая жизнь превратила ее в смиреннейшую из смиренных.

Вечная тебе память! Но в те годы моего детства, после прошедшего очередного двенадцатого мая, весь дом облегченно вздыхал, думаю, что и бабушка тоже!

Несмотря на всю сумбурность ее характера, человеком она была добрым и сердечным, иначе бы в чулане на кухне не было бы постоянного пристанища убогим и бездомным. Дедушка тоже отличался милосердием, особенно после случившегося с ним однажды.

Однажды, в годы его молодости, приходит к нему почти голый нищий и просит подавания. Дедушка так растрогался, видя его лохмотья, что вынес ему свою самую любимую рубашку. Спустя какое-то время, дедушка вышел в город и на улице у кабака увидел того самого нищего, вдрызг пьяного, в тех же лохмотьях, в которых он пришел к нему. Оскорбился бедный дедушка, пожалел любимую рубашку и с этим чувством, не покидавшим его до самой ночи, заснул. И видит он во сне Христа, на котором была одета его любимая рубашка. Этот сон так поразил его, что всю свою последующую жизнь, отдавая, не жалел, так как всякая милость, сделанная от сердца, как бы она не была использована просящим, принимается Богом. «Подайте, ради Христа, подайте, ради Христа». Так ходила по соседним селам и деревням с сумой моя мама осенью и в начале зимы 1930 года, а мы голодные и почти раздетые сидели на кухне дивеевского дома, единственного нашего пристанища, после того, как гегемон — хозяин России и властелин наших жизней конфисковал все имущество нашего дома, вплоть до детских теплых вещей, и опечатал дом, оставив нам до решения наших судеб кухню с чуланом, в котором на подстилке из мешков спала бабушка. «Подайте, Христа ради, подайте!»

А пока жизнь в доме идет все таким же путем, как и шла. Но шла она не в том спокойном течении, о котором Россия, вспоминающая, могла только мечтать. Все так же сажали картошку, тяпали капусту в сених, но грозные, страшные доносились слухи. Загадочно скончался Патриарх Тихон, заточен местоблюститель митрополит Петр, вместо него какой-то Сергей, и вовсе не блюститель. Пошел

разнобой в церквях, кого поминать на великом выходе? Кто поминает Петра, кто Сергия. Мама за Петра, бабушка за Сергия, и тут катавасия на французском диалекте. Валом валит духовенство Московское с духовными чадами своими в Дивеево, в Саров, который по слухам вот-вот прихлопнут. И опять разнотолки, то ликует бабушка, а Тасечка посрамлена. Детей своих она давно уже не причащает из-за того самого, правительством назначенного, а не соборным постановлением местоблюстителя Сергия. То Тасечка торжествует в своей правоте. Весь сонм духовенства, ринувшийся в предчувствии близкого конца в наши края, все не миновали нашего дома, но точки зрения у них были разные, большинство из них укрепляло маму в ее правоте, что предвещало французскую бурю. Но о столь трепетных вещах лучше всего поведает вам сама мама, записки которой пойдут своим чередом под заглавием «Записки монахини Таисии».

Эти записки моей мамы были написаны ею по моей просьбе в 1939—1940 годах. До них я не знал, но чутьем своим догадывался, что моя мама монахиня, я об этом узнал и по ее некоторым намекам, в момент наивысшего раскрытия ей своей души, перед уходом моим в армию. «Мама, — сказал я ей, — напиши нам все о себе, а то ты умрешь, и мы ничего не будем знать о тебе». Тут я имел в виду ее духовный путь после смерти отца, который скончался 33-х лет от роду.

Многие, очень многие находили приют в бабушкином доме, хотя она, не вдаваясь в роковую роль Сергия для Русской церкви, предпочитала его местоблюстительства и его незаконное патриаршество в дальнейшем, множество будущих новомучеников находили приют в нашем доме. Я глубоко уверен, что их молитвами жив и я. Частично их имена вы прочтете в маминых записках, но сколько забытых памятью времени имен? Сколько ушедших в глубокое подполье конца двадцатых годов священников, монахов и иеромонахов, святых владык и вместе с ними духовных чад их, которые их прятали в своих квартирах, домах и хатах, в которых они часто в сараях, за поленницей дров, приносили бескровную жертву, обрекая себя на скитания, на нелегальное существование, на волчью жизнь, преследуемых погонями, вылавливаемыми и уничтожаемыми. В своих записках мама скрывала их имена под

буквами М. С. и другими, боясь, что на их след могут напасть продолжатели «светлого пути», начертанного Лениным. Я с юного своего детства был свидетелем начала катакомбной церкви русской, в которую мама ушла по своему глубочайшему убеждению в ее святости и мученичестве, ибо уходили в нее сильные духом и верой. В нее уходила самая не реакционная, как пытались доказать власть имущие, а самая духовная, сильная своей правотой и мужеством часть Русского духовенства, уводя за собой так же мужественных и сильных.

Итак, Дивеево! После смерти бабушки в нашем доме остались одни беззащитные женщины и двое детей. Бабушка — Бабунек, — ходившая всегда вся в черном, мамочка, тоже почему-то вся в черном, лишь с белым платочком на голове, Анюта, брат которой — Василий — пахал наш огород под картошку сохой, под эту соху сажали ее и выкапывали. Анюта тоже ходила вся в черном с белым платком на голове, очередная Анна, в данном случае, Анна Семеновна — высокая, тощая, с худым и мрачным лицом, мы ее не любили. Она была нашим конвоиром за воротами дома и сада. Без конвоя, правда, вооруженного четками, а не автоматами, под которыми мне пришлось ходить долгие годы своей, по словам Есенина, «давно утраченной юности». А пока, меч супротив супостата — четки. Под конвоем Анны Семеновны, с четками на запястье, мы ходили то на лужок к Вучкинзе, там мы под ее неусыпным оком играли в песочек, то на кладбище, к папе и бабушке, там пели «вечную память» у их могил. Дальним походом было путешествие за святой водой на Казанский источник под часовенкой, за околицей Дивеевского села. К этому источнику два раза в год на Казанскую Божию Матерь, престольный праздник сельской церкви, ходили мы с крестным ходом и с молебном у источника. Там мы пели «Заступница усердная, Мати Господа Вышнего...» Набрал в посудины воды от источника, мы шли домой. С алчной завистью смотрели мы на вольно бегающих деревенских мальчишек, лазающих по деревьям вместе с девчонками, играющих в городки или в лапту. С похожей, знакомой мне с детства завистью и тоской по вольной вольности, спустя много лет, смотрел я через двойные ряды колючей проволоки на ту сторону жизни, которой непонятно почему и за что и тогда в детстве, и потом я был лишен.

Одних нас никуда не пускали, тщательно оберегая нас от улицы, сверстников наших и, в особенности, от девочек. Не мудрено, что с детства лишенный сих прекрасных созданий и общения с ними, я до сих пор, до седой бороды и лысой головы, сохранил к нему прекрасному полу невероятное притяжение, а может быть, это во мне от черногорцев? А может, — и то, и другое. Наша жизнь под колпаком ни в чем не изменялась от перемен одной Анны на другую. Тот же одинокий песочек, то же пение «Со святыми упокой», то же хождение на источник. Только теперь не с Анной Семеновной, а с Анной Григорьевной. Анну Григорьевну мы прозвали «Знайте, понимайте». Она была моложе, добрей и не такой занудой, как предыдущая Анна. Ходила она тоже в черном, как, в общем, все окружающее нас общество. Четки на ее руке тоже были. У «знайте, понимайте» была манера жевать губы и от обиды поджимать их. Из-за нас эти губы часто поджимались, и по ним мы определяли степень ее обиды на нас. Конвой есть конвой, кто его любит? Если Анна Семеновна читала нам акафисты, то более занудливого чтения не было на свете. Анна Григорьевна пожила в нашем доме до его краха. С ней мы прошли весь «Ветхий и Новый завет», прочитали все Четьи-Минеи епископа Феофана, массу всевозможных акафистов, в которых все «радуйся» вызывали в нас невероятную скорбь. Слава Богу, мама увидела ее.

С Анной Григорьевной, одним словом, мы были к 1930 году подготовлены к четвертому классу начальной школы. В Дивееве нас в школу не отдавали, все по той же философии. К 1930 году я писал диктанты с сорока ошибками, что сохранилось во мне и по сию пору. Обедню знал наизусть и массу песнопений из всех служб, и многие акафисты тоже. По утрам мы обязательно или с мамой, или с Анной Григорьевной, в ее присутствии, наизусть читали утренние молитвы и обязательно Обедницу, если в этот день не шли в церковь.

В маминых записках, а следовательно, в ее жизни Анна Григорьевна сыграла большую роль. Анна у бабушки, Анна у нас и Анна на кухне в чулане, а ее Катька зимой на русской печке. Мужчин в доме не было. Дядя Миша раз в год приезжал к нам в отпуск, и его всегда из Арзамаса привозил все тот же Василий. По осени он же на саях или на телеге отправлялся в Арзамас, откуда привозил полные



сани, покрытые рогожей. Когда во дворе ее снимали, то под ней лежали: рогожные кули с золотой копченой воблой, аромат которой неопишум; там же зашитые в мешковину и обернутые все той же рогожей напоминающие бревна осетры, белуги и севрюги, бочонки с Каспийской селедкой свежего посола и кильки. В куле отдельно — огромные заломы, жирные до такой степени, что с рогожи тек жир. В небольшом бочонке икра. Пишу, а слюнки текут, как тот жир от заломов. Это директор рыбных промыслов Волги и Каспия присылал нам ежегодно, пока был жив. Всем этим бабушка щедро делилась с матушкой игуменией Александрой, а та — по усмотрению. Вот почему я с детства обожал и обожаю до сих пор женский пол: потому что его от меня прятали; и красную рыбу: потому что меня ею кормили. Характер и привычки закладываются с детства, до семи лет. А то насилие, совершаемое над моей свободой с детства, вылилось в позорный разгул юности, о котором речь впереди.

А пока Анна Григорьевна водит нас за ручку и, как назло, она водила меня, держа мою руку своей сухой от рождения рукой, напоминающей мне лапу ястреба. Анна Григорьевна дожила до глубокой старости. Она постоянно была в поле моего зрения до своей кончины, живя в Москве и опекая страшно миролюбивого дебила Валентина, оставшегося после смерти матери одиноким и беспомощным. Мне как-то позвонили с вопросом: «Нет ли у меня на примете одинокого человека, которому за плату и питание можно было бы спокойно доверить беспомощного умом человека». Я не раздумывая крикнул: «Есть!» Много лет прожила она на территории Зачатьевского монастыря, конечно, закрытого и в мерзости стоящего, в деревянном домике, опекая Валентина, ходя с ним в Обыденский храм, в который ходил и я, где ее и отпевали, где заколотил я крышку ее гроба и похоронил. Валентин, к счастью, умер раньше. Бывало, придешь к ней и начинаем мы вспоминать Дивеево. «А помните, знаете, понимаете, Алеша, как мы гуляли на лужок!» Еще бы не помнить! Вечная Вам память, Анна Григорьевна, хорошая и добрая память. Вы мне очень много дали, «знаете ль, понимаете ль». С трудом, но с благодарностью вспоминал я, лежа на нарах бутырской тюрьмы, ходя по камерам Лубянки, забытые, еще в детстве выученные с Вами, молитвы. Как они мне были тогда нужны!

О еже спастися нам от глада, меча, труса и потопа, междуособных брани, нашествия иноплеменников. Вот от нашествия иноплеменников Бог спас наш дивеевский дом находчивостью Анны Григорьевны. Как-то в предзакатный час летнего вечера ворвался к нам на двор цыганский табор. Как оказались ворота, всегда на все засовы закрытые, открытыми, никто понять не мог. Толпа цыган хлынула со двора в дом. Как стая ос разлетелись они по дому, а в доме одни женщины. Шуруют они по комнатам, крутят руки маме, заслонившей собой двери. В этот момент влетает в дом Анна Григорьевна, откуда-то чудом пришедшая, с диким криком, словно не замечая цыган:

— Михаил Петрович приехал! Михаил Петрович приехал! Ставьте самовар! Михаил Петрович приехал!

Цыган как ветром сдуло, в один миг их уже не было на дворе. Очнувшись от испуга, хватились, а детей нет. Где дети? Где дети! Нет детей! Серафим, Алеша!!! А мы не живы и не мертвы забились в дрова, сложенные в помещении под огромной террасой, на все вопли всех сразу и по отдельности мы откликнулись не сразу. Страх сковал нам голосовые связки. Завидя цыган, мы с быстротою молнии очутились в дровах. Цыганами нас напугали с раннего детства. Не мудрено, что пятки наши сверкали, а сердца в ужасе колотились о сосновые поленья. Междуособная брань к тому времени сильно приутихла. Как узнал я спустя много лет, в это время мама приняла постриг, Анна Григорьевна спасла нас от нашествия иноплеменников. Землетрясение нас ожидало впереди, а тонуть я стал, обретя свободу!

Рождества мы ждали, как манну небесную! На Рождество нам, детям, «делали сюрприз». В тайне от нас, отправляя или петь «Вечную память» на кладбище, или в случае ненастья попросту запирали нас в какой-нибудь комнате, чаще всего у бабушки. Там всегда пахло деревянным маслом, которое жгли в лампадах, а их, неугасимых, горело много перед массой икон в серебряных и золоченых окладах, таинственно сверкающих своими богатыми ризами. Они заполняли большой киот из красного дерева. Перед киотом стоял аналой-пюпитр с резными изящно выгнутыми ножками. На нем всегда лежала раскрытая книга в кожаном переплете и с золотым обрезаем. Масса акафистов пряталась на полках

в нижней части киота. Это была та самая комната Мантурова, в которой когда-то вспыхнула лампада. Окно комнаты выходило во двор. Рядом была комната Анюты. Ее окно выходило на железную крышу погреба. Уведя или загнав нас в другие комнаты, без права выхода, взрослые украшали огромную елку, срубленную и привезенную из леса все тем же Василием. Мы прекрасно знали, чем заняты все Анны, мама и бабушка, изредка навещавшая нас в нашем заточении.

Почему-то нас лишали самого интересного детского занятия — украшения елки. Но все равно мы предвкушали радость праздника и единственного, раз в году, детского бала, когда наш дом наполнялся детьми и можно было водить вокруг сверкающей елки хороводы за ручку с девочкой в бантиках и юбочкой веером.

Но до этого момента надо было претерпеть заточение. Вечером, закутанные снизу до самых глаз шубами и башлыками, мы с мамой шли ко Всенощной.

Морозная, рождественская ночь. Она осталась в моей детской памяти как сказка. В морозное, ночное, полное звезд небо, причудливыми клубами из всех труб, из всех домов и домиков поднимался дым топившихся печей, в которых что-то жарили, что-то пекли и варили, праздничное-рождественское. Этот хоровод дымов был настолько фантастичен и переполнен всякими зверями, птицами, ангелами и херувимами, что невольно переносили меня в далекую вифлеемскую ночь, в которую все небесные силы словословили родившегося Христа Спасителя. Под торжественный звон всех колоколов в эту славную ночь еще шел русский народ в храм Божий, шли и мы. «Дева днесь Пресуществленного рождает и земля вертеп Неприступному приносит, ангели с пастырями славословят. Волхви же со звездю путешествуют. Нас бо ради родися, отроча младо, Превечный Бог».

Рождественская служба в монастыре от Всенощной переходила в Литургию, как в пасхальную ночь, и в памяти моей не сохранилось, чтоб я уснул с посохом у царских врат на Рождество. В эту ночь все духовенство и епископство, оказавшееся в Дивееве в эти дни, служило. Рождественский пост был по уставу значительно легче, чем Великий. Если Великим постом рыба полагалась только на Благовещенье и на Вербное Воскресенье, то в Рождественский

пост разрешалась рыба, запасы которой, благодаря дяде Миши, у нас были приизрядные.

Вернувшись домой из храма были маленькие разговины — и спать, спать, спать. А вечером бал! Сердце трепетало, даже во сне.

Приближался долгожданный вечер. Пикейные рубашки одеты, вихры причесаны. Таинственная дверь в детскую плотно заперта. Собираются гости. В основном это дети местных батюшек, дьяконов и местного бомонда. Имена всех этих мальчиков и девочек память моя не сохранила, так как они не были постоянными нашими товарищами и участниками наших детских игр. Они бывали у нас раз в год на елке. Приходили они со своими дородными матушками попадьями, розовощекие, веселые в предвкушении зажженной елки, хороводов вокруг нее, пряников и разных сладостей, припрятанных к этому дню, и, конечно, подарков. Веселой гурьбой, щебеча и смеясь, кокетничая и воображая, толпились, тесня друг друга, у дверей детской комнаты. А за дверями мама со всеми Аннами, лазая по стремянке, зажигают свечи.

Наконец, — Сезам, отворись! — распахиваются двери и перед нами — сверкающая нарядами ель до потолка, вся в огнях колышущегося пламени свечей. В те годы музыки в домах не водилось, редко у кого были граммофоны, в основном у батюшек. Патефонов не было и в помине, не было в нашем доме и фисгармонии. Все веселие шло под губную гармошку, на которой играли все, а поэтому стояла какофония, так как гармошек было много, губ еще больше, и воздуха — хоть отбавляй. Веселые хороводы вокруг елки сменялись игрой в жмурки и снова хоровод. А самое интересное начиналось, когда елочные подарки не просто раздавались, а разыгрывались, как в лотерее. Вытягивались билетки с номером подарка и обязательным исполнением какого-нибудь номера: или что-то спеть, или сплясать, прочитав стихи и т.д. Импровизаций была масса, в них участвовали и взрослые. А потом угощение за накрытым столом, празднично украшенным.

Вот кончен бал, погасли свечи до следующего года. Елка всегда стояла в детской до Крещения. На следующий день в наш дом на угощение приходили батюшки. Они, прежде чем сесть за стол, славили Христа, кропили все комнаты святой водой и после этого садились отведать белужий бок, праздничные пироги с вязигой и

жирным заломом, закусывать чарку водочки. Все святки по домам ходили ряженые с вифлеемской звездой, славили Христа и пели рождественские колядки, заходили и в наш дом, где их всегда чем-то одаривали.

С двадцать пятого до тридцатого года жили в Дивееве в своем доме Сараhtiны: старый царский генерал, каким-то чудом уцелевший в революцию, его жена Любовь Васильевна и их сын Митя. Интересная судьба была у генеральши. Генерал Сарахтин, седовласый, с длинными казачьими усами, напоминавший Тараса Бульбу, выиграл свою жену в карты еще в юности у приятеля. Видать азартная шла игра, и приятелю в ней не везло, чтобы отыграться, он на кон поставил свою молодую жену и проиграл. С этого момента она перешла в жены к будущему генералу, и по ее словам, она тоже была не в проигрыше. У нее была старшая дочь Ксения, вышедшая замуж за Челищева. Они жили в Москве, а девочку подкинули дедушке с бабушкой в Дивеево. Наташенька была младше меня года на три. Мама дружила и с генералом, и с его женой. Митя был намного старше нас. Мы с мамой часто бывали у них, и я отлично помню и генерала, и Любовь Васильевну, и Митю, всегда что-то мастеровившего, и, в особенности, Наташу. Как-то в шутку иль не в шутку ее бабушка и моя мама нас помолвили, и с тех пор я стал смотреть на Наташу, как на свою невесту и будущую жену. Я мечтал о ней, я ею грезил. Моим счастьем жизни была она. Всю нежность своего детского сердца я отдавал ей, но разница в годах в то время была еще большой, это с возрастом она почти совсем сглаживается, а тогда!!! Мне семь, ей четыре, мне десять, ей семь, это уж куда ни шло. О, как любил я ее! О, как мечтал видеть своей невестой! А невеста, сидя на горшке, лепетала:

— О горе, мука, пытка, дед горшок велит мне греть, — повторяя слова няньки, возмущенной генеральскими приказами греть горшок!

Но все-таки это была моя невеста, и я относился к этому со всей серьезностью. Нас с детства воспитывали в непреложном законе, что у мужа должна быть одна жена! Одна единственная. Такой единственной и была у меня Наташа Челищева. В детском своем воображении я венчался с ней, пил из ковша по очереди сладость и горечь жизни, горечь я плохо представлял себе, она была

для меня что-то вроде: горе, мука, пытка, дед горшок велит мне греть, а вот сладость я подсмотрел ребячьим оком в оконце Шатагинской баньки. Я был в нее влюблен, я любил ее и томление духа и плоти впервые были пережиты мною в ранней моей юности, на грани с детством.

Я очень хорошо помню похороны генерала, лежащего в генеральском мундире, длинные усы которого покоились на груди его меж больших золотых пуговиц с двуглавыми орлами. Стоя у гроба его, я держал свою «жену» за руку, крепко сжимая ее, давая тем самым понять ей: я с тобой. Впереди гроба, на крышке которого лежала его генеральская шапка, несли золотую его шпагу и ордена на бордовых подушечках.

Сей мой первый роман, сия моя первая любовь оборвались внезапно в 1930 году.

Я встретил Наташу в Москве в 36-м году, и детская любовь моя вновь вспыхнула с новой силой юношеских лет, с нахлынувшими на меня воспоминаниями детства. К тому времени познание добра и зла было мною изведано и испито, казалось, уж до дна. Я увидел перед собой тринадцатилетнего ребенка, невинного и нежного, играющего в куклы и смотревшего на меня невинно детскими глазами. Я часто приходил к ним в гости, дарил Наташке куклу или шоколадку и видел в ней не невесту и не жену, как в былые годы детства, а девочку. Меня же в то время интересовали девушки. В них я влюблялся и искал ответных чувств. К великому стыду моему и постоянной скорби матери, многие заповеди и заветы Христовы, с такой верой, надеждой и любовью вложенные в меня с моего младенчества, мною были забыты и попораны, но не вера, спрятанная в душе моей где-то глубоко-глубоко. В особенности это относилось к заповедям: «Не укради» и «Не прелюбы сотвори»!

Мои гости к Наташе становились все реже и реже, так как жил я другими интересами. Как-то, спустя три года, зашел я к ним.

— А где Наташа? — спросил я ее мать Ксению Дмитриевну.

— Редко ходишь, — ответила она. — Наташа замуж вышла и уехала с мужем, он у нее моряк.

Эту новость я принял без огорчения, равнодушно. В эти страшные годы погибла в лагерях Любовь Васильевна, знавшая языки и работавшая экскурсоводом в Ясной Поляне. Поводов

для ее ареста и гибели в те времена было предостаточно. Жена царского генерала – шпионка, раз с иностранцами имела несчастье общаться.

Оканчивая повесть о своей первой детской еще любви, скажу вам, что спустя много лет разыскал я Наташу в Москве, вернувшись из лагерей и ссылок; мне уже было тридцать семь лет. Встретились мы с искренней детской радостью, пили вино и водочку, ели пироги и наперебой вспоминали наше детство, Дивеево, бабушку с дедушкой: «О, горе мне, о пытка, дед горшок велит мне греть». Тут-то она мне и призналась, что при встрече со мной в Москве влюбилась в меня, а я исчезал куда-то, чем мучил ее. Подвернувшийся морячок пленил ее невинное сознание и уволок. Хлебнула она с ним много, чего и не расскажешь, но дети удерживали ее от развода с ним. Обыкновенная банальная история, окончившаяся, как и другие, ей подобные, разводом, новыми радостями еще молодой жизни, надеждами на лучшее и новыми трагедиями и разочарованиями. Ксения Дмитриевна скончалась, а Наташу я потерял из вида много лет тому назад.

А в то Дивеевское время я пылал любовью, надеждой ждущего меня впереди счастья. Как на Руси говорят: «Суженого на коне не объедешь». Нам обоим предназначены были разные судьбы и пути.

Уже приближались тридцатые годы. Закрыт Саров. Опоганено святое место не от руки иноплеменников, разграблено не татарской ордой, не печенегами, не гуннами, не скифами и не евреями. Саров, Дивеево и всю Христианскую Россию громил, плевывал, топтал в каком-то бесовском неистовстве Русский Богоизбранный народ!!! Кто сваливал с храмов кресты? С Дивеевской колокольни валил, но не смог свалить, а согнул в дугу – Ваня, сын сельского священника, нашего дивеевского отца Симеона. Кто жег дивный иконостас XVII века в селе Кимжа? Местные крестьяне, которые с нескрываемой гордостью хвалились мне о своих «подвигах». Кто? Кто? Русские. Русские. Русские. В своем бесшабашном, порусски безобразном, разгуле: разбивал, крошил и уничтожал то, перед чем преклонялся, что читил, чему молился он сам многие века.

Подходила Пасха! 1929 год. Дивеевский монастырь, как сотни других, растащен и разворован. Что-то удалось из святынь его спасти по домам, по хатам. Большое Запрестольное распятие пытались

внести в верхний храм Рождества Божией Матери, придел Казанской церкви, но оно не проходило в двери, так его и оставили в притворе. Местные комсомольцы (не евреи), сельские парни и девки решили устроить кощунственный крестный ход в пасхальную ночь, противопоставляя его крестному ходу, совершаемому перед пасхальной заутреней. Для этого омерзительного кощунства с санкции властей сельсовета и комсомола, поверьте мне, среди них не было ни одного еврея, место глухое, удалая молодежь вскрыла дверь храма, в притворе которого стояло распятие, и стала его вытаскивать, чтобы надругаться над распятым Христом, неся распятие во главе своего антирелигиозного шествия ночью. Сколько они ни старались, сколько ни пыхтели, а вынести его не смогли. Тогда один из них схватил топор и рубил им по перекладинам распятия, пока лезвие топора не коснулось руки распятого Христа и из руки хлынула кровь. Я сам, своими глазами, видел эту кровь. Окно было высоко и мама, подняв меня на руки, спросила: — Видишь?

Окровавленное распятие стояло передо мной. Говорили, что рубивший парень сошел с ума, всех остальных куда-то увезли с глаз долой. Храм опечатали.

Замолкли Саровские колокола! Но еще звонили Дивеевские. Однажды, по первому санному пути, прикатили в Саров две тройки. На розвальнях — по сундучку. Внесли их в Саровский собор. Там в полной тишине вскрыли раку преподобного, сгребли его косточки в мешок, свалили в один из сундучков, оба запечатали одной печатью, поставили в сани: один — в одни, другой — в другие, и помчались тройки по двум разным дорогам, одна на Тамбов, другая в Арзамас. В Арзамас за день не доедешь, и в Тамбов тоже. Не все иудами стали, не все, ни тогда, ни теперь, иначе бы сгинул бы народ и вера тоже. Время показало обратное. Следили мужички за тройками, пронюхали они, что в сундучках везут, и хитрость раскусили, а потому и поехали за тройками — кто на Тамбов, а кто на Арзамас. Земля слухом полнится. Передавали гонцы от села к селу «мощи батюшки Серафима везут, выручать святыню надо». На постоялом дворе, где тройкам ночлег готов, готова и выпивка изрядная, сногшибательная. Мощи-то русский мужик вез, еврей бы глотка не хлебнул при таком важном деле, а русский мужичок, да



в компании ведрами пил, а не четвертями. Вусмерть напоили на постоялом дворе возницу и конвой. Лежат они бездыханные, да под себя мочатся. А тем временем сундучок-то тот вскрыли, святыи мощи вынули и айда! Печать сургучную приляпали медным и поминай как звали! Наутро, проснувшись, высохнуть надобно и опохмелиться, как водится. Стол накрыт и водки четверть, а это по тем временам три литра. Напившись вновь, с пьяных глаз не заметив кражи и пятакoм приляпанной печати, махнула тройка в Арзамас, а в сундучке-то пусто!

Так избавили от поругания мужички свою святыню Саровскую. А мощи батюшки и по сию пору спрятаны под спудом до того дня, когда ляжет он под четвертым столбом храма, по его приказанию выстроенного, а вместе с ним еще трое угодников Божиих Дивеевских!

В Саровском монастыре — колония для малолетних преступников, в Соловецком — один из первых лагерей смерти. Оттуда призывают заточенные и обреченные на смерть епископы Православную Церковь не вставать на гибельный путь компромисса.

В 1927 году на Рождество Божией Матери совершалась последняя литургия в Дивеевской обители. Хор не пел, а рыдал, обливаясь слезами, монахини и послушницы прощались с чудотворной иконой Умиления; этой святыней, под покровом которой они жили и помощи у которой просили в предстоящих бедах, скитаниях и, может быть, смерти. Нескончаемой чередой, не сдерживая рыданий, двигались они в черных своих мантиях к иконе, вставая на колени, распластываясь на полу перед ее чудным, спокойным ликом, покорно принявшую Архангельскую весть и рекшую: «СЕ РАБА ГОСПОДНЯ, БУДИ МНЕ ПО ГЛАГОЛУ ТВОЕМУ». С такой же покорностью воле Божией в сердцах своих просили заступления и помощи у своей Небесной Игуменьи у Матери Бога Вышнего! Поднимая друг друга, путаясь непослушными ногами в своих длинных мантиях, земно кланялись в ноги своей земной игуменье, прося прощение и молитв. Это было погребальное прощание, это было отпевание монастырю!

Весь день до поздней ночи шли пешком, ехали на телегах, мевших осеннюю слякоть, таща свой нехитрый монашеский скарб на плечах, двигались, останавливались и снова двигались,

напоминая погребальное шествие, напоминая крестный путь Христа на распятие. Этим крестным путем начинала Россия свое восхождение на Голгофу!

Большинство насельниц обители разбрелись по близ лежащим селам и деревням, не желая покидать родную обитель, в надежде дожить тут где-то рядом до исполнения пророчеств и предсказаний батюшки Серафима о Дивееве. Они жили с глубочайшей верой в слова своего родного батюшки. Казанский храм, выстроенный первоначально как монастырский, а затем перешедший селу, еще был открыт. Пророчества батюшки о будущем Дивеева, о четырех мощах под четырьмя столбами, прямо относились к этому храму. Могилки будущих праведниц еще не были опоганены и залиты асфальтом, а находились тут за оградой церкви. Канавка — это убежище, эта святыня — была тут рядом. Монастырское кладбище с родными и близкими сердцу покойниками оставалось пока не поруганным. Все еще жило, все дышало молитвой, и святость не покидала его. Еще можно было, правда, с опаской, ходить пешком на источник, черпать из него святую воду и приносить ее домой. Ходить по канавке в вечерней тишине с молитвой Иисусовой или с пятисотницей. Пусть в Тихвинском храме стучит и пыхтит паровая мельница, а не совершается литургия. Идет она в Казанской, там матушка Капитолина управляет хором, в котором поют дивеевские матушки все на тот же Дивеевский распев неповторимый, с раннего детства мною любимый. С какими слезами, с какой сердечной мукой и радостью услышал я его снова, спустя много-много лет, пройдя через огонь и воду, и медные трубы сталинских лагерей, в муромском, единственно уцелевшем храме, в котором еще пели дивеевские сестры на дивеевский распев. Скоро и он замолк.

Уходили одна за другой, одна за другой на вечный покой дивеевские сестры. Матушка игуменья с большей частью приближенных монахинь и со всеми основными святынями монастыря обосновалась в Муроме. Туда же перебрались и обе мои тетушки. Тетя Наташа, хорошо зная немецкий язык, устроилась переводчицей на завод, который строили немцы. Тетя Маруся — художницей в краеведческий музей.

Храм Благовещенского закрытого монастыря, единственный впоследствии действующий храм в городе, превратился в

подобие маленького Дивеевского подворья. Там правили службы по-дивеевски.

В самом же Дивееве Казанская церковь продолжала эти традиции. Владыка Серафим Звездинский поселился в Меленках, маленьком захудалом городке недалеко от Мурома и вдали от железной дороги. Впоследствии неоднократно, живя в Муроме, мы с мамой ездили к Владыке. В маленьком домике, на тихой улице, с белыми занавесками на окнах, на крылечке, во дворе встречал он нас сияющий, светлый как лунь, седой, милый, добрый и прозорливый. Он знал о всех моих падениях, о безобразном моем житье, о том болоте, в котором по юности своей, по глупости и по необузданному нраву своему искал я утех и радости жизни. И говорил он маме:

— Алеша твой дойдет до самого дна и оттуда начнет свой путь вверх.

А я по сию пору, «в бездне греховной валяясь», плачу о содеянных мною лютых, плачу, а встать не могу. Как тяжелы вериги греха, как они приковывают тело и душу к этой брэнной земле, как парализуют волю.

В доме, в его большой комнате светлой занавесью был отделен алтарь. Маленькая домовая церковь, в ней Владыка служил ежедневно без архиерейского облачения, в полумантии, епитрахили и поручах. Он сам, и службы его, и лик были проникнуты и напоены благодатью, светлой и тихой. Мама ездила в Меленки к Владыке, еще продолжая жить в Дивееве после закрытия монастыря. Неоднократно ездили мы с ней и в Елец, где жили ее родители: бабушка Настя, дедушка Саша, дядя Володя и тетя Катя. Об этих наших поездках я тут не пишу, а описываю их в своих воспоминаниях о матушке Евдокии. В них я описываю всех близких, живущих там, их жизнь, болезни и смерть. Эти записки в свое время и в своем месте будут включены в мою повесть о прожитой мною жизни и той преисподней, моей личной и всеобщей, в которую опустился я вместе с Россией.

Я уже говорил, что большинство дивеевских сестер осело вблизи монастыря, не желая покидать его святых стен. Многие молодые послушницы, не принявшие ни малого, ни великого пострига, будучи юными, ушли в мир, вышли замуж и стали крестьянствовать.

В Вертяннове поселилась схимонахиня Анатолия со своей послушницей монахиней Рафаилой. К ним часто ходили мы с бабушкой и мамой. Я очень хорошо помню ее келью, полную образов и горящих лампад. Как-то, каким-то образом, я остался в этой келье один. Увидев бутылочку с кагором, стоящую у киота, недолго думая, налил в полумраке из нее в чашечку, стоящую рядом, и хлебнул второпях хороший глоток, предвкушая сладость церковного вина. О ужас! Что-то ужасно жирное и противное застряло в горле. В бутылке из-под кагора было деревянное масло для лампад. Рождалась тяга к запретному. Когда мне было восемь лет, еще существовал НЭП, мы с братом, стащив 15 копеек у Аннушки, жившей в чулане на кухне, купили в лавке рядом с нашим домом пачку папирос «Трактор». Забравшись в сад, подальше от зорких глаз всех Анют, мы закурили до тошноты. Голова кружилась, ноги ватные, глаза красные. Тщательно прополоскав вонючие свои рты и спрятав пачку папирос под матрац в детской, как ни в чем не бывало явились пред светлые взоры нас охраняющих неусыпных глаз. Никто ничего не заметил. Спустя какое-то время, перестилая наши постели, мама обнаружила «Трактор». Ужасу ее не было конца. Она плакала. Откуда это? От Корнилова. Где взяли деньги? У Аннушки, взаймы. Вы украли у Аннушки? Мы их взяли взаймы! Вы понимаете, что вы их украли у нищенки, у слепой Катьки? Подведя нас к иконе, перед которой все так же горела лампада, мама сказала:

— Поклянитесь мне перед этим образом, что до восемнадцати лет вы не возьмете в рот папиросу.

— Клянемся! — ответили мы.

Сия торжественная клятва была мною нарушена через пять лет, мне было тринадцать лет, и я стал курить, сперва тайком, потом открыто. Клятва моя была нарушена, а я стал клятвопреступником.

Тогда, в те годы, мама была бессильной, мыкаясь в нищете с двумя детьми на руках, от зари до зари отгребая лопатой зерно в элеваторе, а мы, предоставленные сами себе, в одиночку шли кто куда, я же ходил по краю пропасти, спускаясь в нее все глубже и глубже.

Маму очень любили крестьяне. Она постоянно их чем-то лечила, хорошо разбираясь в лекарственных травах, зная народную медицину, имея запас каких-то лекарств. К ней постоянно кто-то приходил с той или другой болезнью и всегда что-то получал.

Много раз на наш двор вваливались представители власти, с намерением что-то отнять, благо их власть народная, и всегда с ними представитель сельской бедноты, а попросту, лодырь и пьяница Марагин, наш сосед напротив. Вечно они хотели что-то отнять, отрезать, чего-то лишить. Но всегда выкатывались ни с чем.

Нас охраняли бумаги: свидетельство о гибели Юрия Петровича Арцыбушева, красного командира, погибшего в Самаре при осуществлении им взрыва моста через Волгу. Бабушка — мать погибшего красного командира. Бабушка — мать директора рыбных промыслов Волги и Каспия. Мы — сироты, мама — вдова. Руки не поднимались, тогда еще не поднимались. Поднялись потом, а пока была еще совесть, был и щит. Но горели завистью глаза на дом, на сад, на огород у Марагина и подобных ему.

Праздничным днем был в нашем доме день Ангела кого-нибудь из нас. Серафим летом, я осенью. 19-го июля по старому стилю разнаряженный именинник в сопровождении торжественно шествовал в собор, неся в руках как доказательство своей причастности к этому дню икону своего святого. Там ставилась она на аналой, а именинник, причастившись, принимал поздравления, вместе с ковшем теплоты и огромной просфорой.

В этот день и в этот праздник в Дивееве были особые торжества, не по случаю, конечно, дня Ангела брата, а в связи с праздником пр. Серафима, которые в Дивееве торжествовали не меньше, чем в Сарове. В бытность монастыри Дивеево и Саров были переполнены паломниками всех сортов, рангов и достоинства. В этот день всегда служил и всенощную и литургию именинный Владыка. После обедни под звон колоколов — крестный ход по канавке, как и зимой, но свечу я не ронял; было жарко в парчовом стихаре. По окончании всех служб именинника на огромной террасе ждал во главе стола поставленный высокий стул, весь оплетенный цветами. Серафиму было хорошо, в июле все цветы цветут, не то что в октябре. В белой, всегда почему-то пикейной рубашке среди цветов и именинных пирогов восседал именинник. Серафим всегда на террасе, я же — в зависимости от погоды. Два раза в год, на подобно, приходили в наш дом батюшки с молебном и кропили нас, дом и сад, что и охраняло нас всех от Марагиных. Силу святой воды мы все хорошо знаем, а вот силу пасхального яйца, с которым

пошел человек вокруг храма с крестным ходом на Пасху, мама знала и не раз испытывала. Пасхальное яйцо тушит или приостанавливает пожар. Пожары были бичом в те времена, в Дивееве и в Вертяннове иногда выгорало до двухсот домов. Вид их был страшен. Ужас этой стихии я много раз видел. По соседству с нами через забор горел Шатагин, у которого была во времена НЭПа булочная, и булочки его были ужасно вкусны и пышны. От жара у нас не раз загоралась крыша. Все вещи были вытащены в сад, была ночь. Бог помиловал и дом уцелел от пожара, его ждала другая участь и нас тоже. Скоро, очень скоро получит Марагин власть.

Мама часто уезжала в Москву и там подолгу задерживалась, поэтому мы совсем не были удивлены ее внезапному отъезду по какой-то телеграмме. Мы остались с почему-то притихшей бабушкой и с Аннами. Прошло лето, наступала осень 1930 года.

В Казанском храме службы шли своим чередом, хотя отец Симеон снял с себя сан и работал механиком на паровой мельнице, установленной в Тихвинском храме. Служил один отец Павел и дьякон Лилов, имя не помню. Бабушка ежедневно ходила в храм, внешне жизнь мало в чем-либо изменилась, но она сильно изменилась внутри дома. Наш дом напоминал корабль без руля и ветрил. Бабушка ходила по дому с заплаканными глазами, получала какие-то письма, от которых приходила в волнение, еще не распечатывая их. «Знаете-ли-понимаете» ходила грустной и чем-то озабоченной. Надзор ее и уроки ослабели и как бы потеряли смысл. Мы почти всецело были предоставлены сами себе, торчали в палисаднике, ранее запретном, и глазели на запретную улицу, впитывая в себя ее запретный, а потому притягательный аромат. Тихое шушуканье, о чем-то нам непонятном, от нас скрываемом. Анята, любившая раньше усесться на кухне в свободное время с букварем с картинками и громко по слогам читать «кы-а-а-ры-а-о-вы-а» и, глядя на картинку, громко сказать «ер-блюд!», теперь совсем забросила свои занятия. А меня Бог наказал за то, что я всегда ее переразвивал: «Кы-ры-а...», я с детства и по сию пору читаю медленно и плохо с листа.

Весь дом жил в каком-то тягостном ожидании, и мы, дети, чувствовали это и понимали, что от нас скрывают что-то очень страшное. В каком-то унынии мы вставали утром и ложились

вечером. Мы друг с другом с раннего детства были очень разобщены. Серафим жил своей жизнью, я – своей. У нас не было общих товарищей, у каждого – по-своему. Мы терлись все детские годы в заколдованном круге, он и я, от которого не возникало близости. Для меня он – бабушкин, я – мамин, хотя мама никогда не делила нас, как делил я. На вопрос, кого ты больше любишь, она всегда отвечала: «Того, кто в данный момент несчастней». В ее любви к нам не было разделения на любимого и нелюбимого.

Осенние тучи плыли над домом, над садом, а мамы все нет да нет. Тяжелое предчувствие какой-то большой беды давило нас и пугало. Я не помню ни дня, ни числа, я помню день осенний, день солнечный и ветреный. Безнадзорные, неприкаянные, мы вышли на улицу, а там Ванька Шатагин, сосед, парнишка лет 19.

– Эй, Симк, пойдй сюда.

Мы оба робко шагнули, подошли.

– Вы слышали, – сказал он медленно и сочувственно. – Вы слышали, – повторил он. – Вашего д-я-д-ю... – он словно запнулся, боясь говорить дальше.

– Что нашего дядю? – спросил Серафим.

– Вашего дядю Мишу... – он снова запнулся, но преодолев волнение, добавил – расстреляли!

– Дядю Мишу, дядю Мишу! Убили??? Почему??? За что???

– Погодите, я сейчас, – Ваня побежал в дом и вернулся с газетой в руке. – Симк, смотри, вот, читай.

«Приговор Верховного суда СССР по делу о вредительстве мясной и рыбной промышленности...» в колонке сорок фамилий, приговоренных к высшей мере наказания, среди фамилий подчеркнуто чернилами М. П. Арцыбушев, а дальше, внизу... «Приговор приведен в исполнение». Вот он гром среди ясного неба! Вот почему так долго нет мамы, вот отчего бабушка вся в слезах, вот почему на нас никто не обращает внимания. Мы вбежали в дом и наткнулись на Аннушку.

– Аннушка, Аннушка, дядю Мишу убили.

– Откуда вы знаете? – спросила она.

– Шатагин, Шатагин, газета!

Горе вышло наружу, его уж больше никто не таил в себе. Бродя по саду, шурша опавшими листьями, я не мог смириться с мыслью,

что милого доброго дяди Миши нет на этом свете, его убили. За что? Моя детская голова думала, вспоминала, видела дядю Мишу. Вот он учит нас плавать в Вучкинзе. А как он плавал, как нырял, далеко-далеко, как моряк! Вот мы с ним идем на ярмарку, на Казахской, ути, ути, ути — глиняные свистульки. Цыгане на конях и в кибитках. Цыганки, молодые и старые, красивые и страшные: «Мил человек, позолоти ручку, всю правду скажу. Что ждет, что будет. Ох, уж и любит тебя одна. Всю правду скажу». И позолотит он ей ручку, отвела в сторону, на руку смотрит и говорит, говорит, а глаза, как огонь, красивые, жгучие. Кони ржут, кричат бабы, поют пьяные, идет торговля, кто что тащит к телеге: кто колесо, кто горшки. Визжат поросята, мычат бычки, кудахчут куры, гуси, утки. Вот мы на конях карусельных, дядя Миша смеется, а мы заливаемся от радости и от ощущения чего-то такого, чего мы были лишены и никогда не ощущали так, как когда дядя Миша брал нас на руки и ласкал иначе, как-то совсем иначе, по-мужски, по-отцовски. Но отцовской ласки мы не отведали, поэтому сравнивать было не с чем. Чутьем своим ребячьим искали мы в нем той мужской, ни на что не похожей ласки. И теперь ее уж больше нет и не будет. Дядю Мишу убили, убили, убили!!! За что?

Вернулась мама. Вскоре, почти на следующий день, у ворот остановились тарантасы. Стук в ворота, открывай! Властный, грубый, требовательный. «Открывай!» В дом ввалились наглые и безжалостные (евреев среди них не было, Марагин среди понятых), в формах и без нее. Предъявляют бумагу на опись и конфискацию движимого и недвижимого. Пошли по дому из комнаты в комнату, описывая все до мелочи, сваливая в кучу иконы, книги, тряпки, одеяла и матрацы, валили все подряд и детские вещи: штаны, трусы, наши праздничные пикейные рубашки, шубы, валенки. Мама пытается спасти теплые детские вещи, ведь зима на носу! «Не трогать! Лож взад!» «Это же детские, детские вещи, они-то при чем?» — доказывает им мама. — «Лож, говорю тебе!»

Комната за комнатой, печать за печатью. Голые стены, перевернута мебель, содраны шторы, качается лампада в пустом углу... «Милосердия двери отверзи нам! Надеющиеся на тя да не погибнем.»

И не погибли! Нет, не погибли! «Ты бо еси спасение рода христианского!» Подайте, добрые люди! Подайте на пропитание.



И пошла мама по деревням с сумой просить милостыню, как погорельцы, приходившие в наш дом, никогда не отпущенные без помощи, так теперь и мама несла, уже в наш дом, на кухню, милостиво нам оставленную до решения дальнейшей нашей судьбы, деревенские пироги с горохом, хлеб, яйца, кто что подаст. В округе все ее знали, любили, сочувствовали внезапной беде и давали, кто что может. Иногда сами приносили.

Однажды идет мама по одной деревне, молодой парень на крыльце:

— Погодь тут, сейчас вынесу, — и вынес маме совсем новехонькие валяные портянки. Мама в изумлении стоит и руку не протягивает.

— Новые совсем, самим пригодятся.

— Бери, бат цаво боишься!

— Да они совсем новые, — отвечает она.

— Так цаво ты, бат, думаешь, я на страшном суде пред Богом в них-то стоять буду, а ты цаво, босая?

Все: и мама, и бабушка, и Анюта, и Анна Григорьевна — очень стойко и мужественно переносили насыпавшиеся на нас беды: ни жалоб, ни ропота. Едим, что Бог подаст. Носим, что Бог пошлет. В деревнях разворачивается и берет силу беззаконие и разгул дошедшего и до нас раскулачивания. НЭП прихлопнут. Гонят в колхозы, уводят скот со двора. Крестьяне режут ночами скот, чтобы не увели. Горе всенародное, разрушающее, рубящее под корень деревенскую крестьянскую силу, источник хлеба русского и богатства российского. А кто рубит, кто тащит, кто уничтожает? Шатагиных увезли, всех поголовно. Дом пустой, ворота настезь, окна выбиты. А вот и предписание: Татьяне Александровне Арцыбушевой с детьми к ... такому-то в Арзамасское ОГПУ. Екатерине Юрьевне Арцыбушевой явиться к ... такому-то в Арзамасское ОГПУ. Анюта и Анна Григорьевна — не наша семья, и они без предписаний. Анюта с бабушкой раньше нас уехали в Арзамас. Анна Григорьевна поехала в Москву собирать по друзьям и знакомым одежду и теплые вещи для нас и мамы. Условились, что мама сообщит ей, что с нами будет дальше, из Арзамаса.

Наш отъезд назначен на завтра. Мы с мамой в последний раз пошли на могилки отца, Петруши и дедушки. Мама длинной вере-

вочкой отмерила расстояние от фундамента храма Преображения до могилки папы, так же до Петрушиной и дедушки. Веревоочка вскоре не нужна оказалась, отмерять не от чего. Сравняли храм с землей. Да уж мы туда вряд ли попадем, так оно и вышло.

В 1958 году приехал я в Дивеево, мне уже было сорок лет, а уехал я из него в одиннадцать.

В декабрьское зимнее утро 1930 года мы покинули дивеевский наш дом. Дом, в котором я родился, в котором прошло наше детство. Дом, в котором умер отец. Он смотрел на нас своими пустыми темными окнами, безжизненно мертвый, холодный и чужой. Как быстро родное становится не родным. Стоит только погаснуть очагу, у которого текла твоя жизнь, его словно и не было, словно и не грел он тебя, словно и не было жизни в нем. С таким чувством покидал я погасший очаг, у которого прошло мое детство. Без сожаления. Он как бы перестал для меня существовать. Долгие-долгие годы нужно было прожить, чтобы понять и оценить всю прелесть и значение его, сформировавшего душу мою от младенческих лет до старости!

А в тот зимний день я покидал этот дом, как покидают тюрьму. Впереди меня ждала свобода! Новый мир, мне совсем незнакомый, и новая жизнь. К сожалению, ни к новому миру, ни к новой жизни мы были совсем не подготовлены. Нас ждала впереди жестокая правда жизни. У саней собралась толпа причитающих баб:

— Да куда ж, бат, ентакий мороз-то, да на цаво енто похоже, голые, смотри, бат, голые ребята померзнут, бат, погодь-то, погодь, Ляксандровна, накрой ребят-то тулупом-то.

В сани полетели пахнувшие овчиной и крестьянским потом тулупы. Добрые, вскоре сами до нитки обобранные, Авдотьи, Акульки и Фроськи накрывали нас, с плеч снятыми, теплыми тулупами, укутывая в них наши ноги, плечи и головы.

— Ведь нада ж, как ента сволочь сирот-то обобрала!

Вертьяновские и дивеевские бабы шмыгали носами, совали маме в платки завязанные хлеб, вареные яйца, лепешки. Сани тронулись. Впереди шестьдесят верст, а еще сколько их, Бог весть.

На пол-пути, уже под вечер, мы остановились на ночлег у сельского батюшки. Пили горячий чай. В доме пахло жареными семечками и свежим подсолнечным маслом. Батюшку еще не

раскулачили, но он ждал со дня на день «лихоимцев», а пока слепая лошадь во дворе медленно ходила по вытоптанному копытами кругу, приводя своей одной лошадиной силой в движение весь механизм маслобойки. Скоро, очень скоро отнимут эту единственную лошадиную силу, а батюшку – в Сибирь.

Наутро, рано, чуть светало, мы снова сели в сани, матушка заботливо закутала нас тулупами, батюшка перекрестил всех нас, и сани тронулись. В морозной мгле впереди показался Арзамас. Мы много раз с мамой бывали в нем. По дороге в Елец или к врачам. Там было у мамы много знакомых, у которых мы останавливались. И в этот раз мы остановились у какой-то милой, приветливой дамы, которая плакала, глядя на нас, и не знала, чем побаловать. У нее нашлось какое-то теплое детское барахло, одев которое, мы утром пошли с мамой к Владыке Арсению «чудовскому», находящемуся в Арзамасе в ссылке, пока. Он встретил нас очень сердечно. Окончив литургию в домашней своей церкви, усадил за стол, кроме владыки за столом сидела матушка игуменья Фамарь. Владыку Арсения и матушку Фамарь мама знала давно и очень любила обоих. За столом все те же рассказы о дяде Мише, о неясной еще нашей судьбе, о Дивееве, Сарове, о владыке Серафиме.

Владыка Арсений и матушка Фамарь несколько раз бывали у нас в нашем доме. Шел разговор и о положении церкви. О «ваша радость, наша радость», которую владыка разделять с митрополитом Сергием не желал, за что и погиб спустя несколько лет.

В этот день мама должна была явиться в Арзамасское ОГПУ. В народе эти четыре страшные буквы, буквы смерти многих миллионов невинных жизней, расшифровывали: О! Господи! Помоги Убежать! а в обратном чтении: Убежишь. Поймают. Голову Оторвут. Убежать некуда. Надо идти! Владыка благословил нас всех престольным крестом: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. Идите с Богом. Пусть будет Его Святая воля. Идите с Богом!»

Матушка Фамарь перекрестила наши головы, обняла маму и мы пошли в ОГПУ! Это было мое первое знакомство с органами уничтожения, и не последнее! Впоследствии его «карающий меч» опустился сперва на мамину голову в 1937, а на мою — в 1946!

Бездушные, холодные, не знающие жалости глаза обшарили нас с головы до ног. Мы были их жертвой: двое детей и тридцати-

четырёхлетняя женщина. Покорная не им, а воле Божией, стояла она спокойная, в ожидании своей и нашей участи! Жестокие, полные нескрываемой ненависти глаза смотрели на нас! Сквозь зубы, цедя и смакуя каждое слово, «рыцарь революции» читал: «Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М. П. Арцыбушева ...»

Тут мама громко и внятно сказала:

— Я — вдова, но не его, он не мой муж и это не его дети!

— Молчать!!! — Чекист снова процедил первую фразу, давая этим понять, что ему наплевать, чья она вдова и чьи дети. Он продолжал:

— И дети его, Серафим и Алексей, приговариваются к ссылке, минус шесть.

Это означало, что ссыльный имеет право выбрать любой город, кроме столичных городов и областных центров. Мама выбрала Муром, который был тут же вписан в документ о ссылке. Мама выбрала Муром, как место своей и нашей ссылки, потому что это, во-первых, сравнительно близко от Москвы, а, во-вторых, там есть куда приткнуться на первое время с детьми. Там поселились после разгона монастыря наши две тетки. И так впереди новый город и совсем новая жизнь. Какая???

Мы едем в трясущемся, вихляющемся из стороны в сторону поезде. Мы лежим на полках, мама сидит у окна. Она и мы смотрим в окно. Снега, снега! Шатаясь, как пьяный, поезд бежит по рельсам, вдруг резкий гудок паровоза, резкий толчок, и мы летим с верхних полок вниз, цепляясь за воздух. Общий испуг, переполох и успокоение. Носы не разбиты, руки-ноги целы. «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского». Вспоминая всю свою прожитую жизнь, в особенности сейчас, когда я пишу о ней, свидетельствую:

**МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ ВСЕГДА БЫЛИ ОТКРЫТЫ!**

В тяжелые моменты и обстоятельства всегда приходила помощь неожиданная и чудесная.

Вот поезд пробежал длинный мост над заснеженной Окой, а на крутом ее берегу — древний-древний город Муром, со множеством древних храмов, монастырей за белокаменными стенами на

его крутых вершинах, огромным собором в центре, заснеженными садами и домами в них, сбегающих к Оке. Из множества труб течет ввысь дым теплых очагов, чужих, не наших. Наш погас. Его надо снова создавать, затопить, чтоб нес он свое тепло и уют. Много, очень много пришлось мне в жизни создавать своих очагов, чтобы дымы их радовали сердце, и не только мое! Тулупы, которыми так сердечно укрывали нас дивеевские «матроны», мама с возницей отправила обратно.

Поезд подкатил к вокзалу, на фасаде которого славянской вязью, толченым кирпичом было выложено: МУРОМ.

**ОТКУДА НАЧНУ ПЛАКАТИСЯ ГОРЬКОМУ МОЕМУ ЖИТИЮ!**

Рано ли поздно, мир открывается перед ребяческим оком во всей его неприглядной правде, во всей его суровой и непреложной истине. Беда наша была в том, что нас охраняли от нее, как охраняют экзотические цветы теплого юга от лютых морозов Колымы. Нас не подготавливали к реальной жизни, и поэтому мы не имели ни опыта, ни знаний. У нас не был выработан иммунитет против вируса, рождаемого от свободного волеизъявления. Наша свобода была подавлена во имя выращивания из нас белых непорочных голубков, которыми можно любоваться, держа их в клетке, не беря во внимание, что голубям нужны в первую очередь крылья. Вот они-то и были у нас атрофированы. Мы, питаясь исключительно зернами добра, не знали житейского зла и не имели иммунитета против него, в наши зобы вместе с добрым семенем не попадало горького семени реальной жизни. Внезапно, очутившись предоставленными сами себе, среди неведомого нами враждебного мира, мы в нем напоминали не белых голубей, а белых ворон, да еще и не умеющих летать.

Очутившись среди стаи черных ворон, беспощадно нас бьющих, мне ничего не оставалось делать, кроме единственного: из белого превратиться в черного, другого пути у меня лично не было, или погибнуть, так как иных защитных средств у меня не было. Я говорю все это не в свое оправдание, не с желанием найти виноватого. Я с раннего детства был приучен сознавать и не оправдывать свои грехи и дурные поступки. Видеть причину их и не сваливать ее с себя.

## ГРЕХ ЮНОСТИ МОЕЯ И НЕВЕДЕНИЯ МОЕГО НЕ ПОМЯНИ.

Если мама по житейскому своему опыту и по духовности своей могла всецело отдать свою судьбу и нашу в руки Божии, то у меня этого опыта не было, и поэтому я отстаивал свое право на жизнь кулаками, руководствуясь простой истиной — с волками жить, по-волчьи выть! А посему, неведение мое очень быстро перешло в ведение. Чтоб выжить, я должен быть таким, как все мои сверстники. Эта необходимость была чисто внешней. Внутренне я всю свою жизнь ощущал себя и ощущаю до сих пор «белой вороной» и ни капельки от этого не страдаю. Быть как все — это отнюдь не значило для меня раствориться в общем безличии. Я сохранил свою индивидуальность с первой минуты, когда нога моя шагнула в преисподнюю.

Морозным днем, закутанные до глаз в женские пуховые платки, заиндевевшие, с застывшими култышками вместо ног, стуча ими, как колунами, мы вошли в комнату тети Наташи.

Всплески рук, возгласы отчаяния, раздевания, умывания, вытирание носов, горячий чай и сон, сон живительный, благотворный сон! Бабушка, так же как и мы, получила ссылку — минус шесть, но она по каким-то соображениям не взяла себе Муром местом ссылки, а выбрала Лукьянов, куда и отправилась в полном одиночестве, никому не понятном и странном. Может, в этом сказалась основная черта ее характера — ни от кого не быть зависимой. Эту ее черту характера унаследовал генетически и я.

На следующий день нашего приезда в Муром мама с нами пошла на «поклон» к матушке игумень Александре, обосновавшейся в своем маленьком домике, против стены Благовещенского монастыря, в храме, в котором пели, служили и прислуживали дивевские сестры. Она встретила нас очень сострадательно, вздыхала, охала вместе с другими сестрами, знавшими нас с пеленок: «Ах, как Алеша похож на Петра Петровича». Нас чем-то поили, чем-то кормили. Тут, в келье матушки висела знакомая нам чудотворная икона Умиление, икона Божией Матери, перед которой и скончался Преподобный. Мы все приложились к ней. Мама долго стояла перед ней, а потом только приложилась. Матушка игуменья неодобрительно относилась к маминым взглядам на положение

в церкви и спросила ее: намерена ли она ходить сама и водить детей в храм. Мама твердо ответила — нет.

Это «нет», так наотрез сказанное, сразу определило их взаимоотношения не только с матушкой игуменьей, но и с теткой Наташей. Тетя Маруся жила отдельно. Эти вопросы ее не волновали, и своих взглядов она никому не навязывала, стремясь постоянно что-то нам сунуть. Избегая всех этих разговоров по-французски и по-русски, мама немедленно стала искать угол.

Найти угол зимой, да с двумя детьми, делом оказалось нелегким. Мама ходила целыми днями из дома в дом, с улицы на улицу и не могла найти. Наконец нашла она на самом краю Якимановской слободы, далеко от города, у самого берега Оки избу, в которой жила одинокая старуха, кривая и горбатая; она, пожалев нас, пустила к себе в избу на пол. На этом-то полу на каком-то тряпье и началась наша новая жизнь.

Вскоре приехала Анна Григорьевна и приволокла с собой кучу детских теплых вещей, теплую одежду маме и собранные ею в Москве средства к существованию. Мир не без добрых людей! Анна Григорьевна вскоре уехала, а у мамы начались мытарства в поисках работы. Ссылным найти работу равносильно выигрышу по 2% займу. С утра и до позднего вечера она ходила, ходила и ходила. Работы хоть отбавляй, но стоит уточнить соцположение, хлопали дверью.

Товарищи антисемиты! Дверями хлопали такие же русские, как и мама! А еврей пожалел ее и дал работу! Да не он один. Так что нечего травить и валить на них все наши беды. В них виноваты мы сами! Нечего пенять на зеркало, коль у самих рожа кривая. А сколько я в самые отчаянные моменты своей жизни видел от них добра и помощи, об этом потом.

На полу у бабки, пожалевшей нас, было самое то место, на котором можно было дышать, так как печь ее дымила по-черному. Бабка кряхтя, крестясь и охая, лезла на печь, а мы ловили своими ртами и носами свежую струю, паром клубящуюся из-под двери. Но дивеевскую детскую мы не вспоминали, она канула в вечность. Было нечто другое, о чем думалось ночами.

С первого нашего появления на улицу мы с ужасом уразумели, что мы — белые вороны, которые созданы Богом, чтоб их били.

С первой минуты нашего появления, словно его ждали, на нас с братом накинулась стая мальчишек, исколотившая нас и загнавшая в избу, в которую мы драпали, как когда-то от цыган. Чем больше будешь бегать, тем сильнее будут бить. Этот закон я понял сразу и на всю жизнь. Бегать больше нельзя, пусть бьют. Набравшись храбрости и подзадорив Симку, я вышел с ним на улицу. А они, враги наши, — тут, как тут. Только не струсить. Отчаяние взяло верх, я остался стоять там, где стоял, Симку ветром сдуло. Меня враждебно окружили, я не заметил, как один мальчишка сзади меня встал на четвереньки, меня толкнули в грудь, и я задрал ноги кверху, упав навзничь. Раздался злой хохот. Я пытался встать, но ударом был сшиблен с ног.

— Чего пацана бьешь? — спросил парнишка, старше и выше всех.

— Да он драться не умеет.

— А ты научи. Эй, ты, как тебя зовут?

— Лешкой, — ответил я.

— Чего ты боишься, они тебя бьют, бей и ты их.

— Да их-то много, а я один.

— Это несправедливо, — протянул парень. — А на любока?

— А как это?

— А ты что, с луны свалился что ли? На любока не знаешь как драться? Один на один! Во как.

Он вытащил из кучи мальчишек одного, поставил в центре образовавшегося круга и, обратившись ко мне, спросил:

— Один на один будешь?

— Да он трус! — завопили кругом. — Трус, трус!

— Буду, — ответил я.

Мой противник скинул тужурку, я тоже. Эта была моя первая драка, не на жизнь, а на смерть. Я видел как дерутся. Личного опыта я не имел.

— А ну, расступись, — скомандовал парень.

Ходу назад не было, идти надо было только вперед. И я пошел.

Свистели кулаки, слетели шапки, удар в лицо, в голову, в ухо. Я озверел от боли и от ярости, которая придавала мне силы. Мой кулак воткнулся ему в нос, удар был наотмашь. Размазывая кровь, я еще и еще раз попал ему по роже.



– Ну хватит. А вы говорите, он драться не умеет, смотри, как нос расквасил! Молодец, Леха! А тот с тобой, это что — братень?

– Ага.

– А он умеет драться?

– Умеет, – соврал я.

– Так чего ж вы бегаετε?

– Нас двое, а их...

– Не бо-и-с-ь, больше не тронем!

Итак, я был принят улицей, которой суждено было стать моим вторым домом, а в скором времени вожаком и организатором многих злоключений.

Дальше за Якиманской следовала Дмитровская слобода с большой ткацкой фабрикой. Испокон века лежала вражда меж двумя слободами. Якиманские парни били дмитровских, дмитровские били якиманских. У якиманских было то преимущество, что дмитровские в город ходили через Якиманку, другого пути не было. Ежедневно разыгрывались баталии. Наша хата стояла с самого края, у нее-то обыкновенно шли основные драки. Взрослые парни били взрослых, пацаны – пацанов. Дмитровские никогда не ходили поодиночке, это было опасно, так же и пацанье.

Окончив эту драчную школу, пройдя через все ее классы, я уж больше никого и ничего не боялся. В драке я знал приемы во всех позициях и пользовался ими умело. А самое главное – я не боялся и лез в самое пекло, что выгодно выдвигало меня в глазах улицы. Меня не смел никто тронуть, даже если я оказывался один среди многих дмитровцев. Если бы они тронули меня в одиночку, то были бы биты всей слободой.

К весне я вырос, окреп, матом ругался куда изощренней, как говорится, «на распев». На улице был «в законе». Серафим держался в стороне, и его не трогали, как моего братеня. Мама гребла лопатой хлеб, а я дрался. К осени мы перебрались от старухи в комнату на Штабе. Муром перерезан многими оврагами. Штабом называлась часть города по ту сторону глубокого оврага, поросшего лесом. Муромские били штабных, штабные – муромских. Я никогда не мог понять ни причины вражды, ни поводов к дракам – просто так! На крутом обрыве, на самой его вершине, с которой открываются заокские дали, стояли два храма, один огромный,

многокупольный, второй – шатровый. Рядом кладбище с памятниками и крестами, на котором давно уже не хоронили. Вдоль кладбища от церквей – дома в один ряд и сады за ними. В одном из этих домов, за кухней, в небольшой комнате поселились мы. Дом Привезенцевых!

После «половой» жизни на Якиманке наша комната была дворцом, залом для танцев. За дверью, на кухне хозяев – примуса, керосинки и русская печь. У хозяев – корова и мелкий скот. Осенью мы пошли в школу. Оба в один класс, прямо в четвертый! «Знаете-понимаете» не зря старалась. Ее питомцы кое-что кумekali не только по-славянски, но и по-русски, а также и по другим предметам. Нашу первую учительницу в советской школе звали Агриппиной Семеновной. Хорошая и добрая она была тетка. О том, что мы – ссыльные, она знала и потому по-сердечному, как-то по-матерински, относилась к нам. Портрет Ленина в классе смотрел на нас с добреньким прищуром!

В городе было очень много ссыльных, в основном высланных из Москвы, так называемых церковников. В то время шло гонение на всю активно верующую интеллигенцию. В основном она группировалась, создавая свои общины при храмах, в которых еще уцелели и служили высокие духом и крепкие верой батюшки: маросевские, подкопаевские, даниловские, петровские и многие другие.

Во времена великой смуты, особенно касающейся церкви и раздирающей ее не только снаружи, но и изнутри, духовно настроенные души тянулись к старчеству, ища духовного руководства. В основном это были молодые девушки и женщины. Как мне кажется, женские души наиболее активно живут духовной жизнью и всегда жертвенной, без страха и колебаний готовы положить душу свою за дело, которому они преданы, за старца, которому доверили свое спасение. Кто бесстрашно стоял у креста? Кто погребал Спасителя? Кто первыми пришли, едва светало, ко гробу Его с миром, чтоб совершить обряд погребения? Кому первому явился воскресший Христос? Женам мироносицам! Женщины в те смутные времена гонения и преследования Церкви бесстрашно стояли у креста распинаемой Церкви. Они так же бесстрашно шли в ссылки за своими духовными руководителями. Они разыскивали их по тюрьмам и лагерям, посылали посылки, сутками стояли в

очередях, чтоб сделать передачу. Они, не раздумывая, первыми ушли в катакомбы за своими старцами и преданно, пренебрегая опасностями, создавали подпольную Церковь, покупая дома по селам, роя в них тайные храмы и убежища. Они сопровождали их в опасных ночных переходах из села в село, из города в город. Они молчали на допросах, не боясь ни пыток, ни смерти. Я видел этих мужественных «жен мироносиц», я знаю их имена, а многих знает только Бог. Их гнали, ссылали, преследовали, сажали, их уничтожали как силу сопротивления, как духовное ядро, как Сталин уничтожал хлеб на Украине, чтоб уморить голодом непокорных.

Мама обязана была ежемесячно отмечаться в ОГПУ как ссыльная, там она и познакомилась в очереди с Леночкой Ильиной. Но дружба их возникла не сразу. Теперь я знаю по своему лагерному опыту, как легко и просто очернить человека. Стоит только одному сказать другому: «А ты знаешь, такой-то стукач». В любом случае, клевета это или правда, она в мгновение ока облетит все уши и застрянет в них, как заноза в теле. Во все времена предатель есть предатель, кто его ненавидит, кто сторонится. Нет омерзительней стукача, нет его опасней!

Кто-то в Муроме шепнул кому-то на ухо, что он видел, как Леночка выходила из дверей ОГПУ не в положенный день и час. Этого было вполне достаточно, чтоб кто-то сделал роковой вывод — стукач! Перестали здороваться, стали обходить стороной, перестали заходить знакомые. Мама чутьем своим почувствовала клевету и горой встала на защиту Леночки. Мало того, она демонстративно ходила к ней и с ней по городу, чем, конечно, навлекла на себя неприязнь ссыльных. Но маму все знали, любили и доверяли ей. В конце концов, маме удалось снять своим поведением все подозрения с ни в чем невиновного человека. Они стали друзьями до конца маминой жизни.

А наша жизнь продолжалась. В четвертом классе Симка училась отлично, я — средне. На уроках я вертелся, вытворял разные штучки, которые мне прощала Агриппина Семеновна, Серафим сидел смиренно.

К тетушкам мы ходили по-разному: Симка — к тете Наташе, я — к тете Марусе. Спустя год бабушка, очевидно, взвыла в Лукьянове от тоски и одиночества и выхлопотала переезд в ссылку в Муром,

но поселилась в силу своего упрямства отдельно. Я очень редко бывал у нее. Чаще всего я ходил к тете Марусе, которая дома писала картины на революционные темы, каких-то солдат на бронепоезде. Она всегда с радостью и добротой кормила меня чем-то и всегда совала какие-то гроши.

Штабные драки шли своим чередом, и кулаки тренировались. Спустя примерно год жизни на Штабу, мы с помощью Леночки перебрались в большой подвал с двумя комнатами на Напольной. Это тоже окраина, окна смотрели на широкий луг и на Напольное кладбище с закрытым храмом, заросшее деревьями, у которых хоронили каждый день с духовым оркестром в красных гробах старых большевиков, не доживших до своего расстрела, а потому — с почестями. Пока хоронили и с батюшками. На этом кладбище, спустя годы, легли в землю: бабушка, инокиня Екатерина, тетя Маруся, монахиня Варвара и последней тетя Наташа, схимонахиня Феофания и масса дивеевских сестер, имена, Господи, Ты весть.

Благодаря опять-таки доброму еврею, мама поступила в фельдшерскую школу, открывшуюся при горбольнице. Она была очень образованной с детства, знала языки, имела живой острый ум, энергичный, не знающий страха характер. Нищета, тяжелая, физически изматывающая работа, вечно голодные дети, заставили ее искать надежную профессию. Но снова все упиралось в проклятое соцположение и в соцпроисхождение, стоящие в анкетах, вслед за фамилией, именем и отчеством. Ответ на них неминуем. Тут нужны были добрые глаза, почитавшие и сделавшие вид, что не заметили. Кто на это пойдет, кто в случае чего подставит свою голову, кто защитит??? Русские? Они или сами дрожали мелкой дрожью, или были не способны найти в себе мужество, а некоторые по черствости своей проходили мимо человеческого горя и нужды. Многие же — из-за презрения и ненависти.

Но добрые души всегда были, есть и будут. Это те незаметные делатели добра, о которых Христос говорит: «Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая». По евангельским законам живет не только Русский народ, принявший христианство через тысячу лет после Рождества и Евангельской проповеди, по этим законам жило человечество и до рождества Спасителя. Поэтому ни у одного народа, в том числе и русского, нет и не может быть приоритета на

добро или зло. Пред Богом все люди и все народы равны, поэтому дико и не созвучно христианину свое добро считать добром, а добро еврея — злом.

Как мы жили и на какие гроши — я не знаю. Знаю только, что часто мы попросту голодали, и голод заставлял нас искать пропитание в чужих садах и огородах. Симка трусил или делал вид. Я лазил, и за сей подножный корм был иной раз бит и даже стрелян, правда, солью в задницу, что меня не останавливало.

В доме на Напольной, где мы жили, у нас был сарай, в котором мы завели кроликов. Летом корму было вдоволь, за домом большой овраг с большими вязами и сочной травой. Сколотили клетки, раздобыли самочку и самца. Кролики плодятся быстро и много. Вскоре у нас появилось мясо. Кролики плодились, а мы поправлялись от голодных фурункулов на ногах. А тут еще подфартило. Кликнул мудрый из мудрейших клич на всю страну «социализм — это кролик». Стоило только Мудрейшему изречь сию гениальную идею построения социализма в одной стране при капиталистическом окружении, как вдохновленный русский народ по призыву партии и лично т. Сталина стал надо и не надо, как всегда, бездумно и поэтому бестолково, строить крольчатники. Строили их в конторах, учреждениях, на фабриках и на заводах. Кролика стали именовать «сталинским бычком». Цена их подскочила баснословно. За почти новорожденных давали хорошие деньги. Горе — кролиководы, мужички и тетки, коим поручено было сие партийное задание, для восстановления разрушенного коллективизацией сельского хозяйства разводить «сталинских бычков», ни хрена не могли отличить самца от самки. Нас, правда, этому бабушка не учила, Анна Григорьевна тоже, но мы этому учились и без них. Пришел и на нашу улицу праздник. Торговля пошла бойкая. Цена на самочек была значительно выше, чем на самцов. Пользуясь безграмотностью в познании кто-кто и кто-что, мы всучивали партии и правительству «бычка» за «корову», ибо рассмотреть принадлежность они не умели, особенно у молодняка. Тащили десяток самцов и продавали за самок.

— Что там у тебя?

— Самочки, — невинным голосом говорил я.

— Кажи.

Я брал уверенной рукой самца, так же уверенно раздвигал его задние ножки и подставляя к носу парткролиководу, говорил уверенно и дерзко:

— Смотри.

Он смотрел пристально, как положено истинному члену партии, со знанием дела и возложенной на него ответственностью. Ничего не видя и ничего не понимая, что к чему, чтоб не показать своего обалдуйства, цедил:

— Хороша самочка, — и платил гроши.

Так всучивали мы подальше от дома самцов за самок. Их по всем правилам кролиководства, а инструкции рассылались вместе с циркулярами и планом, кормили, поили, выращивали, подсаживали к самцам, которые почему-то не желали с ними совокупляться, а только фыркали и били задними ногами. Что такое? Что такое? Понятие пришло тогда, когда причинные места самок явно оказались самцовые. Тут и ежу ясно! Адреса мы свои ввали, а парнишки все похожи один на другого, и торговали мы далеко от дома. А раз я набрался храбрости и всучил самцов за самок в ОГПУ.

Эти органы в кроличьих органах не бум-бум, я тому порука. Вскоре кроличий бум был объявлен вредительским. На этом мы и погорели.

Но надо искать средства к существованию. В школах раздавались подписные листы. Сперва на сбор средств на строительство эскадрильи. Кинут клич: «Построим! Даешь!» И побежали ребяташки по домам с подписными листками. Подайте несчастной России, кто что может! Подайте на эскадрилью! Подайте на флотилию! До займов еще не додумались. Бегают пионеры, бегают школьники непионеры по домам, из дома в дом с подписными листами, а на них — огромнейшая печать. Дающий расписывается, четко выводя свою фамилию, чтобы виден был бы его энтузиазм-сознательность. Я спер каким-то образом пачку подписных листов с печатями, как положено. Подайте, Христа ради, на флотилию! Подайте на эскадрилью за одно уж! Нужна нам военная мощь! Враг не дремлет! Выводит тщательно свою фамилию, дает кто сколько, нам на хлеб и на кино тоже.

А живем мы пока все там же, супротив кладбища. Сколько раз я на спор ходил по нему ночью. Слабо или не слабо.

Как-то мама решила с нами поехать за вишней в Ялатьму. Плыли мы на пароходе первый раз в жизни. Купила она там много вишен, дешевле были они в то лето. Привезла домой и часть их засыпала сахаром в бутылки, и все о них забыли. Долго они стояли, пока я на них случайно не наткнулся. Лизнул, выпил, крепостью ударило в нос и обожгло гортань. Я чашку выпил – вкусно и приятно, в голове как-то шумит, радуется. Я снова чашку, еще вкусней, еще шумней, я еще! А поздно ночью нашла меня мама за домом в овраге, где свалил меня первый в жизни хмель.

Поступив на курсы, мама с помощью сердобольной женщины Анны Григорьевны, работавшей заведующей женской консультацией, при которой была раздаточная кухня, в которой приготавливали детское питание, устроилась сестрой-раздатчицей. Ее делом было раздавать бутылочки с приготовленным питанием для грудных детей. При консультации были детские ясли, в которых маме часто после раздачи молока приходилось дежурить. Конечно, эта работа была несравнима с той тяжелой, физически изнуряющей работой с лопатой в руках. Мама ожила.

Тут уместно сказать, что мама с детства страдала пороком сердца, перешедшим в декомпенсированный после перенесенной ею в Дивееве скарлатины, которой она заразилась от меня, не желая оставить меня в монастырской больнице одного. Я выздоровел, а она заболела с осложнением на и без того больное сердце. По словам врачей, она, в силу своей болезни, могла умереть внезапно. Физический труд для нее был губельным. Но Бог ее хранил, а добрые люди, и русские, и не русские, помогали, кто чем может. Милосердия двери всегда были открыты, была бы вера, а в ней она была уверенной и сильной. Так, во время острейшей нужды чего-то самого необходимого, мама вставала на колени перед образом и говорила:

– Господи, дай мне мыла, мне нечем вымыть детей!

И кто-нибудь приносил не хлеб, не картошку, а мыло, именно мыло, самое необходимое, о чем она и просила.

Работая в женской консультации, дежуря в яслях, мама перекрестила всех некрещеных детей, в которых была уверена, что они не крещены, в тазу с водой для купания: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!»

На курсах мама училась на круглые пятерки и окончила их с отличием. Сколько мама ни писала, и в какие инстанции ни послала она писем, в которых доказывала, как дважды два-четыре, что она не вдова расстрелянного, а жена и вдова его брата, а следовательно, и дети не его, ответа не было. Какая разница, кто ты, все равно враг!

Окончив курсы, мама осталась у Анны Григорьевны работать патронажной сестрой. Теперь стала она ходить по домам, по молодым матерям, и ее знакомство разрасталось и крепло. Дружба с Леночкой — тоже, и в конце концов мы все вместе сняли квартиру у Елизаветы Дементьевны Варюжкиной на Лакиной улице, дом 43. К этому времени приезжает в Муром в ссылку иеромонах Андрей Эльбсон, духовных детей которого Леночка хорошо знала по Москве, и отца Андрея тоже. Он поселился с нами.

К этому времени меня дважды вышибли из школы за хулиганство, и я окунулся в гущу уличной шпаны. По складу моего характера меня никогда не устраивали второстепенные роли, а потому я очень скоро перешел на первую, оно получилось как-то само собой. Курил я уже открыто, на чердаках играл в карты, грабил сады и огороды, воровал, пока еще шупал девок, одним словом, был отъявленной шпаной и слава моя гремела, верней, бесславие! Среди моей ватаги был один круглый сирота, жил он со старой бабкой своей на нашей улице, шпанил, как все мы, звали его Аркашка, по кличке Дырыш. Спустя много лет, когда я умирал в лагере на известковой штрафной, он спас мне жизнь. Там мы и встретились, он сидел за бандитизм, я — за участие в антисоветском церковном подполье. Ну, а пока мы на равных, он и я — муромская шпана! Мы вместе бегали к муромской тюрьме, делали передачи сидящим там вора и воришкам, и расстояние от ворот до камеры сокращалось. Бог миловал, спасла случайность. А милость Божию часто в случайностях можно и не заметить. Смотря как посмотреть. А для меня это МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ. Все, все «случайности» моей жизни были не случайны, и это вы сами увидите, для чего и сел писать.

А пока я ворую деньги у отца Андрея из его стола, а он их не убирает. Ворую серебряные ризы у мамы с иконы Тихвинской Божьей Матери. Ворую такие же у бабушки, а в придачу золотой крестик с мощами — и все в торгсин, на шикарные папиросы «Тройка»



и всякую сладость жизни. Параллельно с этим стучу по наковальне молотом в кроватиной мастерской артели «Детский труд», работаю молотобойцем. А жизнь на Лакина идет по-новому. Там идут службы утром, вечером, по монастырскому уставу. Там живут с нами Татьяна Николаевна Ростовцева и Мария Фроловна. У Елизаветы Дементьевны снята весь первый этаж Татьяна Николаевна Ростовцева, родная сестра жены Минжинского, соратника железного Феликса — «рыцаря революции», льющего слезы умиления над больной, бедной птичкой. Минжинский его зам. И Ягода рядом. Целый букет палачей! У Татьяны Николаевны пропуск в Кремль, к сестре. Она хорошо знает всю эту банду по дому сестры. При встрече она не подает им руку.

— Они все у вас в крови, — как бы шутя, говорит она им.

— Да что Вы, Татьяна Николаевна, — отшучиваются они, — разве это кровь, она ж у них собачья, какая жалость может быть к врагам.

— Ну, положим, не все там у вас враги. Вот батюшку недавно посадили, какой же он враг?

— А! Вам снова хочется освободить очередного батюшку? Которого? Их у нас хоть пруд-пруди!

— Андрея Яковлевича Эльбсона. Дайте ссылку, что вам стоит.

— Для Вас, голубушка, чего не сделаешь. Завтра ж сошлем!

Так отец Андрей оказался в Муроме, на Лакина 43, служит литургию О ВСЕХ И ЗА ВСЯ! К нему из Москвы едут его духовные дети, среди них и Лев Бруни. Чтобы приезжие впервые не спрашивали ни у кого и не искали дома, мелом по бревнам нарисована метровая 43, перед домом пустырь, 43 видно издалека.

Приезжал в Муром и отец Михаил Шик, храбрый еврей, полный георгиевский кавалер, награжденный за храбрость в Первую мировую войну всеми четырьмя степенями георгиевского креста, во время революции принявший священство и погибший в лагерях. Имя его написано резцом по мрамору в георгиевском зале Кремля.

Кроме о. Андрея в Муроме в ссылке были и другие батюшки, их до поры до времени держали под надзором по ссылкам. Физическое уничтожение их началось с 34 — 35 гг., а пока ходили они по городу в рясах и, не особенно таясь, служили дома. Настоящие катакомбы и нелегальное существование началось с 34 — 35 гг.

Много «отцов» собиралось на Лакина, 43. Они бурно обсуждали положение церкви, необходимость собора для решения всех острых ее проблем, что-то писали, о чем-то спорили. Недалеко от нас жила семья о. Сергия Сидорова. Иногда ему удавалось служить в храмах дальних сел, куда бросалась толпа ссыльных и «не поминающих», так как пользуясь дальностью храма от властей о. Сергей умудрялся не помянуть ни власть церковную, ни советскую. Семья его из-за своей многочисленности влачила нищенское существование. Жена его — Татьяна, по-моему, Николаевна и моя мама очень дружили, она вместе с мамой окончила медшколу. У них было четверо детей: Вера и Таня, Боря и Алеша. Они были почти одного года со мной, и я частенько забегал к ним, правда, моя репутация была в то время весьма скандальной, но среди них я становился сам собой, что давало мне возможность окунуться в забытый мир моего детства. О. Сергия раньше всех схватили, и он канул в небытие. После его ареста у него родился мальчик Сережа. Нищета усугубилась. Всем миром помогали, чем могли. Я уже говорил, что мы с мамой из Мурома ездили в Меленки к владыке Серафиму, к нему ездил и я один по просьбе мамы. По ее письмам владыка знал о той бездне, в которой я валялся. Мама меня и посылала к нему в надежде на мое исправление. Бедная мама, сколько горя перенесла она со мной, я это понимал, но болото засасывает. Владыка все так же с огромной любовью встречал «блудного сына». Он меня ни о чем не спрашивал, не корил, не увещевал, ласкал своим ясным, кротким взглядом, светлым как солнце, одно присутствие рядом с ним что-то переворачивало внутри меня. Исповедуясь по стыду своему за всю мерзость содеянных мною «лютых», я мычал что-то несвязное. Обо мне он знал все, но это все сказать я был не в силах.

Он, покрыв меня своей епитрахилью, положив свои руки мне на голову, долго-долго молчал, словно вместо меня исповедуясь перед Богом! О, Владыка! Сколько бы я сейчас сказал Вам о грехах моей всей жизни, обливаясь слезами, а тогда я только несвязно бормотал от стыда своего. Я уезжал от него облегченный, но снова то самое болото улицы мертвой хваткой тянуло меня на дно.

Но милость Божия перевернула страницу моей жизни, и болото не поглотило меня!

В Муроме был театр и труппа в нем, скомплектованная режиссером на актерской бирже в Москве. Провинциальный театр, чтобы существовать, должен был в месяц ставить два-три новых спектакля. Я каждый вечер был в театре, не по билетам, конечно. В уборной, она же и курилка, в окне была вставлена вентиляционная труба, вентилятора, конечно, не было. Труба большая, плечи пролезали. С улицы к ней можно, ухитрившись, вскарабкаться. Голова в трубе, руки впереди, рывок винтом, руки цепляются за дверь, и я в театре. Курильщики одобритительно помогают, придерживая дверь ногой. Теперь на галерку, да так, чтоб не попасть на глаза «вобле», билетерше. Занавес открывается, и начинается Чудо!

Этой физкультурой я занимался каждый вечер. Иногда меня вылавливали, выдворяли за шиворот, но стоило обежать театр с тыла, голова снова в трубе, и я в театре.

В театре в массовках участвовали старшеклассники, в их числе и мой брат, который страшно этим гордился. На меня смотрел он свысока, считая меня шпаной и бездарью, в чем-то он был прав, но, как принято, за правду бьют. Так я порой бил и его. Он хоть и старше, и выше, и крупней, но школы моей в драках не проходил, а потому всегда был бит мной.

Однажды, шатаюсь днем бесцельно по городу, я забрел в открытую дверь театра, зашел в зал, а на сцене репетиция «Дубровского». Я уселся и стал смотреть. В перерыв подходит ко мне режиссер, посмотрев на меня внимательно, спросил:

— Ты чего тут, пацан, делаешь?

Я спокойно ответил:

— Смотрю.

Режиссер не отходит. Потрепав меня рукой за мои рыжие вихры, спросил, что-то раздумывая про себя:

— А ты читать умеешь?

— Да.

— А ну, пойдём.

Он взял меня за руку и повел на сцену.

— Вот, я Митьку рыжего нашел! И гримировать не надо, — потрепал мои вихры.

Меня окружили давно знакомые мне актеры, рассматривают с любопытством. Режиссер дает мне открытую тетрадку:

– Читай.

Я бойко начал читать текст роли Митьки. Реплика:

– Кто ты?

– Дворовый мальчишка господ Дубровских, во кто!

– Хорошо, хорошо, – подбадривает меня режиссер. Я читаю дальше.

– Ну, ладно. Пойдет! Давай репетировать. Троекуров тут, ты...

А как тебя зовут-то?

– Лешкой!

– Ну, давай, Лешка, смотри, тебя сейчас поймали в саду, ты в ...

– Дупле своровал кольцо, – ответил я.

– Верно! А ты знаешь Пушкина?

– Знаю!

– И Дубровского, я вижу, читал?

– Читал!

– Значит, так... Тебя поймали в саду и привели к барину, к Троекурову. Троекуров, встань тут. Вводите.

За кулисами меня взял за шиворот (знакомая вещь) какой-то актер и пинком в зад толкнул, вводя на сцену, да так, что я полетел кубарем, да я еще и утрировал свое падение. Встав, я потрогал свой зад и засунул руку в рыжие вихры, режиссеру это понравилось.

– Молодец, – крикнул он мне со своего места.

– Кто ты? – сурово, с гадливостью, выраженной на лице, спросил Троекуров.

– Дворовый мальчишка господ Дубровских!

Тут, по замыслу режиссера, я должен был при словах «Во кто», неожиданно ткнуть Троекурова кулаком в живот и махнуть в открытое окно с разгона. Фанерное окно с открытой рамой стояло впереди меня на расстоянии. Этот трюк мне удался по легкости и умению лазить в чужие огороды и сходу взлетать на них во время погони. Я стрелой, вытянув руки вперед, словно ныряя в воду, ткнул кулаком в огромный живот Троекурова и вылетел в окно. Там меня поймали налету, иначе я от усердия своего воткнулся бы в стену за кулисами. Вот и вся моя первая роль в театре, который стал моим домом, моей любовью, моей жизнью! С этого момента я стал актером Муромского драматического театра на протяжении трех лет. Прощай улица, сады и огороды, я уж больше не шпана!

Каково было удивление Симки, который в массовках изображал разбойников, когда он впервые увидел, что я его общеголял. На спектаклях, особенно на детских утренниках, мой полет в окно сопровождался бурей аплодисментов. А ларчик просто открывался! Актриса «инженю», щупленькая, мальчишеского вида, всегда играющая роль подростков, заболела, и играть Митьку было некому. Премьера на носу, а Митьки нет.

Так из-за случайного, бесцельного захода в театр во время шатания по городу в корне изменилась моя жизнь, да и судьба тоже. Снова «Милосердия двери»!

Но, вытащив свои ноги, по чьим-то молитвам, а я знаю чьим, из одной трясины, я попал в другую. В трясины плоти, и театр положил этой школе свое начало. Провинциальный театр того времени был плотской клоакой. Обладая натурой страстной во всех ее проявлениях, бросаясь опроретью, как бросался я в окно на сцене, в любой омут житейского моря, бросился я в омут познания всех страстей, еще мною неведомых. Моя активность и страстность, с которой я вступал на самостоятельный путь, с одной стороны, вытаскивала меня, с другой — топила. Летом я стал помощником режиссера по постановочной части. Вся сцена, весь реквизит, все выходы актера на сцену, все выстрелы, звоны, дожди и громы, пенье соловья, кваканье лягушки, ржание лошадей, мычание коров — все это я умел делать и изображать с великой страстью и полной отдачей себя безраздельно. Эту черту характера и до сих пор не могу в себе пересилить. Ни рассудок, ни раскаяние не в силах остановить меня, когда я «закусил удила». Какая там кровь, какие силы бушуют во мне ... когда светлые, но чаще темные, и все они в основном ни в пьянстве, ни в азарте, ни в каких-либо пристрастиях, все они связаны с обожанием красоты женского тела, подсмотренного мною еще в детстве в банное оконце! Неся в себе черногорскую кровь, очевидно, очень мощную, кровь южных славян, я и внешнею своей отличался в юности, а сейчас в особенности, от русского типа лица, что подавало повод считать меня евреем. Еврейской крови во мне нет ни капли, если б была, то я ее никогда бы не стал отрицать и гнушаться ею. В театре все считали меня евреем, звали «Шлёмкой». Я не сопротивлялся и не доказывал, я откликался, а раз откликается парнишка, значит он и есть

Шлемка, часто к этому имени еще добавляли, шутя, «Шарлатан». И этого я не отрицал. Для афиш мне присвоили псевдоним Престижев.

Итак, Шлёмка, он же «шарлатан», он же Престижев. Какая мне разница кем быть и как зваться, главное я – артист!!! Мне платили какие-то деньги, которые я просаживал в бильярд без остатка. Азарт и тут налицо.

Артисты и актрисы были всякие. Одни старались развратить, другие удержать. Режиссер Николай Васильевич Зорин иногда давал мне зуботычину за оплошности: так однажды он должен был стреляться на сцене – самый трагический момент, нажал курок, а выстрела то и нет; мое ружье дало осечку, за что без осечки я получил по зубам.

Особенно по-отечески относились ко мне комик Павел Петрович Студитский и его жена, «комическая старуха» (это амплуа) Зинаида Петровна Клавдия-Ленская. Старики уговаривали меня учиться:

– Без школы тебе, Шлемка, дороги все закрыты.

Все пьесы, которые я вел как помреж, я знал наизусть, все роли, все реплики на выход актеров, на гром, который я изображал за кулисами, тряся листом фанеры. Такие раскаты получались, бабушка бы шторы стала задегивать и нас ставить на колени. Одно меня очень смущало и настораживало. Богохульство в текстах пьес (современных, конечно) и изображение на сцене Таинств. Этого моя душа не принимала, и это останавливало меня при решении в дальнейшем: кем быть?

Отец Андрей уехал из Мурома, поселившись в Киржаче, уйдя в подполье. Леночка, окончив ссылку, вернулась в Москву. Мы в Муроме остались в доме Е. Васюжиной в передней половине, в задней поселились дивеевские сестры, которые целыми днями стегали ватные одеяла, чем и кормились.

Нашлись добрые души при переезде с Напольной на Лакину, давшие нам со своих чердаков и сараев ненужную мебель. Теперь у нас появились нормальные кровати, столы, шкафы и шкафчики, этажерки, стулья и даже кресло. Появились и книги, тоже с чердаков добрых душ. Среди них я разыскал огромную толстую книгу с золотым тиснением «Мать и дитя» (автор – профессор Жук). Я уже

к тому времени был образован улицей о происхождении жизни на земле, но не по-научному, вульгарно и примитивно. В этой толстой книге с картинками я черпал познания научные со всеми вопросами половой жизни, зачатия, развития плода и т.п. Эти познания расширяли мой кругозор и обостряли интерес к начальной точке зарождения жизни.

В Муроме было огромное количество древнейших храмов, ведающих свое летоисчисление от начала Муромского княжества. Храмы были красоты необычайной, большие и маленькие, шатровые и многоглавые. Муром с Оки красовался ими, как сказочный град Китеж. Задолго радио и газеты «Приокская правда» и «Муромский рабочий» объявили о беспроигрышной лотерее, билеты которой будут выдаваться каждому, кто придет в такой-то день и в такой-то час с ломачами, лопатами, кирками и мотыгами на центральную площадь города, к памятнику Ильича, призывно задравшего свою длань в небо. В ночь под этот день город сотрясали мощные взрывы, дрожали стекла в домах, крестились люди, испуганные грохотом. Наутро храмов не было. Они лежали в грудях битого кирпича и белых камней. С бодрой песней интернационала в сопровождении духовых оркестров, ревуших: «Весь мир ... разрушим до основания ..., мы свой, мы новый!», двинулась могучая рать русских баб и мужиков, предварительно получивших лотерейные билетки, специально выпущенные к этому торжеству, к этому пиру — растаскивать, разгребать, грузить на крестьянские телеги былую славу, гордость и величие духа своей страны. Кирпичом мостили улицы, развозя его телегами по городу. По беспроигрышной лотерее, разыгранной после того, когда храмы были сравнены с землей, участники сей варварской вакханалии несли домой: кто — хрюкающего поросенка, кто — петуха, кто — курицу.

В какой стране это было бы возможно совершить? Нет такой страны, в которой за курицу, за петуха и поросенка народ дал бы или стал бы взрывать свою вековую культуру. Назовите мне эту страну!

А почему не Максим Горький? Сей русский пролетарский писатель мог бы возвысить свой мощный голос буреветника! Где же он? В гагару превратился, так его бедного скрутили жиды? Чуть все это. Великий писатель земли Русской, приехав на Соловки, не увидел опоганенной святыни, ему на нее было наплевать. Не увидел он

штабеля трупов, покрытые брезентом, хоть ему на них пальцем указали. Что ж он увидел? Как прекрасно, как умело перековыва-ют чекисты уголовников, делая из них строителей «светлого завтра»! Они, правда, не перековывали, а перемалывали человеческие массы, и не уголовные, а несущие в себе светлый дух уничтожае-мой России. С 1923 по 1939 год эта мельница трудилась в поте ли-ца своего, и перековывала она не блатных, а Русь, кузнецы-то бы-ли русские «умельцы». Я прошел через весь строй сталинской пере-ковки, на манер Соловецкой кузницы и более изощренной. Опыт фашистских тюрем гестапо был скопирован и дополнен русским варварством. Я видел евреев в зоне. Я не видел их ни в образе вер-тухаев, этих «сявок», жестоких и жадных мародеров, их я не видел среди «гражданов начальников» всех рангов и званий – палачей. Я не сподобился быть избитым евреем на Лубянке. Били, издева-лись, сторожили, шмонали, убивали и расстреливали в основной своей массе, а имя ей «легион», русские и украинцы. Может быть это так хорошо и искусно они гримировались, гумозом превращая свои еврейские носы в «нос-картошкой». Могут ли миллионы ев-реев превратить 250-миллионный народ в послушное безмолвное быдло? По чьему-то велению и по чьему-то хотению развалить сельское хозяйство, разграбить богатейшую страну, уничтожить вековую ее культуру, гноить в лагерях миллионы и уничтожить 60 миллионов человеческих жизней. Ответьте мне: могут? Наша па-мять это должна помнить!

Я помню, как взрывали муромские древние храмы и как тащи-ли горожане со слезами радости в глазах петухов, кур, поросят, гу-сей и уток. За 30 серебряников предал Иуда своего Учителя, да еще предательски поцеловал. А в Муроме за петуха!

Наконец всенародному старосте М. И. Калинину пришло вре-мя вспомнить маленький давным-давно забытый им эпизод из своей дореволюционной жизни. Ему об этом напомнило мамино письмо, чудом до него дошедшее. А мама вспомнила рассказ сво-его отца, как в бытность свою министром внутренних дел он полу-чил телеграмму от некого Михаила Ивановича Калинина, ссыль-ного за что-то революционное, с жалобой на местную власть, не отпускающую его на похороны своей матери. Министр Хвостов немедленно дал распоряжение: «Отпустить!»



Это и был он, всесоюзный староста. Мама написала ему суть своего дела и тактично напомнила ему этот случай и что она дочь того самого, кто сердечно отнесся к его просьбе. В ответ на это М. И. Калинин соизволил вникнуть в суть дела, и с мамы ссылка была снята. Но мы оставались в Муроме, искать новый город не было смысла; Симка учился на круглые пятерки, мама работала медфельдшером на двух работах, я перестал шпанить и вроде как чем-то увлекся. Самое страшное было позади.

В Киржаче полулегально обосновался Архимандрит Серафим Даниловский, духовный отец мамы. Владыка в Меленках был посажен. Как-то мама уговорила меня поехать в Киржач к батюшке, ехать надо было через Москву. Приехав в Москву, я остановился у Леночки с Ясенькой, ее сестрой, часто бывавшей у нас в Муроме, когда мы жили вместе. Через них я встретился с человеком, с которым и поехал в Киржач. Отец Серафим знал меня по Дивееву, где он бывал, и встретил меня очень ласково. В это самое время, случайно, у него был его духовный сын Николай Сергеевич Романовский. Были и еще люди.

Батюшка служил всенощную, после нее и чая меня положили в маленьком чулане на стол, Николая Сергеевича на раскладушку, тут же незаметно мы разговорились. Он знал все ходившие про меня и мою бурную жизнь рассказы, они весьма нелестны. В эту, решившую всю мою жизнь до сего дня, ночь, я незаметно для себя распахнул перед ним всю свою душу, не шпанскую, не актерскую, а ту, что жила во мне своей самостоятельной жизнью, и грязь внешней жизни ее как бы не коснулась.

Коленька (я буду дальше звать его так, как звал до его смерти на моих руках) был поражен этой пропастью, разделяющей внешнее мое и внутреннее. Он увидел во мне что-то, что жило подспудно, неумершее, глубоко зарытое мной же.

На следующий день мы пошли в лес за грибами, там в лесу ночной разговор продолжался и Коленька сказал мне:

— Бросай свой театр, иди в школу, когда окончишь ее, я возьму тебя к себе в Москву, пойдешь учиться дальше, куда захочешь.

Вся дальнейшая судьба моя и жизнь, тюрьма и лагерь, ссылка и возвращение, по сей день, решила этой ночью и этой случайной встречей, на что я могу сказать: МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ снова

были открыты, и милость Божия не оставила меня! Мне даже страшно сейчас сознавать, что эту милость над собой я ощущаю постоянно, во вся дни жизни моей, а сам ... и по сию пору в бездне греховной валяюсь! «Душе моя, душе моя восстани, что спишь, конец приближается, имаша смутитися». Как грех парализует душу. О, я это знаю, «...от юности моя мнози борят мя страсти, но Сам Мя заступи, и спасе, Спасе мой!»

На этом была перевернута еще одна страница моей жизни, и рука Божия перевернула ее.

Хоть я и вернулся в Муром, и прожил там еще два года, но передо мною открывалась дорога. Тогда я еще не знал, какая она, но сейчас, пройдя почти весь путь, я могу сказать: Слава Богу за эту дорогу! Иной я бы не хотел! Кроме грехов и впереди ждущих меня падений, но и в них сколько было Милосердия Дверей!

Мог ли я предполагать, что моя поездка в Киржач в корне изменит всю мою жизнь! Случайно встреченный мною человек, как стрелочник, перевел мой паровоз на другие рельсы. Кто же он — этот добрый стрелочник? Как свела меня с ним судьба, я рассказал, но мало ли кого и с кем она сводит. В жизни масса всевозможных встреч, в сущности, вся наша жизнь состоит из встреч и общения человека с человеком. Бессмысленных и ненужных встреч не существует вообще, я в этом глубоко убежден. В жизни человека, как в жизни всего окружающего нас мира, все накрепко сцеплено в единый целостный механизм, живущий единым законом и подчиненный высшему разуму, его создавшему. Если бы мы обладали не пятью чувствами, оставленными нам для жизни в этом трехмерном мире, а теми многими, с которыми были созданы, то мир, окружающий нас, открылся бы нам совсем иным. Тогда не нужно было бы открывать законы природы, и сама природа и мир не были бы для нас тайной. А пока тайну бытия возможно ощутить только сердцем. Сердцем, в котором живут Вера, Надежда и Любовь. Сердце, закрытое Вере, живет в скудном трехмерном пространстве, и вся человеческая жизнь для него состоит из непрерывной цепи случайностей. Такой человек, обворовавший сам себя, обрезавший сам себе крылья, существует, а не живет. Он существует только ради себя и для себя. Его интересует только то, что нужно и выгодно ему для его же благополучия. Чужая человеческая жизнь

его не волнует и мало трогает. Он с легкостью может перешагнуть через нее, а при надобности растоптать. Живущие духом — духом и ходят. Материальная жизнь отличается от духовной в первую очередь своим эгоизмом. Сердцем человека, живущего духом, руководит любовь, не плотская, а потому всегда эгоистическая, а высшая и потому жертвенная. Вот такого-то человека я неслучайно встретил на своем пути. Он разделил со мной свой хлеб и кров, и бесценное богатство своей души.

Коленька! Николай Сергеевич Романовский, прошедший красной нитью через всю мою жизнь, был старше меня на пятнадцать лет. Его отец был сыном московского протоиерея, по образованию юрист. Коленька был единственным сыном. Мать его звали Ольгой Петровной. Коленька окончил консерваторию и был прекрасным пианистом, с большим будущим, сулившим ему славу и известность, но случилось неожиданное: вывих локтевого нерва. Операции самых крупных специалистов оказались безуспешными. Играть он мог только для себя, ни о каких концертах речи не могло и быть. Карьера сломана. Тогда он поступил на филологический факультет в Московский университет и к моменту нашего знакомства свободно владел английским, французским, итальянским, польским и норвежским, а переводил с двадцати языков. Большой знаток музыки, языков, он занимался переводами в основном технических изданий, работая в ГНБ (государственная научная библиотека). Он был холост, жил в Москве со старенькой матерью, родившей его в позднем возрасте. По словам Коленьки, отец его ни во что не верил, мать же была глубоко верующей. Сам же Коленька к вере пришел через своего друга Вавы Авдеева — крупного египтолога, приведшего его на Маросейку к о. Алексею Мечеву. Отсюда начинается его духовная жизнь. В самом начале тридцатых годов его арестовывают в Белгороде, куда он ездил к о. Серафиму; в тюрьме он дает обет, в случае освобождения принять монашество. Неожиданно его освобождают. Коленька тут же выполняет свой обет, продолжая в миру жить, но по другим законам. Таких после революции было очень много, «тайных». Вся его жизнь, а впоследствии и моя, была связана с катакомбами. Единый дух и единые цели объединяют многих, Коленька и мама жили этим духом. Он о ней много слышал, слышал и о ее детях,

в основном, обо мне, как о погибающей душе. Провиденциальная наша встреча в Киржаче стала рукой, вытянувшей меня из другой бездны и поставившей на твердую почву.

Из Киржача я вместе с Коленькой вернулся в Москву, был представлен Ольге Петровне, принявшей меня очень сердечно. Несколько дней я пожил у них. Мы много говорили, много ходили по Москве. Коленька купил мне красивую рубашку, белую, шелковистую, с зеленой полоской, которую я очень любил и которую вскоре стащили, когда она сохла на дворе. Я возвращался в Муром полный надежд и радости. Я все подробно рассказал маме, и мы радовались вместе. Я ушел из театра и осенью поступил в школу взрослых, меня приняли в шестой класс.

Рассказывать о Коленьке и его роли в моей жизни очень трудно. Невозможно рассказать о воде, которую ты пил всю свою жизнь, или о хлебе, которым ты питался. Как вода утоляет жажду, а хлеб — голод, так в течение многих лет душа моя росла и формировалась под воздействием на нее Коленькиных флюидов. Его мысли, взгляды на окружающий нас мир, точка зрения, многоплановое и всеобъемлющее его отношение к людям, к вере, к политике входили в мою душу постепенно и ненавязчиво.

Я жил, я оказался в созвучной мне духовной атмосфере человека, не угнетающего мою индивидуальность, а развивающего ее. Мир его души мне был понятен и близок, так как с раннего детства во мне был заложен фундамент из тех же камней. Муромский период не смог его разрушить. Одни шрамы, полученные мною от первого моего соприкосновения с реальной жизнью, исчезли бесследно, другие остались, ибо дал мне Бог ангела сатанина в плоть мою, которого сам победить в себе я бессилён. Высочайшая заслуга Коленьки в том, что он научил меня бороться и не культивировать темные стороны греха, а падая, вставать всеми силами.

Встающего Бог подымает, говорил он. Падать легко, удержаться трудней, а чтобы встать, нужны силы и помощь, приходящая всегда к призывающему ее. Вся наша жизнь — это ванька-встанька! В те годы Коленька дал мне кров, одежду и пищу, но самое главное — он наполнял меня пищей духовной, без которой душа жить не может, а чахнет, хиреет и, в конце концов, жизнь плоти превалирует над жизнью духа.

Это была живая и сильная своим примером школа мудрости, в основе которой лежала вера и ее главенствующее значение в жизни духа над телом. Это была школа, в которой я на множестве примеров видел силу добра и победу ее над силами зла, в которой я понял:

что лучше, как это нетрудно, простить сто раз, чем единожды отомстить;

что пренебречь обидой, как это неунизительно, спокойней, чем держать ее на сердце;

что душевный мир ценней и богаче всякой ссоры, всякой вражды и ненависти;

что материальные блага, деньги, слава — ничтожны по сравнению с вечностью;

что лучше отдать, чем взять, ибо рука дающего не оскудеет;

что терпенье рождает мужество, а неприязнь побеждается терпением;

что смысл нашей жизни в том и состоит, чтобы сеять мир, а не вражду, любовь, а не ненависть; гасить огонь, а не разжигать его.

Это была школа, открывающая предо мною величие духа и ничтожность греха. Силу добра, которая гасит пламя зла и ненависти.

Такой был Коленька, и вся его школа была его личный пример, его жизнь, в которой слова не расходились с делом, а дела соответствовали словам. Все, что я видел и слышал на протяжении многих лет, было созвучно тем камням, что были заложены с детства в основу будущего здания, и Коленька, волей Божией, продолжал класть в него свои кирпичи. Это, отнюдь, не значит, что страсти не бороли мою душу, что житейская грязь не топилла меня в своем болоте, зло и ненависть не кипели в моем сердце; что блага мира мне были чужды, и что мир вселился в мою душу и не покидает ее; что отдаю без сожаления, что не осуждаю, не лгу, и красота женского тела не влечет меня. Нет, все эти грехи не оскудели во мне, к великому моему стыду, но Коленька научил меня **ВСТАВАТЬ!** «Человек перестает грешить, когда грех ему омерзает, — говорил Коленька, — а до тех пор, **ПАДАЯ, СМОТРИ ВВЕРХ!**»

Кому много дано, с того много спросится. Столько, сколько мне было дано, мало кому давалось. Душе моя, душе моя восстань, что спиши, конец приближается имаша смутитесь.

Еще в Муроме, когда мама приходила в отчаянье от моих падений, я убеждал ее, что я тот самый разбойник «благоразумный», который, будучи распят за злодеяния свои, вместе со Спасителем, во едином часе покаялся и первым вошел в рай. На что мама резонно отвечала:

— Это еще надо заслужить, разбойников-то было два, а покаялся один. А покаялся он потому, что душа его не умерла окончательно, и совесть сознавала грех.

Вот это сознание своей вины развивала во мне с детства мама и всячески Коленька, когда говорил, что упав, спешу встать. Вставание возможно только при наличии раскаяния, а смотреть вверх — мольба о прощении и помощи. Оценивая сейчас всю свою прожитую жизнь, и сколько милости, добра и помощи Божией было мне оказано, я прихожу в ужас, в каком неоплаченном долгу я нахожусь, как тот евангельский раб, который был должен тьму талантов Господину своему, и которого Он простил в надежде на исправление, которого у меня нет. Остается единственная надежда на помилование, а для этого необходимо самому быть милосердным, не душить того, кто должен мне один талант, простить обижающих, молиться за ненавидящих, благословлять гонящих. Обрести душевный покой возможно только тогда, когда человек найдет в себе силы всем и все простить и самому быть прощенным.

Прошу простить меня всех, кого обидел, к кому был несправедлив, кого соблазнил, кого научил греху, обманул, у кого украл, кого оклеветал, осудил, кому принес горе изменой и всякой неправдой.

Я прошу прощения и у Коленьки еще и еще раз за то, что и к нему я был несправедлив и огорчал его, и причинял ему боль. Двадцать пять лет у меня с ним была одна дорога, и Коленька, идя по ней, оставался всегда самим собой, всегда ровным, доброжелательным, добрым, уча меня своим примером и духовной мудростью своей большой души. В моей жизни он оставил неизгладимый след и пример истинных ценностей и добродетелей. Те кирпичи добра, которые он с любовью клал в мою душу, не смывала волна житейского моря, хотя они часто зарастали тиной, заносились илом, но они накрепко были сцементированы с камнями, заложенными в детстве. Волны откатывались для того, чтобы с новой

силой обрушиться, а я гнулся до земли и, как говорил мне отец Николай Голубцов, — самое главное — не сломаться. Та же мысль, что у Коленки: ВСТАТЬ, во что бы то ни стало ВСТАТЬ!

В то лето 1936 года я приехал в Москву и поселился за большим платяным шкафом в комнате Коленки в мезонине трехэтажного особняка по Яковлевскому переулку, дом 14, квартира 5. Мне было семнадцать лет. Жизненный опыт мой был невелик, а синяков много. Уезжая из Мурома, я хотел поступить в Москве в театральное училище. Я поделился с мамой своими идеями, на что мама, никогда не навязывающая нам свою волю, ответила:

— Смотри сам, тебе жить, тебе и решать. Мне кажется, что актером быть хорошо, но гениальным; быть же провинциальной клячей, интересно ли это? Хватит ли у тебя таланта на что-либо иное?!

Ее слова засели мне в уши. Вспоминая и имея перед собой опыт провинциальной закулисной жизни, полной зависти, интриг и необузданного секса, а кроме того, играй то, что заставят. Хошь не хошь — богохульствуй или играй пьяного попа, который утрированно изображает таинство венчания или крещения на сцене, — все это взвешивая, я напрочь отказался от своей идеи.

Последние годы я много рисовал и писал маслом, показывая тете Марусе, которая хвалила и учила меня.

Приехав в Москву, я стал просматривать объявления о приеме и наткнулся на Художественно-полиграфическое училище красочной печати, куда и подал документы и, сдав экзамены, поступил.

Я не стану здесь описывать годы учения, они у всех одинаковы, муторны и мало интересны. В те годы махровым цветом расцветал «культ его усатой личности», нас больше всего обучали «политически-грамотному» лобызанию «его», что для меня было омерзительно, поэтому я всеми силами отбрехивался от «школы коммунизма-комсомола», мотивируя свое невступление в него своим горячим желанием быть беспартийным коммунистом! Идеология тех лет предусмотрела такой статус для всего остального быдла, и это не расценивалось как преступление. Сама учеба меня как-то мало интересовала, за исключением рисования и живописи. Я, как все мои однокашники, влюблялся, страдал от любви и без нее, словом — жил так, как живут студенты в семнадцать своих

лет. Публика в массе своей была, по Коленькиной классификации, «мало почтенной или полу-почтенной».

У меня было огромное преимущество, что из училища я бежал домой, а не в общежитие, в мир совсем иной, в котором меня окружала публика «сверх-почтенная», о которой я и поведу свой рассказ. Из училища или из общежития, в котором я иногда бывал, по невероятной любви своей к некой Лене Ивановой, на которой мечтал жениться, о чем сообщил маме. Мама ответила мне телеграммой: «Приеду — выпорю!» Это было второе покушение на мой зад за всю мою жизнь. Вспомнив единственную порку крапивой и получив по телеграфу предупреждение о грозящей мне опасности, любить-то я продолжал, но не больше. Благо и Коленька, присвистнув, сказал:

— Сколько их у тебя будет впереди — и на всех жениться?

О, как он был прав! Он всегда и во всем был прав, поэтому его авторитет и был для меня непререкаем. Но сия удивительная черта моего характера сохранилась на всю жизнь: кого бы и сколько я не любил, я всегда хотел на той и жениться.

Итак, откуда бы я не прибежал домой, я летел туда с радостью и сразу окунался в иной мир, в другое измерение, в котором перед киотом горела лампада. Милая, всегда приветливая и добрая Ольга Петровна сидела в своем кресле или, облокотившись на подоконник, смотрела на кипящий город внизу. Со стен смотрели на нас во весь рост идущие от креста Иоанн Богослов с Божией Матерью, по слову Его — «Се мати твоя», в массивной золотой раме. Голова Спасителя в терновом венце, скорбный и всепрощающий лик которого призывал к всепрощению и любви. Большой красного дерева письменный стол с зеленым сукном и огромной настольной лампой на нем, в виде фарфоровой вазы с бронзовыми ручками и росписью по фарфору, с большим красным абажуром, разливающим свой мягкий, теплый свет по всей большой комнате, переливающейся в изразцах кафельной печи, жарко горящей. Книги по стенам, книги на письменном столе, в порядке стоящие и лежащие. Большой обеденный стол под скатертью и с разными ореховыми стульями вокруг него. Абажур над ним, еще не зажженный. Киот, полный сверкающими ризами икон, освещенных лампадой. Под киотом, за двумя дверками красного дерева, в кожаных



переплетях с тиснениями на них большие массивные триоди, октоихи и осьмигласники, часослов и молитвенники. Все дышит покоем и несказанным миром.

Вот послышался скрип деревянных ступенек винтовой лестницы, ведущей к нам в мезонин из общей квартиры, по ним, не спеша, немножко грузно поднимается Коленька. Вот он входит в дверь, в руках у него какие-то свертки, пакетики и всегда набитый до отказа портфель. Я иду на помощь:

— А ... Ты уже дома? Мамочка, как ты себя чувствуешь?

Он целует ее и весело объявляет:

— Мамочка, а у нас сегодня «бомонд»!

— Кто, кто, — не расслышав, переспрашивает Ольга Петровна.

— Б-О-М-О-Н-Д.

— Да я слышала, что бомонд, а кто?

— Маргарита Анатольевна и Валентина Тимофеевна.

Мамочка улыбается от удовольствия, мелкими шажками, придерживаясь за стулья, идет к столу. Коленька зажигает лампу над ним и мы вместе, а я еще с любопытством, сую нос во все пакеты и пакетики.

— Ты уже всюду запустил свои глазнапы? Давай-ка тарелки и укладывай!

О! Какой окорочок! О! Рокфор! Белужка! И... Языковая колбаса! Трюфеля! Пир горой!

— А ты возьми из портфеля бутылочку мадеры!

— Вот это да!

— Ты не давай Алеше мадеры, ему еще рано.

Коленька посмотрел на меня и, увидев мои глаза «страдающей газели», как он окрестил мой взгляд, полный скорби, когда от безнадёжной любви, теперь от мадеры — запретного плода, вынес решение:

— Мамочка, одну рюмочку, ради бомонда!

Ольга Петровна хочет что-то возразить.

— Да ты посмотри на его глазнапы.

Я с еще большим призывом к милосердию обращаю свой взор на Ольгу Петровну. Она, смеясь, машет рукой и говорит:

— Он прекрасный артист, и перед его скорбью я бессильна.

Ура! Рюмочка мадеры — это такая милость...

Входит тетя Саша и в руках у нее дымящийся обед.

– Теть Саш, теть Саш, что сегодня на обед?

– С-я-с-и-с-ь-к-и!

Тетя Саша, мощная, толстая, радушная тетя Саша. Крестьянская девочка из-под Тулы, всю свою жизнь прослужившая в Москве в кухарках. Она живет ниже этажом, убирает комнату, стирает и готовит нам обед, а ее племянник Ванек приносит дрова и затапливает кафельную печь.

Ароматные вкуснейшие сосиски конца 30-х годов ничего не имеют общего с сосисками 80-х. Из чего их сейчас делают, можно только предполагать. Осталось название и внешний вид! На столе коронный обед Сашеньки – «сясиськи с пюре»! С тех пор сохранилась моя любовь к пюре и память о настоящих сосисках.

Наступает вечер. Стол накрыт, парадно выглядит на нем бутылочка мадеры и три небольших хрустальных бокальчика. Коленька за письменным столом, я в ожидании. Уроки наспех сделаны в моей «комнате» за огромным шкафом, где стоит моя кровать, столик и лампа на нем.

Заскрипели ступеньки в винтовом своем движении. По их скрипу это не Нюрка Халява, не тетя Груша, не Володя и уж, конечно, не трехлетний Алешка. На мезонине, рядом с нашей большой комнатой в 23 кв. метра, есть еще комната, в которой живут все перечисленные мною соседи. Живут они на восьми метрах вчетвером. «Все для блага народа!» А ступеньки скрипят к нам. Открывается дверь и в дверях Маргарита Анатольевна. Пока часть бомонда еще в пути, я расскажу вам кое-что о старинном друге Коленьки – Маргарите Анатольевне Тыминской.

Рассказ я свой начну с Коленькиного определения «интеллигентной прослойки» по сталинской квалификации. Недорезанные буржуи, коих так успешно дорезал Сталин с... и... Но! Маргарита Анатольевна была не дорезана, а оставлена пока про запас, как многие в то время! Отец ее, Ананьев, – армянин миллионер, мать – итальянка. Муж ее, поляк, погиб в революцию, оставив после себя сына Жоржа, который был единственной надеждой матери, ее обожаемым Жоржем! Вся ее нищенская жизнь была ради него и для него. Она спокойно потеряла все, как и подобает сильным духом. Сила духа ее была огромна, и вы это сами увидите. Владея

многими языками, Маргарита Анатольевна зарабатывала переводами, которые ей добывал Коленька, вместе с ним сидела и корпела над ними в ГНБ (государственная научная библиотека). В тот вечер, когда она входила к нам, сын ее Жорж уже года полтора сидел в лагере на севере за «язык». Вся жизнь ее заключалась в посылках и редких поездках на свидания. Свой крест несла она безропотно, так как вера ее была совершенна, а мужество безгранично. Забегая вперед на много лет, в подтверждение моих слов расскажу дальше. Перед самой войной 1941 года Жоржа наконец освободили. Радости и счастья не было границ. Наконец Жорж дома! Жорж очень быстро женился и столь же быстро родил сына. Грянула война. С первых дней Жоржа забирают в армию и на фронт. Снова тревоги, волнения, ожидания писем. Где он, что с ним? Провожая его на фронт, Маргарита Анатольевна повесила ему на шею крестик, которым благословила его. Письма, как радость, как надежда, ждались, прочитывались, минутное облегчение, тревожный взгляд на штемпель и снова тоскует материнское сердце и молится, молится. Так прошел год, пошел второй. Москва во мраке, Москва в голоде. Немец на Украине, немец под Сталинградом. Писем нет. В те годы я очень душевно сблизился с Маргаритой Анатольевной и с ее сестрой Марией Анатольевной, я даже прожил у них на квартире зиму 42 года, Коленька был на фронте. Маргарита Анатольевна темнее ночи. Она работает в каком-то почтовом ящике, когда приходит вечером домой, ее первый вопрос: «Письмо?». Наконец оно пришло, но не в треугольничке, как фронтовое, а в конверте, а в нем, в нем — похоронка! Ваш сын, сержант Г. В. Тыминский, погиб в бою за станицу Буденовская, где и похоронен. С этой минуты вся цель ее жизни была сосредоточена на том, чтоб разыскать могилу Жоржа. Как только те места на Кубани были полностью освобождены, с первым поездом она отправилась на розыски. Провожая ее на поезд, я взял с собой маленькую иконочку преподобного Серафима, написанную в Дивееве на дощечке от его кельи. С этой иконочкой мой папа всюду путешествовал. Отдавая ее Маргарите Анатольевне, я сказал ей, что это за образок и добавил:

— Пусть батюшка поможет Вам!

Она уехала. По приезде рассказала мне, что с ней было:

«Приехав в станицу, почти полностью сожженную, я увидела людей, ютящихся в землянках, полусгорелых домах и в редко уцелевших избах. Кругом братские могилы. Но в станице теплилась жизнь, сперва малозаметная. Начала я ходить из края в край, спрашивая и расспрашивая, не знает ли кто, не слышал ли кто. Все руками разводят, да на братские могилы показывают: «Рази найдешь тута. Бои вона были какие страшные. Несколько раз из рук в руки переходили. Рази найдешь тута шо». Переночевала у приютивших меня, горевали вместе. На следующий день снова хожу в надежде на милость Божию, так до темна. На следующий день решила возвращаться, вот пройду еще тут по обгорелым рядам улицы. Иду я, словно во сне ничего не вижу, в тумане каком-то и вспомнила я, что на мне образок твой Преподобного. И начала я кричать к нему: помоги, помоги, ты все можешь, помоги... и вдруг я в полусне каком-то чувствую, что наткнулась на что-то живое, открываю глаза и вижу перед собой женскую шею и грудь, на которой висит крестик моего Жоржа и цепочка та. Передо мной женщина с ведрами на коромысле. «Откуда на Вас этот крестик?» – спросила я. «Да солдатик у меня в дому помирал и перед смертью отдал, говорит материнский. Да он у меня на огороде похоронен. Своими руками хоронила. Да уж не ты ли его мать будешь? Пойдем, пойдем, милая, покажу». Так я нашла его могилку, а женщина эта мне все про его последние минуты рассказала. Мы с ней вместе крест временный поставили. На следующее лето вновь поеду и уж не искать, а прямо к нему на могилку.»

По чудесном обретении того, что казалось безнадежно и бесследно потерянным, вся жизнь Маргариты Анатольевны как бы преобразилась. Далеко на кубанской земле, не в братских могилах неизвестных солдат покоился ее любимый Жорж. Туда, в станицу, стремилась она, в тот садик, к той русской женщине, на руках которой скончался ее сын, к тому могильному холмику, заботливо оберегаемому ими обеими. Она постоянно собирала какие-то посылки с носильными вещами и продуктами, как знак глубокой благодарности своей к той, на груди которой увидела крестик своего сына. Покорность воле Божией, с которой она принимала все удары судьбы, беря их, как бы из рук Божиих, безропотно, как нечто посланное ей для испытания ее веры. Если в Дивееве, с детских

лет слушая рассказы о страданиях Иова и о покорности его воле Божией, выраженных в словах «Бог дал, Бог взял», я не мог с такой силой увидеть и осознать их в те детские годы, теперь же на великом множестве примеров я понял их, как величайшую мудрость и силу, дающую человеку возможность мужественно и безропотно нести свой жизненный крест, как нес его Спаситель. «ГОСПОДЬ КРЕПОСТЬ МОЯ И СИЛА МОЯ И БЫСТЬ МНЕ ВО СПАСЕНИЕ». Без этой крепости и силы человек бессилен.

Я еще вернусь к рассказу о Маргарите Анатольевне, так как снова закрипели ступеньки, и в дверях показалась Валентина Тимофеевна. Бомонд в полном составе на этот вечер и все «недорезанные» в сборе! Спустя несколько лет подобные гости и встречи с друзьями тут ли, на Яковлевском, или в других домах, следовательно на Лубянке будут квалифицироваться как: «Сборище антисоветской подпольной организации, ставившей своей целью свержение советской власти и восстановление монархии в стране!» Из меня те же следователи состряпают «террориста», готовящего покушение на Сталина. А пока, эти милые, добрые друзья, не ставящие себе никаких целей, не собирающиеся никого свергать, тем паче убивать, мирно беседуют, смеются, шутят и острят, пригубливая из бокальчиков мадеру.

Разговоры всегда были настолько интересными, что я, затаив дыхание, слушал их целый вечер. Они несли в себе глубочайшие знания затронутых тем, будь то религия, музыка, искусство. Даже самые, кажется, обыденные вещи, говорились без осуждения, без стирки грязного белья, без перемывания чьих бы то ни было костей. Говорили и о политике, как ее миновать, особенно в те ужасные годы. Все сидящие за столом знают языки, все по своей работе читают иностранные журналы, правда, технические, но в них всегда печатались основные политические события в мире и их обзоры. Один читал то, другой это. Шел 1937 год. Ежовые рукавицы сжимают горло контрреволюционной гидре. Уже расстреляны Тухачевский и иже с ним, им же несть числа. Идут процессы за процессами. За убитого им же Кирова — миллионы в ответе. Радек, Бухарин, Рыков и вслед им «презренные троцкисты», им же несть числа. Раздавить гадину! Смерть ублюдкам! М. Горький отравлен. Убийц к стенке! Воля народа! По ночам стуки в двери. Аресты,

обыски, черные вороны увозят свои жертвы. У многих приготовлены узелки с бельем и сухари, на всякий случай. Все сильнее сжимается у горла русского народа петля. Вешателей и палачей в избытке. Жажда крови, жажда власти. На кровавой волне, на ее гребне Отец родной в своих объятиях ласково обнимает девочку — Он друг детей! Он наше солнце! Смерть врагам народа! Смерть, смерть, смерть! Если БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, то обожествленная ненависть сеяла СМЕРТЬ! Зло совершало свой кровавый пир, меч был занесен над всей страной, над каждым. Кто сегодня, кто завтра. Сексоты и стукачи всех мастей, шкурники и подхалимы, палачи и убийцы покорно и добросовестно выполняли и перевыполняли поставленные партией, во главе с мудрым, любимым и обожаемым отцом родным, цели: строительство бесклассового социалистического общества и грядущего вслед светлого коммунизма, во имя которого и на благо которого трудились в поте лица своего: «сам» и его соратники, верные ленинцы Ягода и Ежов, Берия и Молотов, Каганович и Микоян, Калинин и Сулов, Хрущев, Маленков, Ворошилов, Андреев и многие-многие сотни тысяч беспринципных подонков, топя друг друга, сажая своих братьев, отцов и матерей, своих жен и детей, выплывая на мутных волнах беззакония, чтобы свести счеты с неугодными им, и самим быть потопленными той же волной. Предательство возводится на пьедестал почета! Дети предают своих родителей, жены — мужей. Славный комсомол в авангарде. Школа коммунизма становится школой палачей, лучшие ее сыны не сеют, не пашут, в руках у них карающий меч беззакония, который они предпочли плугу и молоту. Кто не с нами, тот наш враг! Ваша радость — наша радость! Многая лета, многая лета! Чему? И кому? Идут этапы, расстреливают в подвалах, сваливают в рвы, бороздя бульдозерами тела и землю! Епископы и священники, атеисты и верующие, старые большевики, великие ученые — цвет ума и таланта! Кто не с нами, тот наш враг! Врагом становится народ! Безмолвный, пассивный, искалеченный умом, обобранный до нитки, рабски униженный, затравленный Русский народ!

**МНЕ ОТМЩЕНИЕ И АЗ ВОЗДАМ! ВЗЯВШИЙ МЕЧ ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ!**

Уничтожены те, кто уничтожал, и те, кто сейчас уничтожает,

будут уничтожены сами. Сегодня свирепствует Ежов — славный ленинец, верный соратник Великого Сталина, корифей всех времен и всех народов, лучшего друга народов.

Завтра его же «ежовыми рукавицами» придушат и его самого, по приказу «самого». А вместе с ним заодно и тысячи исполнителей пойдут этапами в рвы, ими же выкопанные. Бич Божий карает Русский народ за святотатство, за поруганную веру отцов, за взорванные храмы, за невинную кровь.

Недаром говорится, что если Бог наказывает, то Он отнимает разум. Разве не отнят разум? Разве не безумие все, что делалось и что делается до сих пор в нашей стране! Ложь, ложь и еще раз ложь, что все преступления против народа — дело рук одной личности. Этим самым «руководящая и направляющая сила», именуемая себя Коммунистической партией, хочет уйти от ответственности и, как Пилат, умыть руки свои и сказать: «Неповинны мы в крови!» Повинны! И суд истории вынесет ей свой приговор.

1937 — 1939, смыкаются воедино две силы всемирного зла, фашизм и коммунизм, чтоб властвовать миром. Идеологии их разные, но цели едины и методы тоже! Проклиная друг друга, эти две сатанинские силы соединяются в братском союзе и по-братски делят мир. Это — твое, это — мое! Ты — тут, я — там, мы вместе будем уничтожать свободу, добро и радость жизни. Тут гений Сталин, там великий Фюрер, эти два ублюдка, два сгустка зла в объятиях друг друга, развязывают новую бойню «во имя светлого будущего всего человечества». Как просто любить все человечество и презирать человека. Как заманчиво любить негра в Африке или китайца в Китае, уничтожая своего брата, превращая его в рабочий скот, в подопытного кролика, оглушая его идеологиями, загаживая мозги счастьем будущего поколения, во имя которого он теперь, сейчас должен умирать, или быть лишенным элементарных прав, хлеба, жилища и средств к жизни. Это ли не чудовищно, а ведь это идеология не личности, а программа всей партии, от которой она не отказывается и по сию пору, ставя во главу угла свои интересы, а не интересы народа, «во имя которого и ради которого» она существует. Если бы не экономический крах, не полнейший провал всей системы и самих великих учений Маркса, Ленина, Сталина, то она бы победоносно шествовала от победы к победе под мудрым

руководством какого-нибудь верного продолжателя. А народ? Он или требовал бы: «Распни, распни его!» — или во всю свою глотку орал: «Ура!».

Идет 1937 год, мы любим весь мир и все человечество: негров, китайцев, эфиопов, арабов, индусов, а своих душим «ежовыми рукавицами» — пока не пришел конец самому Ежову! Свято место пусто не бывает. Берия примет эстафету уничтожения!

Коленька в ГНБ, я в училище, Ольга Петровна в кресле. Телеграмма из Мурома. «Мама заболела, приезжай. Серафим». Заболела! Как знакомо это слово. Каждый Божий день «заболевают» тысячи. В те годы «заболел» или «заболела» значило — посажен! Мама посажена! Вот о чем сообщил Серафим из Мурома. Пришел я, пришел Коленька. Прочитали. Мама посажена! Надо ехать, искать, передать необходимое в тюрьму. Где она? Вечером на поезд, утром на Лакина, 43. Поздняя осень. Серафим напуган, он в десятом, его жизненный опыт не так разнообразен, как мой. Средств нет, чем и как жить?! Первым делом я направляюсь в ОГПУ. Омерзительно, но необходимо. Те же жесткие, колючие, сверлящие глаза. На мой вопрос: «Где?» — следует грубое — «У нас ее нет!» Где? В Горьком. Ночь в Муроме. Бабушка, тетя Наташа, тетя Маруся, наша дивеевская Анюта. Все молчаливо напуганы.

— Что ты думаешь делать?

— Ехать в Горький.

— Вот тебе адрес. Это наши и твои тоже дальние родственники, у них останись. Они помогут.

Все по очереди перекрестили меня. В путь!

На следующий день — Горький. Тут родился и рос великий певец великой революции. Между тучами и морем грозно реет буревестник, черной молнии подобен! Черная молния — сколько в ней зла, а не поэзии, сколько разрушительной силы, вот когда надо зажигать страстные свечи у икон и читать акафисты «Неопалимой купине».

Только бы найти! Найти и передать вот этот узел с теплыми вещами. Уже идет снег. Зима скоро. Разыскав своих дальних тетушек, напившись с дороги крепкого чая, узнав дорогу к Горьковскому централу, я двинулся в путь.

О! Боже! Народу тьма. На белом, только что выпавшем снегу, черная, распластанная по нему, как зловещие крылья буревестника,



зигзагообразно, черной молнии подобно, — очередь. Покорно, безмолвно, скорбящий народ с узлами в руках медленно движется к цели. Узнать, а коль тут, то и передать. Я встал в хвост. Часто, смотря на бесконечную, такую же черную, так же медленно движущуюся очередь, в траурном молчании идущую на поклонение восковой кукле, принесшей России столько страдания, я вспоминаю ту, мою первую очередь в тюрьму. А потом такие же черные, бесконечной вереницей идущие этапы. Тогда, заняв свою первую очередь, я не знал, когда придет мой черед; пока пришел мамин. К вечеру я у окошечка. Торопливо-лающе, словно тявка через окошечко, вертухай: «Фамилия... Имя... Отчество?» Списки, списки по алфавиту. Лист за листом. Водит пальцем. Сердце стучит. Тут иль не тут, тут иль не тут! Т-У-Т! Как ни парадоксально — Слава Богу! Тут! Узел в окно. Записку можно? Нет!! Нашел! Передал! Мама догадается. Теплые вещи, наскоро собранная еда! Снова тетушки, милые сердечные — расспросы, как, что? Быстрая еда, вокзал, вагон, ночь, Москва. Пятница, суббота и воскресенье. Один день прогула — болел. И так я каждую субботу стал болеть. В пятницу поезд, суббота — Горький — тюрьма, очередь, передача, маленький отдых у тетушек, чай, вокзал, вагон, ночь, Москва! Восемь месяцев ожиданий. В один прекрасный день, действительно прекрасный, телеграмма: «Мама дома, приезжай!»

**МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ**, они вновь открылись, да они и не закрывались! Нет, они всегда открыты, и из них выходит милосердие в виде светлой, светлой как солнце Божией Матери, с протянутыми руками, а в них любовь и сострадание. **НАДЕЮЩИЕСЯ НА ТЯ ДА НЕ ПОГИБНЕМ!** Нет, не погибнем!

**ТЫ БО ЕСИ СПАСЕНИЕ РОДА ХРИСТИАНСКОГО!**

Я снова в Муроме. Мама худа, слаба, но наполнена радостью. Вот ее рассказ. Часть своими словами, часть ее.

Последние несколько лет мама перешла на работу в тубдиспансер, при нем палаты, в основном умирающих — открытая форма. Ее дежурства ночные. Она и старушка санитарка. Ночь, через ночь. Сегодня умирает один, завтра подходит черед другому. Разный народ, но все обреченные. Смерть у каждого своя. Смерть туберкулезника мучительна длительностью смертного часа, агональное состояние может длиться часами при полном сознании умирающего.

По-разному умирает человек, одна смерть у безбожника, другая у верующего, хоть и та, и эта тяжка, как всякая смерть, но верующий принимает ее как необходимость, для перехода его души в вечную жизнь, к которой он готовился всей своей жизнью. Поэтому он умирает примиренным со своей совестью и с людьми. Он жил и умирает с верой и потому смерть принимает с кротостью, надеждой и упованием на милость Божию. Иная смерть человека, жившего без веры, без надежды и любви. Он расстается с жизнью навсегда, ибо для него вечной жизни не существует. Он до последней минуты цепляется за жизнь, боясь смерти. Ни совесть его, ни душа не имеют в себе мира, поэтому смерть для него страшна. Не веря в загробную жизнь, подходя к черте, душа его ощущает иной мир как нечто страшное, и она права, ибо «смерть грешника люта». Еще тяжелей умирает человек, на совести которого лежат человеческие судьбы и жизни, и всю свою жизнь он заглушал в себе людские стоны, мольбы и кровь неповинную, им пролитую, смывать которую можно покаянием в сокрушенном сердце. Эта смерть ужасна и тут, и там. Добро и зло — это две энергии, вечно находящиеся в противоборстве друг с другом, от сотворения мира. Любовь и ненависть, вот две силы, которые человек волен в себе развивать. Ни одно доброе движение сердца, а так же и злое, не исчезают, а действуют, как энергии. Если научились записывать энцефалограммы, как биотоки мозга, кардиограммы, как энергию сердечных мышц, то может прийти время, когда запишут энергию добра, которая даст свою кривую, а энергия зла — свою. Душа человека непрерывно фиксирует и «наматывает на пленку» все добрые и злые движения сердца, так как оно является их носителем. «От доброго сердца — доброе, от злого — злое». Человеческая душа, как компьютер, несет в себе всю информацию доброй и злой энергии за всю жизнь данного человеческого сердца. «Дела ваши осудят вас», — сказал Спаситель.

Добро и зло не только скрытая энергия, но и энергия, движущая нашими поступками. «От доброго сердца — доброе. От злого — злое». Душевный наш компьютер, следовательно, записывая энергию, записывает результат деятельности энергии. Но записанную энергию зла, а следовательно, и злые поступки может стереть энергия раскаяния:

ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ, ЖИЗНОДАВЧЕ, УТ-  
РЕНЮЕТ БО ДУХ МОЙ КО ХРАМУ СВЯТОМУ ТВОЕМУ,  
ХРАМ НОСЯЙ ТЕЛЕСНЫЙ, ВЕСЬ ОСКВЕРНЕН; НО ЯКО  
ЩЕДР, ОЧИСТИ БЛАГОУТРОБНОЮ ТВОЕЮ МИЛОСТИЮ.  
НА СПАСЕНИЕ СТЕЗИ НАСТАВИ МЯ, БОГОРОДИЦЕ, СТУД-  
НЫМИ ОКАЯХ ДУШУ ГРЕХМИ И В ЛЕНОСТИ ВСЕ ЖИТИЕ  
МОЕ ИЖДИХ; НО ТВОИМИ МОЛИТВАМИ ИЗБАВИ МЯ ОТ  
ВСЯКИЯ НЕЧИСТОТЫ.

Вот что принес на землю Спаситель для того, чтоб вернуть нас к первоначальному образу, утраченному через грехопадения. Кроме искупительной жертвы на кресте, своей смертью и воскресением вернувший нам бессмертие. Он дал нам ТАИНСТВО ПОКАЯ-  
НИЯ, прибегая к которому человек стирает свою злую энергию, записанную «компьютером» его бессмертной души. Отсюда и смерти у каждого человека разные. «Благоразумный» разбойник в одно мгновение стер все грехи жизни своим раскаянием:

«ПОМЯНИ МЯ, ГОСПОДИ, ВО ЦАРСТВИИ СВОЕМ». «СЕ-  
ГОДНЯ ЖЕ БУДЕШИ СО МНОЮ В РАИ», — ответил ему Христос.

Человек — слабое существо, а потому, покаявшись, снова гре-  
шит. Важно не сломаться, а, падая, вставать, с искренним намере-  
нием больше не падать, а бороться со злом, его борющимся; не смог,  
не удержался, упал — вновь вставай, «ванька-встанька».

Для того я так отошел от диспансера и маминых ночных де-  
журств, чтобы рассказать о разных смертях человеческих, завися-  
щих от того, что душа умирающего записала за жизнь свою: сколько  
добра и сколько зла, стерто ли зло покаянием, или нет. Мама,  
прекрасно понимая тяжесть смерти и состояние нераскаянной ду-  
ши, стремилась подтолкнуть ее к покаянию. Так ночами в диспан-  
сер, тайно, под покровом ночи приходил в штатском батюшка, в  
ординаторской исповедовал и причащал того, кого мама тайно  
приводила к сознанию веры и покаянию. Я не знаю, сколько их  
было, но я знаю, что был один ни то бывший чекист, ни то комму-  
нист. Смерть не щадит никого. Но не за это посадили ее, хотя ес-  
ли бы узнали, то сгноили бы. Работала вместе с мамой молодая  
жена старого коммуниста, я его хорошо помню, он как манекен,  
как символ революции, всегда восседал в президиумах. Я не ста-  
ну описывать вам его внешность, пусть ваше воображение само

нарисует ее! Он был стар, но горд, ибо ему мы все были обязаны счастьем, на нас свалившимся. Жена его была горда тем же, но плоть ее, будучи молодой, требовала комсомольца. Мама ей сдавала дежурство, у нее и принимала. Комсомолка и комсомолец ночами, наплевав на всех умирающих в палате, под хмельком, баловались любовью со свойственным комсомолу жаром. В ее дежурства больные умирали сами по себе, и ее это мало интересовало, она — жена старого коммуниста, попробуй пожалуйся. Больные жаловались маме. Маме было наплевать, кто она и чья жена, и она ей высказала все жалобы больных. Очень скоро мама была арестована. На допросах выясняется, что на нее написан донос, конечно, анонимный, о том, что мама — шпионка, что, работая переводчицей на станкопатронном заводе, который строили немцы, она была ими завербована и... Мама сразу поняла, что на нее написали донос, спутав, кто действительно работал переводчицей на заводе с немцами, а работала там тетя Наташа. Не уточняя, кто там работал, мама начала доказывать, что она не знает немецкого языка вообще и потому не могла работать переводчицей. Ей тыкали фотографию какого-то немца и орали: «Признавайся!» Маме признаваться было не в чем, и она требовала запросить ее послужной список, где, когда и кем она работала. Никто ничего не запрашивал, а кричали, что им все известно: «Сознавайся!» Естественно, мама никаких протоколов не подписывала и настаивала на своем. Так длилось восемь месяцев. Лежала она на цементном полу в камере, где и на полу-то мест не было. Упорство ее и упорство следователя столкнулись, но у следователя кроме доноса ничего не было, и мама это понимала. На глотку, на испуг он ее взять не мог, так как мама — человек мужественный, и ее требования были обоснованны, даже в те незаконные времена. В конце концов, следователь был вынужден забыть о ней, да надолго.

А тем временем пришла пора Николаю Ивановичу получить причитающуюся ему пулю в лоб. Однажды в камеру входит компетентная комиссия. Речь свою они держат ко всей камере: «Граждане, кто считает себя невинно забранным, пишите заявление на ... такое-то имя!» Выдали бумагу и карандаш. Мама все подробно написала и отдала компетентным органам. Спустя какое-то время ее вызывают и сообщают ей, что она невинно «забрана». Затем воронок,

вагон — как и Муром. Снова камера. Кабинет, за столом «платяная вошь». Бледные тухлые глаза, бледное лицо, руки, как у сороконожки. «Подойдите к столу, — последовала команда, — распишитесь!» Мама читает: «Я, такая-то, обязуюсь с этого дня сотрудничать с органами ОГПУ и доносить о всех контрреволюционных действиях мне известных, мною услышанных среди знакомых, сослуживцев или на улицах города... подпись».

Прочитав, мама положила ручку на стол и твердо ответила:

— Таких бумаг я подписывать не буду!

Вша зашевелилась, пошарила ее своими мутными глазами и, скривя рот, сказала:

— Будите сидеть!

Нажал кнопку. Вошел вертухай.

— Уведите!

Снова камера, снова молитва, горячая, как кровь. Проходит день, другой, третий. Скрежет замка: «Выходи». Тот же кабинет, та же вша.

— Надумали?

— Мне не о чем думать. Я вам сказала. Я ничего подписывать не буду.

— Жа-аль, тогда придется ваших детей посадить, их сколько у вас?

— Двое. Вы можете их сажать, хоть сейчас же, обоих, я все равно не подпишу!

— А почему?

— Да по той простой причине, что сама я восемь месяцев сидела за ложный донос на меня, вы хотите, чтобы я так же сажала невинных людей? Вы этого хотите добиться от меня? Вы этого не добьетесь, пересадав всех моих детей. Вы не имеете права меня держать под арестом. Мне было объявлено, что я свободна! Я немедленно пишу жалобу на вас! Так и знайте!

Снова безжизненные глаза остановились на ее лице в упор. Она не отвела глаз и смотрела на него, в сердце молясь. Он отвел глаза, открыл ящик письменного стола, достал бумажку, положил ее перед ней и сказал: «Распишитесь». Она прочитала бумагу от буквы до буквы, в ней говорилось, что следствие по ее делу прекращено за отсутствием доказательств. Она облегченно вздохнула и подписала, и вот она дома! Слава Богу за все!

А что же все-таки случилось, почему выпустили: отсутствие состава преступления? «Отсутствие состава преступления» было у миллионов сидящих по лагерям и тюрьмам, у расстрелянных и замученных. Дело в том, что мама попала в тот момент, когда произошла смена палачей, и к этому моменту не была осуждена «тройкой», а находилась под следствием. Сталин менял палачей, для того чтобы свалить на очередного вину, якобы в злоупотреблении властью и в искажении генеральной линии партии. Подобная политика продолжается и до сих пор, при ней партия всегда кристально чиста, генеральная линия ее пряма, как стрела, а все беззакония, экономические и политические провалы и крахи приписываются отдельным личностям. Исторически это очень четко прослеживается и «козлов отпущения» можно пересчитывать на пальцах. Тогда таким «козлом» сделали Ежова. Страна рукоплещет «отцу родному», за его мудрость и несгибаемую волю и во всем виноват не он, а гнусный враг народа. Такие рукоплескания ожидают и Берия, когда он, спустя пятнадцать лет, будет объявлен врагом, шпионом и палачом русского народа, партия же вновь выйдет сухой из воды, свалив с себя вину на очередного выродка, хотя этот выродок был взлелеян и выкормлен партией.

Сейчас, когда страна под руководством партии и ее верных сынов и продолжателей Ленинских идей дошла до полного краха: экономического, политического и хозяйственного — ей приходится для сохранения своей шкуры объявить врагом народа самого Сталина, под мудрым руководством которого тридцать лет партия и народ шли от победы к победе, делая при этом вид, что партия тут ни при чем.

Так и в 37 — 38 годы, меняя палачей, Сталин и партия умывали свои кровавые руки перед народом и говорили: «Не повинны мы в крови сей!». Чтобы сделать видимость своей невинности, расстреляв Ежова, Берия выпустил из тюрем тех, кого еще не успели осудить, объявив их невиновными. Это была капля в море, и в ней оказалась и мама. Ее спасла милость Божия и личное мужество. Мама на следствии не указала пальцем на человека, с которым ее спутали в доносе, а, приняв удар на себя, спасла себя и тетю Наташу от гибели. Ее пример очень нужен был для меня, когда я оказался на Лубянке в лапах очередного «врага народа» Берии.

В начале лета 1938 года Серафим, с золотой медалью окончив десятилетку, без экзаменов поступил в Ленинградский университет на физико-математический факультет, вместе со своей пассией и главным образом из-за нее, ей хотелось именно на этот факультет, а ему было все равно куда. Эти предметы в объеме десятилетки он знал отлично и вообразил, что и дальше может успешно их изучать, но жизнь и первое полугодие учения показали, что физика, математика — не его стихия. В 1938 году и Серафим, и мама прощаются с Муромом, местом ссылки, ареста, и той тяжелой жизнью, выпавшей на нашу общую долю, на мамину в особенности. Серафим — в общежитие в Ленинград, мама — под Загорск, где среди лесов и полей, в бывшем скиту Троице-Сергиевой лавры, в двухэтажном кирпичном здании с маленьким храмом разместились палаты смертников, в которые свозили умирать со всей области туберкулезников с открытой формой. Туда поступила мама сестрой принимать и облегчать смерть многих. Поселилась она в комнатке в подвале этого же здания еще с одной медсестрой. В то время подпольная, катакомбная церковь, разгромленная за эти годы и потерявшая многих мужественных столпов веры, ушла в глубочайшее подполье, в котором мама принимала деятельное участие, а так же и Коленька, а, следовательно, и я.

Скрывающиеся и подпольно служащие батюшки имели свои точки по маленьким городкам, деревням и поселкам, в которых жили их духовные дети, покупая хибарки на самых окраинах селений, на отшибе, ближе к лесам и подальше от людских глаз с тем, чтобы незаметно из леса, через огороды ночами мог бы прийти человек. Живет такая старушенция на отшибе, мало кто ею интересуется, а у нее или в чуланчике, или в сарае, за дровами, аккуратно сложенными, идет служба и народ на ней, пришедший ночами лесными тропами со станции, за много километров. Таких точек много. На одном месте батюшка долго не засиживается, опасно. Темными ночами, проселочными дорогами бредет старичок со старушкой из Дорохова в Верею — двадцать километров. На расвете, еще не пропели утренние петухи, а они уже в другом месте, в другой хате, а там все готово для службы, и духовные дети, заранее зная, где ждать, дожидались. И так из года в год ходят старички проселками, в котомках облачение, сшитое из марли, на груди

дарохранительница. У старичков этих есть и имя, и сан, есть великое мужество и преданные дети, хранящие тайну и их, как зеницу ока. Но промеж себя в разговорах говорят они все о какой-то «тете». «Тетя» там-то, «тетя» сказала то-то, «тетя» просила, «тетя» ушла, пришла, будет. Так «тетя», он же архимандрит Серафим, такую огромную роль сыгравший в духовной жизни моей мамы, Коленьки, моей и многих сотен других, ходил пешком по городам и весям с 1936 по 1941 год. Неуловимый, хотя охотились за ним, как за волком, определив его голову в 25 000 рублей, но иуды не нашлось. Кроме него были и подобные ему «тети», и каждый по-своему прятался, чтоб приносить бескровную жертву ЗА ВСЕХ и ЗА ВСЯ, не желая разделять «радость» гонителей Христа, по провозглашенной митрополитом Сергием («Ваша радость, наша радость») декларации. Пути Божии неисповедимы. Если бы после кончины патриарха Тихона Церковь Русская не пошла бы на компромисс, спутав когти льва с мягкими лапками кошечки, то и не было бы того сонма мучеников, кровью которых искупаются многие грехопадения русского народа и обновляется вера. Святые новомученики российскийские, молитесь Бога о нас!

Идет 1938 год. Среди Коленькиных друзей есть отец Владимир Кривоуцкий. Он принял священство в самые тяжелые годы после революции, у него трое детей, сам он скрывается, сам он «тетя». Скрывается под Москвой, вблизи от семьи. Той отработанной системы подпольного служения, которая была и надежно хранила многих, у него не было, но у него и не было такой активности, он больше отсиживался, а потому не попадал в поле зрения; кроме того, одной женщине как-то удалось не сдать паспорт умершего мужа, и она отдала его о. Владимиру, таким образом, у него хоть был не просроченный паспорт, тогда как у других его вовсе не было. Он жил не под своим именем, но документы, хоть какие-то, у него были на случай проверки. Иногда он бывал у нас на Яковлевском. Его опекали и всеми силами помогали его семье знакомые и друзья. Он совершал требы по Москве, а жил у кого можно и не опасно. Так и держался.

Зимой 1939 года приезжает в Москву Симка, весь в отчаянии. На Яковлевском — он, мама, я, Коленька, за столом идет разговор. Симка, чуть не плача, говорит, что он за семестр по математике и



физике не сдал зачетов, что он убедился в том, что выбранный им факультет и специальность ему не по плечу, он ни бум-бум в высшей математике не смыслит. Одно дело школа, другое – университет. Он пытался в течение года перейти на факультет языка и литературы, но не мог добиться приема у декана факультета, от которого все зависит. А он крупный ученый, академик и попасть к нему, к этому Мещанинову, невозможно.

– Как, как, как ты сказал, Мещанинов? А как его зовут? – спросила мама.

– Иван Иванович.

– Иван Иванович? Боже мой, да ведь этот Иван Иванович – друг нашего детства. Он постоянно бывал в нашем доме в Петрограде. Мой папа вывел отца Ивана Ивановича в сенаторы, он принимал огромное участие во всей его семье и в его служебной карьере. А Иван Иванович был влюблен в Катечку, мою сестру. Батюшки! Иван Иванович, академик, уцелел за все эти годы? Я его совершенно потеряла из вида, уехав с Петечкой в Дивеево.

За столом все ожили, в особенности Симка.

– Ты, Симушка, поезжай в Ленинград с моим письмом и постарайся его передать ему лично.

Письмо было написано мамой тут же, в нем она рассказывая о себе и о всей семье Хвостовых, просила Ивана Ивановича помочь Серафиму перейти с физмата на его факультет. Симка уехал окрыленный. Все остальные в ожидании. А дальше события разворачивались, как в кино или сказке. Симка дождался у входных дверей университета выхода академика и, подойдя к нему, передал маминно письмо. Он его тут же прочитал, посадил Симку в машину и привез его к себе домой. С этой минуты дальнейшая судьба Серафима была решена, судьба мамы тоже, да и моя.

Иван Иванович на многие годы стал благодетелем всех нас, до конца своей жизни в конце шестидесятых.

Серафим был тут же переведен на Ассиро-вавилонский цикл, на котором готовили специалистов по древней истории, он стал учеником Ивана Ивановича, и если бы не война 1941 года, то научная карьера его была бы обеспечена. Но ...

Война спутала все карты во всем мире. А пока мама едет в Ленинград к Ивану Ивановичу, Симка живет у него, как у Христа за

пазухой. Мама покупает домик в Малом Ярославце, еще одна надежная точка для «тети». Я часто сажусь на «Красную стрелу» и мчусь в Ленинград, а когда в Москве Иван Иванович, познаю мир вечернего «Метрополя» в обществе Отто Юльевича Шмидта, Алексея Толстого и других академиков, им же несть числа. У меня есть денежки карманные и кое-какие наряды. Коленка ревнует, так как ему все это не по душе, не по душе моя светская жизнь, и он боится, как бы не ввела она меня в новые искушения, зная некие черты моего характера и неумность в питии восторгов страсти нежной. Если раньше он главенствовал в моем формировании, и в основе его был некий аскетизм, мною принимаемый, и некое держание меня в «черном теле», в смысле свободных денег, одежды, еды и одной рюмочки мадеры или хереса, то тут я нюхал другой образ жизни, и вкус его мне весьма нравился, а вместо хереса — шампанское и водочка под ананасы и икорку. Мои восторги он принимал, хмурия брови, и при встречах с мамой высказывал ей свои опасения. Мне шел девятнадцатый год и, как всегда, я был влюблен. Теперь любил я Олечку. Восторгам не было конца! Письмам тоже. От моих писем Олечка приходила в трепет. А жила она с матерью в Абрамцево. Там жила и работала мамина двоюродная сестра тетя Оля Попова с сыном Сережей и с нянюшкой Аннушкой. Все лето я жил у них, построив с товарищем шалаш над Ворей. Ночи безумные, ночи бессонные с юной Олечкой, которую я призывал условным свистом на свидание. Тетушка как-то мне и говорит:

— Хватит тебе свистеть, ее мать — моя подруга, давай я познакомлю тебя с ней, будешь вхож в дом, а то сплетни ходят про ваши ночные встречи.

Сказано-сделано. На пасеке, на крутом берегу Вори, под березками накрыт стол. Испечены пироги и многое разное на столе, и среди всего кувшин с медовой бражкой. За столом тетушка, Олина мама, Оля и я, вроде смотрин что-то выходит. Я попиваю бражку со льда — вкуснейшая. Тетушка под бок подтолкнула, говорит:

— Осторожней, она с ног сшибает.

Ученого учить только портить.

— Знаю, — говорю.

Соловьи поют, кузнечики стрекочут, а я исчез. Нет меня и все тут, ищут, ищут — исчез жених! А я, как сидел, как попивал этак

бражку со льда, да так и сполз незаметно под большой стол, никого не задев, заснул мертвым сном. А кончилось тем, что пришлось мне и дальше выманивать свою любовь, заточенную под домашним арестом от такого типа как я, трелями соловья и кваканьем лягушек, коим обучился я в Муромском театре, изображая летнюю ночь. А моя милая мамочка тем временем своим методом блюла мою невинность. Как-то приезжаю я к ней в ее скит под Загорском, ей в ночь на дежурство, а в комнате с ней живет молоденькая медсестренка, уходя, мама, таинственно отозвав подалее, шепчет:

— Смотри, будь осторожен, не пей из ее чашки, у нее сифилис.

О, детская вера! Я пью только из маминой. Спустя много времени я только догадался, как меня мамочка просто отвела от всяких поползновений испить другой водички ... А, кстати сказать, у меня и в мыслях этого не было... Мамочка, мамочка, ты так хотела сохранить меня от грязи житейской, когда я уже был в ней по уши.

Жизнь идет своим чередом. Снова милость Божия не оставляет нас, в нужный момент протягивается рука помощи, случайно, неожиданно-негаданно, меняя коренным образом наши судьбы. Симка в Ленинграде у Ивана Ивановича живет, не зная нужды ни в пище, ни в одежде, ни в деньгах. Иван Иванович одинок, семьи у него нет и не было, он крупный ученый, продолжатель учения Марра о происхождении языка, академик, член президиума Академии наук, директор отделения языка и литературы, автор множества научных трудов о языке.

Симка в университете изучает языки древнего Вавилона, халдейские, ванские, древнееврейский и египетские иероглифы, во всем этом он плавает, как рыба в воде. Лекции читают виднейшие ученые с мировыми именами. Мама при помощи Ивана Ивановича купила домик в Малом Ярославце. Там у нее один из многих подпольных храмов, она не работает, Иван Иванович помогает ей материально.

После стольких лет нищеты, непосильного труда, настал покой и время сосредоточенной духовной жизни, под дамочловым мечом, всегда могущим внезапно снять голову с плеч. Маму это не страшит, как она сама про себя говорила: «Я обожаю ходить по острию меча!». И это верно, она была бесстрашной, обладала всегда

большим мужеством с некоей долей авантюризма, так необходимого для жизни в нашей стране. Я и Коленька на Яковлевском в мезонине, куда по винтовой лестнице поднимались к нам его друзья, под общим названием «Бомонд», и частенько Франциска Иосифовна из нашей квартиры. Входя, она всегда говорила одну и ту же фразу:

— У Вас т-е-п-л-о, — сконфуженно садилась, говорила о том, о сем и, помявшись, просила денег взаймы. Сашенька кормила нас очень часто «сясиськами», а Ванек затапливал печь.

Между нами, мной и Коленькой, иногда пробегали черные кошки в виде Иван Ивановичей доброты, или позднего возвращения из «Националя», под легким шафе, а частенько и средним. Ольга Петровна прихварывала все чаще и чаще. Коленька писал аннотации, а я учился, вернее делал вид. Незаходимое «солнце» нам сияло из Кремля, все мы грелись в его лучах, кого-то оно ослепляло, руками Лаврентия, кого-то награждало, руками Всесоюзного Старосты, ковало мечи, руками луганского слесаря Клима, а руками Молотова отшлифовался пакт с Гитлером о разделе Европы, в частности, Польши. Чкаловы, Беляковы и Байдуковы летали через полюс, Шмидт сидел на льдине, потопив корабль, Папанин водружал наше знамя на полюсе, Фюрер потирал от удовольствия руки и бился в конвульсиях собственных речей, тайно готовясь сломать хребет Советской России. Сталин поднимал бокал в Кремле за его здоровье. Коммунизм и фашизм застыли в поцелуе.

1939 год. Наши войска вошли в Польшу с востока, немецкие с запада. Стаханов рубил уголь миллионами тонн, Бусыгин ковал без устали, Орджоникидзе застрелился. Лебедевы — Кумачи писали песни, Маршаки — оды, Дунаевский — «Широка страна моя родная... Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» А человек-то в те времена и дышать боялся. Своим чередом шли этапы на Колыму, Воркуту, в Сибирь и на всякие каналы. Колхозники получали за свои трудодни граммы, налог же платили с того, что есть, и с того, чего нет. Кур нет, давай яйца, нет — покупай, а налог плати, так и шерсть, мясо, молоко. Крестьяне под яблони сыпали соль, чтоб они пересохли, яблони есть — плати налог. Все мудро и, главное, по-отечески! Слуги народа летят в пуленепробиваемых машинах, живут за глазонепроницаемыми заборами,

а на окнах тюрем — намордники, и на одного свободного — пара сексотов. «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к Коммунизму! Ура!» Попробуй не крикни, или крикни сквозь зубы, или тихо. Орать надо во все горло!

Осенью 1939 года меня призывают в армию. Медкомиссия признает пригодным. Какое там учение, в нем уже нет смысла. Ленинград тянет на прощание, вечеринки в общежитии, нас уходит много. Как часто бывает, перед разлукой выясняется, что тебя оказывается любят, тайно, давно, безысходно. Теплое дыхание, слова любви, переходящие в шепот, клятвы, обещания, биение сердца. Ольга Петровна уже не встает. Тетя Граня и тетя Вера дежурят по очереди. Тети Граня и Вера — родные сестры, рано потерявшие родителей, их воспитывала в своем доме вместе с Коленькой Ольга Петровна. Они — двоюродные сестры Коленьки. У тети Грани три сына: Сережа, Боря и Коленька — гусь, все таланты. У тети Веры — куча детей, и тоже все таланты. Ольга Петровна очень плоха, Коленька просит меня вечерами быть дома.

Вот пришел тот вечер, когда она на наших руках тихо-тихо скончалась. Отпели ее дома, пришли близкие ее отдать последний поцелуй этой тихой, скромной, всегда сострадательной старушке. Похоронили мы ее на Немецком кладбище, старинном и уже полузакрытом. Туда со временем лягут многие, кто хоронил ее в этот день, надеюсь и я туда же лечь, когда придет время. Вскоре я ушел в армию и очутился в Киеве, в запасном Автотранспортном полку, предварительно повидав «тетю».

Началась новая жизнь, описывать которую у меня нет большой охоты. Полковая школа шесть месяцев, и я — сержант, вскоре старшина. Служба, как служба. В Киев приезжал Симка, и вслед ему мама. В эту нашу встречу я и попросил ее написать нам все о себе, на что она откликнулась целой тетрадью записок, которые вы уже прочитали. Зимой началась финская. Зима была лютой, но нас не трогали, и полк наш просидел в Киеве. В марте месяце на тщательном медосмотре меня притормозил глазной врач, что-то ей показалось у меня не все в порядке. Затащила она меня в темную комнату и полезла в глазное дно. Шарит, шарит зайчиком: «Смотри туда, смотри сюда». Закапала атропин. Снова: на пальчик, вверх, на кончик носа. Позвала другого врача, смотрят оба в оба.

- Как вы в армию попали? – спрашивает.
- Как все.
- А вам глазное дно смотрели врачи при призыве?
- Нет, – отвечаю, – не смотрели.
- Да их надо под суд отдать, они не имели права вас в армию призывать!

Тут-то меня, голубчика, сходу, да в военный госпиталь. Оказался я не в казарме, а в палате. Сестры молоденькие, дружелюбно посматривают на вновь прибывшего. Для меня такой внезапный поворот привычной армейской жизни был как снег на голову. Меня армия не тяготила, благодаря моему умению очень быстро адаптироваться, что было выработано самой жизнью, начиная с Мурома. Я очень легко входил в новые условия жизни, в среду обитания, находил наилучшие варианты на «выживаемость». У меня не было врагов, ненавидящих меня, и я сам не враждовал ни с кем. Но в то же время я умел себя поставить таким образом, что меня, с одной стороны, уважали, а с другой, побаивались, зная, что я умею за себя постоять ударом «не ниже пояса». Я никогда не искал защиты у вышестоящих, не жаловался, не доносил, не ябедничал и держался в стороне, но всегда четко выполнял их приказы по службе. Поэтому армия меня не тяготила, и я не считал дни, месяцы и недели оставшегося срока службы. Очутившись неожиданно в госпитале по болезни, которую я не ощущал в себе и которая так неожиданно выплыла, я стремился как можно скорей пройти обследования и вернуться в часть.

Учась в художественном училище и умея рисовать, в армии я отказался от роли художника, так как это занятие довольно противное – с утра и до вечера выписывать на щитах дурацкие цитаты, набившие оскомину, рисовать «незабвенные черты»: то лысые, то усатые, то лохмато-бородатые. Я предпочитал всему этому роту, в которой я, как старшина, был хозяин, а все солдатики мои друзья, в свободное от занятий время.

В госпитале кто-то разнюхал, что я – художник, и милые сестрички шепнули об этом заведующему глазным отделением, профессору Пивоварову. Профессор пригласил меня в свой кабинет, очень дружелюбно стал расспрашивать меня о моем самочувствии, назначил необходимые исследования и попросил меня нари-

совать для него ряд схем и рисунков. Лежать, шататься без дела и коротать время — дело тоскливое, поэтому я с удовольствием взялся за работу в обществе юных белых халатов. Очень быстро дружба с ними была налажена, и дни из тоскливых превратились в радостные. Я рисовал — они щебетали. Врачи и сестры своим чередом делали со мной всевозможные исследования глазного дна. Охали, удивлялись, крутили и вертели, нацеливая на меня свои орудия. Никто не торопился, я все рисовал, профессор радовался и все подваливал мне работу.

Как-то я разговорился с милой сестричкой и спросил ее:

— Что у меня за болезнь? Чего они так охают и показывают меня как диковинный экспонат друг другу?

А сестричка мне в ответ:

— Они удивляются, как ты можешь видеть!

— Как? А что, я должен не видеть?

— У тебя почти полностью атрофировано глазное дно и в обоих глазах, таких больших и выразительных, — добавила она, смотря на меня в упор. — Смотри вот, — она достала схему строения глаза. — Вот — глазное дно, — ее пальчик обвел область в схеме, — вот — глазной нерв, вокруг него сетчатка. Вот, вот она, видишь?

— Вижу.

— Сетчатка вся состоит из палочек и колбочек, как мозаика, одни видят ночью, другие — днем, понял? У тебя почти все они мертвые. Неживые и не могут реагировать на свет, а следовательно, ты не можешь видеть.

— А я вижу!?

— Вот поэтому-то они и охают, и удивляются, и, как диковину, тебя рассматривают, а ты и есть диковина.

— Ну, а дальше что? Что дальше?

— А дальше? — Она замаялась, опустила глазки, взяла мою руку, обняла ее своими и тихо сказала:

— Ты ослепнешь и очень скоро.

Мое сердце екнуло, я ощущал тепло ее рук и видел перед собой ее большие глаза, влажные от сострадания.

— А ты будешь меня водить по белу свету за ручку?

— Увы, тебя очень скоро демобилизуют, не сегодня-завтра пойдешь на комиссию и все...

Днем меня вызвал профессор, перед ним лежали мои рисунки, схемы и все, что я ему нарисовал.

— Давай я сам посмотрю тебя, — раскрыв историю болезни, он углубился в ее изучение, перелистывая какие-то схемы.

В темной, уже знакомой мне комнате он долго и внимательно что-то изучал внутри меня, поворачивая и направляя зайчик от зеркальца.

— Как могли так халатно поступить с тобой? Да они должны за это идти под суд! Взять в армию с такой болезнью. Какой военкомат?

Я ответил:

— И ты ни на что не жаловался?

— Нет.

— И ты видишь?

— Да.

— Да ты понимаешь, что ты не должен видеть?

— Но я вижу.

— Это меня и поражает. Но ты можешь очень скоро ослепнуть, внезапно. Ты должен это знать, как ни тяжело, но должен.

Мы вышли из темной комнаты.

— Ты не падай духом, я обязан был тебе сказать правду.

— Спасибо, профессор. Я духом не упал.

— Завтра комиссия, поедешь домой.

22 мая 1941 года я поднялся по винтовой лестнице в мезонин и обнял Коленьку. Так неожиданно я был выкинут из армии за месяц до Второй мировой войны. В те дни это не казалось чем-то необычайным, чем-то сверхъестественным, потому что никто не предполагал, что ждет всех нас, что ждет Россию. Этого не ожидал даже хитроумный Сталин, веря своему другу и единомышленнику Гитлеру больше, нежели разведке и перебежчикам, которые доносили ему о дне и часе нападения. Служа в Киеве, уезжая из армии, и я видел и знал, что на границах стягиваются огромные армии, но все без вооружения: танкисты без танков, артиллеристы без артиллерии, пехота без амуниции. Вот почему с первых часов и дней войны мы несли огромные потери в живой силе, а немец беспрепятственно маршировал на всех фронтах. А мудрейший из мудрых в это время потерял дар речи.



Вернувшись в Москву 22 мая, первым делом я поехал к маме, которая в то время, продав домик в Малом Ярославце, купила в Дорохове, все с теми же целями. Там было нужней и удобней. Точки необходимо менять для безопасности. Мама была больше огорчена и взволнованна, нежели обрадована моему возвращению. Ее перепугала неожиданность болезни и прогноз врачей. От нее я прошел пешком в Боровск чудесным майским днем и к вечеру был у «тети». Исповедь, причастие, часы беседы, и снова в путь. Вскоре я уехал в Ленинград, где был сплошной кайф и полное отдохновение от всех зол и напастей, ожидающих меня впереди. Будь, что будет! Молодость долго не задумывается о том, что не сейчас и, быть может, не завтра. А пока, радуйся минуте! Что я и делал.

С Симкой я как-то больше за эти годы сблизился, Иван Иванович всегда мил, добр, и в доме его полная чаша вина, наливки, шампанского и рог изобилия изысканной жратвы.

Слепота?! Да я ж вижу, а что там? Да пусть будет то, что будет, от судьбы не уйдешь, как говорил Коленька по-гречески, чтобы не соврать, скажу по-русски:

**КТО ЗА СУДЬБОЙ НЕ ИДЕТ, ТОГО СУДЬБА ТАЩИТ!**

Житейские волны, сколько раз вы топили меня в своей пучине, сколько раз били о камни, и всякий раз какая-то добрая волна выкидывала на прибрежный песочек или подсовывала бревнышко, чтобы не утонул. Скоро, очень скоро я пойму свою судьбу, которая вытащила меня из пекла ада, в которое верг Русский народ «гений» всех времен и всех народов. Лезть под танки с его именем на устах мне было не суждено. Для меня он никогда не был ни «отцом родным», ни «мудрым», ни «великим», а всегда «кровавым» и «гносным» со дня рождения моего и до сей минуты. Когда я слышу некие упреки в том, что я не рвался защищать Родину, как многие, мне хочется сказать: моя Родина, которую я безгранично люблю, пока беззащитна, и если настанет время ЕЁ защищать, то я пойду не раздумывая, защищать же то, что ЕЁ поганит, и того, кто ЕЁ топчет, я не желал и не желаю до сих пор! У нас разные понятия о Родине. Для меня это не поля и луга, не березки, леса и перелески, а душа России, оплеванная и изнасилованная, затопленная кровью и закованная в кандалы. И те, кто клал свои жизни, вступая перед боем в родную партию, чтобы умереть коммунистом,

с воплем «За Родину, за Сталина!» умирали не за Родину, а за строй, мне глубоко противный и принесший моей Родине страдание и гибель. Пролить свою кровь или отдавать свою жизнь во имя Сталина — это значило для меня быть соучастником в уничтожении многих миллионов человеческих жизней, начиная с первого дня революции и до наших дней. Поэтому я благодарю свою судьбу и благословляю ее за то, что она спасла меня от этого позора, не жизнь мою спасла от смерти, за то имя и за ту «родину», которая не моя Родина. Я никогда не был и не буду политиком, всю политику я презираю, так как любая политика — насилие в любой форме, тем более в наше время, где правда и ложь слились вместе в монолит фальши, полуправды и полулжи; где нет принципа, а сплошная проституция, даже в самых гуманных идеях скрыта ненависть и мстительность; где зло выдается за добро, ложь за правду, светлое за темное и наоборот. Как сказали Апостолы Христовы: «Мир во зле лежит». Вот почему нет доверия даже там, где хотелось бы верить. Люди, бедные-бедные люди, они разуверились в правде и незаметно для себя утвердились во лжи, или, еще хуже, в полуправде, свет для них — тьма, а тьма стала светом. Потеряна вера в добро, потеряна вера человека человеку, все искажено, изуродовано изнутри и нет мира, нет покоя, глубокого и отрадного покоя, которое дает вера и любовь. Вместо мира — вражда, ненависть, зависть. Вместо покоя — метание, бесцельное, механически привычное, суетное и ложное. Вместо любви — голый эгоизм. Если Пересвет и Ослябя первыми пали в бою на Куликовом поле, то они знали, что они защищают и от кого. Защищать партию и правительство, уничтожающих свой народ миллионами, разрушивших и разграбивших страну и продолжающих это делать и после победы, уничтоживших в народе все святое, вынудивших из него душу и засунувших вместо нее «великое знамя Ленина-Сталина», подло обокравших и обманувших лживыми посулами свободы и равенства, за них и за это знамя я не должен был умереть и судьба меня, вернее Бог, спас от этого; мало того, Он дал мне неопровержимую болезнь, при отсутствии ее последствий. Пигментная дегенерация сетчатки обоих глаз спасла мне жизнь дважды. За месяц до войны я был выставлен из армии, против моего желания и без всякого моего участия неожиданно и внезапно.

В 1946 году, когда подошла моя очередь на своей шкуре испытать сталинские тюрьмы и лагеря, перестроенные и переоборудованные по фашистскому образцу умелыми руками Берии, болезнь моя спасла мне жизнь, так как я просто-напросто «ослеп». А Муромский театр помог мне сыграть роль слепого гораздо лучше, чем Митьки – рыжего. В меня не стрелял конвой, когда я делал шаг вправо или влево, крича: «Не стреляй, он слепой!» Такая игра опасней, чем прыгать в окно, где тебя подстраховывают. В колонне заключенных я чувствовал себя на своем месте и гордился этим, так как я разделял судьбу своей Родины. Многим этого не понять, не в силу отсутствия ума, а по той простой причине, что они путают понятие РОДИНА. Клетка для любого зверя – не родина, тем паче для человека. Спустя годы после окончания войны те, кто лез под танки или шел в атаку с криками «За родину, за Сталина», убедились на своей шкуре, что это за «мать» и что за «отец», когда тысячами шли этапами на Воркуту, Колыму, в Сибирь. Те самые воины, попавшие в плен, или назвавшие колхозную корову Б... деревенские мужички. Шли туда же и за колоски, подобранные на поле, иль картошку в борозде, на десять лет. Так «отец родной» благодарил Русский народ за победу, забыв, как от страха стучал зубами о стакан, прежде чем произнесет: «Братья и сестры! Спасайте Родину!» Сломал Русский народ хребет одной сволочи, другая же незамедлительно, в знак признательности, издала закон о каторге.

Белые ночи, светлые ночи, июньские ночи! 22 июня меня разбудил Серафим и тревожно сказал:

– Слушай, слушай, война! Сегодня ночью война началась!

Война! Меня как ветром сдуло с тахты:

– Симка, я немедля еду в Москву!

Это была моя последняя с ним встреча и прощание. Больше нам не суждено было встретиться. Я остался, чтобы жить, он ушел на фронт, чтобы сгинуть! В этот же день, обнявшись и поцеловавшись с ним, я сел в поезд и на утро 23 был в Москве.

**Началась ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ!**

Долго молчал «Отец родной», приходя в себя от шока. Гитлер, в которого он так верил и с которым делил мир по-братски, это – тэбэ,

это — мэнэ, коварно надул «гения всех времен и народов» и решил, что лучше и куда спокойней, если все будет «мэнэ»!

Мое мировоззрение, мое отношение к жизни, ее оценка и ощущение себя в этом мире — очень субъективное, генетически унаследованное и вошедшее в меня с молоком матери, и волею судеб развитое во мне на заложенной закваске. Я никуда не могу деться от присущих мне наклонностей, плохих или хороших, от страстей во мне бушующих и от пороков, отложивших свой след в моей душе. Все это мое.

В этих записках я не хочу себя оправдывать, сваливать на обстоятельства и время, выпавшее на мою долю. Я далек от желания искать сучки в чужих глазах и пересчитывать их. Время, обстоятельства и, как вы видите, сама жизнь терли меня иногда безжалостно в своих жерновах. Все мое мне присуще, а грехи в особенности. Моя цель — рассказать о судьбе моей без утайки, со всеми ее падениями, не бравируя ими, а оплакивая их. Не хвляясь, а ужасаясь, и в то же время показать незаслуженную милость Божию, хранящую меня за молитвы многих. Я не собираюсь вступать ни с кем в спор, что-то доказывая или опровергая. Я пишу то, что я думаю, что пережил, что видел, и как все это ложилось мне в мою душу. Когда Коленьку на допросах спросил следователь:

— Что Вы еще можете сказать об Арцыбушеве?

Коленька, ничтоже сумняшеся, ответил:

— Этот человек склонен к всевозможным авантюрам!

Не в бровь, а в глаз! Склонен! Я боюсь утверждать, что склонность эта чисто генетическая. Думаю, что условия жизни, в которые поставлен весь наш народ, выработали в нем это необходимое для выживания качество, у каждого по-разному действующее. Человек, хочет он или не хочет, вынужден изворачиваться. И кто в этом не грешен, пусть не были и не будут направлены во зло ближнему, скорей в его пользу. В нашем беззаконном государстве добиться законно тебе положенного можно только тем же беззаконным методом, и в этом я греха не вижу.

Авантюра в моем понимании — это умение обойти рогатки, выставленные, чтобы ты получил как можно меньше, а тот, кто их выставляет, как можно больше. В таком понимании Коленькина характеристика безупречна, он знал, что говорил. Сейчас это именуют «пробивной силой!»

23 июня я вернулся в Москву с погасшими огнями и темными окнами. Что-то надо было делать. Я съездил в Дорохово к маме, она в тревоге за Серафима. Рассказы, рассказы:

– А что ты намерен делать?

– Да я пока не знаю, пойду работать.

– Сходи в Верею, там «тетя».

Пошел, повидал. Она (вернее он) попросил меня отвезти письма в Москву по знакомому мне адресу.

Приезжаю, передаю. Меня там хорошо знают. Матрена Фроловна – мать семейства, духовная дочь «тети». Пьем по-московски чай, за столом ее младшая дочь Тоня, старше меня на год.

– А что ты, Алеша, думаешь делать?

– Наверное, работать. Я бы с удовольствием смотался из Москвы. Бегать по тревогам в метро, толкаться в этой толчее, хорошо бы куда-нибудь в деревню до осени.

– А что там?

– Да в колхоз на трактор. Я же все-таки танкист, машины всех марок знаю.

– Послушай, а ты бы не хотел поехать на Оку под Серпухов, в село Турово, туда Антонину на работу по разнарядке зубным врачом направляют.

– Поехали, мне все одно, куда.

– А ей там и квартиру должны дать, вместе и сподручней.

– Да это ж совсем хорошо, едем!

Сказано-сделано, пожитки в рюкзак и на поезд. А вот и Турово. Тоне при больнице — две комнатки, я ее двоюродный брат. Пошел в колхоз.

– Трактористы нужны?

– Да еще как, только трактора все сломаны. Коль отремонтируешь?

– Конечно, из двух один — наверняка!

– Ну, валяй. Платить будем натурой.

Тоня зубы сверлит, я под трактором. Она в своей комнате, я в другой. Ока, соловьи, словно и войны нет. Девка рядом, а охоты до нее нет, чудно даже. Газет нет, радио в сельсовете. Бабы голосят, гонят мужичков на фронт, радио сводки передает: «Оставили... Оставили... Оставили...» Прет немец по-шалльному. Я из двух тракторов

один собрал, пыхтит, сел за руль, покатыл, работы — прорва. Август. Иду мимо сельсовета, а мне в окошечко:

— Зайди.

Захожу.

— Тебе повестка в райвоенкомат.

— Мне?

— Завтра утром машина всех повезет, приходи к восьми.

Ладно! Наутро у сельсовета, еще издалека, слышен вой и причитания, голоса, выплакивая в голос еще живых, тут стоящих с котомками мужичков, кормильцев своих детей и всей страны. Виснут бабы на их шеях:

— Да на кого ты нас покидаешь, голубчик, да на кого ж детушек своих оставляешь, — а детушки тут же, цепляясь за подолы матерей, плачут от испуга, плачут потому, что все плачут.

А из громкоговорителя, на всю деревню, мощным потоком, заглушая вопли страданий, бравурно несется песнь:

«Заветы Ленина на нашем знамени,

И сердце Сталина стучит у нас в груди.

Пусть сильнее грянет бой.

Мы все готовы к бою в час любой,

Мы все пойдем в поход

За край любимый свой, за наш народ!»

Кузов грузовика набит битком. Под звуки бравурных маршей и вопли стоящей толпы, фырча и тарахтя, машина двинулась. Тяжкие минуты расставания позади, впереди у кого смерть, у кого плен, у кого увечье.

Присматриваясь, вижу, что большинство мужичков ущерблены, у кого бельмо на глазу, у кого на руке пальцев не хватает, кто хром, кто кос или крив. «Вот, — думаю, — кого уже забирать стали». Военкомат в Серпухове, зона — обнесенная колючей проволокой, проходная под охраной. В зоне — толпа народа. Вхожу в здание, муравейник, только и слышен приказ: «Сдавайте паспорта!» У столов давка. Хромые, косые, глухие и гнилые, все в кучу, без всякой комиссовки, без медосмотра. «Сдавайте паспорта». «Ну, — думаю, — сдать-то я всегда успею, без медкомиссии тем более». Вспомнил я слова профессора: «Да тех, кто тебя призвал, под суд отдавать надо». Хожу, присматриваюсь. В углу у стола толпа, за

столом лейтенантик что-то штампует на протянутых ему стоящим рядом капитаном повестках. Вокруг капитана свалка. Хромые, косые, глухие и гнилые — все суют ему свои повестки. Лейтенантик штампует, как автомат: «До особого, до особого, до особого, до особого». Я подsunул ему под штемпель свою повестку. Шлеп! До особого!

Пулей я вылетел на улицу, сунул в проходной повестку со штемпелем «До особого»!

— Проходи!

Я на вокзал и в Москву. В Дорохово, скорей в Дорохово. Приезжаю, у мамы замок. Где она? В соседнем домике живут «свои». Где мама? В Верею ушла. Я в Верею. Стучусь в знакомое окошечко, шевельнулась занавеска, шелкнула щеколда. Мама у вас? «В Боровске». Путь не малый, пошел знакомой дорогой, к вечеру пришел, уж солнце село. Тихий стук. Та-татата-та — на другой не откроют. Шепотом в сенях:

— Мама у Вас?

— Входи, тут, тише, служба идет.

Бревенчатые стены, на окнах глухие ставни, у икон лампада. Отец Серафим в полумантии и в марлевой епитрахили, в руке у него шарик ладана, в другой — свечка. Подогреваемый свечкой, шарик начинает синим дымком наполнять комнатушку благоуханием, батюшка «кадит им крестообразно». «Богородицу и Мати Света в песни возвеличим!» — тихо и проникновенно возглашает он. Все встают на колени и я рядом с мамой. «Величит душа моя Господа, и возрадуется дух мой о Бозе Спасе моем», — все поют так тихо и с такими внутренними слезами радости, что душа твоя оставляет этот мир и куда-то уходит, сливаясь с ароматом ладана и растворяясь в покое, забыв все, словно и жизни не было.

«Слава Тебе, показавшему нам свет... Слава Вышних Богу, и на земли мир в человецех благоволение, Хвалим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоя...»

Окончилась всенощная, рассказываю маме и батюшке, как я вырвался к ним из военкомата. «Я пришел попрощаться, забирают всех под гребенку, но без медкомиссии я идти на убой не желаю, по видав Вас, вернусь в Серпухов, а там будь, что будет». Вечером исповедовался, утром на литургии причастился, позавтракал, обнял

мамочку, быть может, в последний раз, батюшка благословил меня, положив руку на мою голову: «С Богом! Иди с Богом!» Обернувшись еще раз, увидел слезы на глазах мамы, вышел из дома.

Москва, Коленька, доблестная армия бежит, снова «Оставили. Оставили. Оставили». Серпухов, Турово. Прохожу мимо сельсовета, стук в окошко: «Зайди». Зашел. Повестка на завтра. На завтра — снова Серпухов. Военкомат, народу много, подхожу к столу.

Воинский билет. Освобожден от воинской службы по статье... на основании приказа №... Расписания болезней №... Старшина, годен к нестроевой службе в военное время, запас второй категории, в тыловых обозах. За столом врачи. Болезнь моя и ее подтверждение нуждается в госпитализации в глазном отделении. Мне дают направление в горбольницу в глазное отделение. Вот текст его я привожу полностью: «Горвоенкомат просит Вас дать заключение о болезни гр. Арцыбушева А.П., согласно расписанию болезней Мин. Обороны СССР с указанием статьи». С этой бумажкой я направился в поликлинику на прием к главному врачу. Прихожу — очередь, жду. Врач — еврей, очень милый и внимательный. Прочитал направление и сказал:

— Вот Вам бумажка, идите в больницу и ложитесь ко мне в отделение, будем исследовать.

Я лег. На следующий день начались уже известные мне исследования. Зная, что я могу вообще не видеть, что мое глазное дно мертво, я без всякого зазрения совести, и я это подчеркиваю, так как и на этот раз я не горел желанием грудью защищать ни Сталина, ни Берию, ни Молотова, ни Кагановича, ни всю эту банду, вместе взятую, со всей ее человеконенавистнической идеологией. Так же как их, и не меньше, я презирал и Гитлера, и всю эту фашистскую сволочь, прекрасно понимая, что «хрен редьки не слаще», но Сталин для меня был олицетворением зла, и «сердце Сталина не стучало» в моей груди (по той песне).

Исходя из этих моих личных отношений к «отцу родному» и моего понятия и представления о родине, я мог прочесть только самую верхнюю строчку и то на полпути, а не оттуда, откуда положено видеть. Достаточно было доктору в темной комнате пошарить по моему главному дну, как он убедился, что я и то слишком хорошо вижу. Дальше измерение поля зрения. Я знал от милых



сестриц Киевского госпиталя, что оно, при моей болезни, должно быть концентрически сужено, я его и сужал до предела. Доктор был удивлен, что я его еще маловато сузил, можно было бы и больше, что я намотал на ус, и в лагере сузил совсем. Адаптация никада не годная. Картина ясна. Но... Вызвав меня на последнее собеседование, держа мой воинский билет в руках, глядя на меня сострадательно, он молвил:

— То, что Вы больны неизлечимо — это факт. То, что Вы подходите под все расписания болезней и по всем статьям Мин. обороны — тоже сомнений нет, но Вы — старшина, если бы Вы были просто солдат, то полностью не годны к службе. Младший комсостав годен в обозах.

— Доктор, — сказал я, — вас спрашивают не кто я, а болен ли я. В военкомате знают, что я старшина. Вам надо ответить на их запрос: статья болезни и расписание. Вы и ответьте.

— И то верно, — сказал доктор. — Вы правы.

Я это говорил, совсем не предполагая, что случится в военкомате, и как развернутся события. Получив на руки заключение о том, что: «Гр. Арцыбушев страдает такой-то болезнью, определяемой статьей... такой-то. Расписание болезней... Мин. обороны... от... числа», — я пришел в военкомат и подаю председателю комиссии заключение. Он его внимательно прочитывает, передает военному, тут же сидящему, тот читает и говорит:

— Военный билет!

Я подаю, не раскрывая его, он швыряет его в угол комнаты, в котором их навалом и, ни слова не говоря, выписывает мне «Белый билет». «Белый билет» — это полное освобождение от воинской повинности — пожизненно. Подает его мне и говорит:

— Вы свободны!

— Спасибо, — отвечаю я и выхожу.

Вернувшись в Турово, я зашел в колхоз и сказал его председателю, что с сего дня я больше не тракторист! Собрал свои манатки и пешком пошел в Каширу, где сел в поезд на Москву. В кармане у меня лежал белый билет. С ним я не должен был вставать на учет ни в каком военкомате. Вернувшись, я тут же поехал разыскивать маму. На все мои рассказы о случившемся мама сказала, выслушав:

— Это чудо.

Точка зрения мамы в отношении «грудью за Родину» была такой же, как и у меня. На Лубянке в 46-м мне следователь заявил:

— Вы наш враг, даже по одному тому, что семья ваша пострадала, это не прощают.

На что я ему ответил:

— Тогда у вас вся страна враги, так как нет семьи, которая бы не пострадала. Кстати сказать, у меня нет вражды в смысле мести, я вас просто презираю!

Но все живое хочет жить, как любил говорить Коленька. Надо было жить, а значит, работать. Каким-то образом, сейчас не помню, я устроился на работу в ГУШДор (Главное управление шоссейных дорог МВД СССР), автомехаником на автобазу. Шел сентябрь, немец рвался к Москве. Сводки Совинформбюро потрясли отступлением на всех фронтах: Смоленск, Киев, Харьков, Гжатск, Малый Ярославец, Можайск. Дорохово рядом. Москва во мраке, в небе аэростаты колышутся, как гигантские киты или акулы, на крышах зенитки, прожектора, режут темное небо, тревога за тревогой. На крышах женщины и подростки скидывают зажигалки, вой сирен. Толпы бегущих к метро, давки у входов. Окна в бумажных крестах наглухо зашторены черной бумажной шторой. Репродукторы или поют: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет...», или умолкнув, сурово возвещают: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Воют сирены, бегут с детьми на руках, тянут за руки могущих идти, ковыляют старики и старухи, тянут с собой барахло. Рев моторов в черном небе, шарят, шарят прожектора, вот крестнакрест поймали, повели по небу рокочущую точку. Зенитки строчат, как пулеметы. Взрыв — один, другой, рушится с грохотом где-то вблизи, колышется земля. После одиннадцати улицы мертвы. Патруль один за другим, запоздавших забирают. Мы с Коленькой решили: «Где наша не пропадала — по тревоге никуда не бежать», — и не бегали. Утром ни свет ни заря на работу, край света, за окружающей, на Войковской. Машины, машины, и ты под ними. Один механик на всю базу, рук не хватает.

Все тревожней и тревожней живет город: сводки, слухи, страх на грани паники. Правительство в рот воды набрало. Уже несколько

месяцев эвакуируют заводы на Урал, в Сибирь, гонят эшелон за эшелон. Продукты давно по карточкам. На все норма и не больше. Рабочим одна, служащим меньше, иждивенцам — еще меньше. Голодно и холодно. Октябрь идет. 15-го утром меня вызывает к себе начальник управления. Вхожу, кабинет в коврах, под портретом «обожаемого» — уважаемый Марк Ароныч, или просто Ароныч:

— Как у тебя с машинами?  
— Все в порядке, все на ходу!  
— Прекрасно! Вот что, слушай и записывай.  
— Слушаю и пишу.  
— Один грузовик — по моему адресу, пиши. Второй — моему заму (тоже Ароныч), пиши адрес! Написал?

— Да.  
— Третью, четвертую, пятую, шестую! Записал?  
— Да.  
— Последнюю берешь себе.  
— А мне зачем?  
— Как зачем, ехать!  
— Куда?  
— В Куйбышев.  
— Я никуда не собираюсь ехать.  
— Как? Евреям надо срочно уезжать.  
— Я не еврей.  
— Да-а, — протянул он, — не еврей, а я думал, что ты еврей.  
— Нет.  
— Тогда рассылай машины, а сам иди в бухгалтерию и получи расчет и талон на пуд муки.  
— Слушаю! — по-военному сказал я.

Наутро все машины были мною разосланы по адресам, а я с пудом муки вернулся домой. 16 октября началось паническое бегство из Москвы, дороги были забиты машинами, пробки на часы. Правительство бежало и бежали все те, кому стоило бежать. Вся лубянская площадь в черном пепле, который заслонила собой небо. КГБ жгло архивы, но не все, оно знало, что жечь, а что припрятать. Всем оставшимся в городе выдали по пуду муки, пеките пироги! А мы с Коленькой ели затируху, или попросту клейстер, было вкусно, а главное — вдоволь. Город готовился к уличным боям.

Сваркой резали стальной каркас, начало величественного триумфа сталинской эры, Дворец советов, на макушке коего под облаками должен маячить, знай наших, вождь мирового пролетариата, с гордо поднятой ввысь рукой. По замыслу архитекторов в лысой его башке должен был поместиться чуть-ли не большой театр. Теперь стальной хребет резали на куски, из которых варили противотанковые ежи, растаскивая их по Москве и перегораживая ими улицы и площади. Немец под самой Москвой. Что там в Дорохове? Жива ли мама? Симка исчез.

Тети Граниных сыновей, всех трех — на фронт. Коленка пока дома. Москву бомбят. Я ищу работу. Кто не работает, тот не ест. Принцип социализма. Как ни привыкли мы ничему не удивляться во всей нашей системе «ЧЖ», но иногда диву даешься, до чего же все через...

В окруженной Москве, где еле-еле сдерживают натиск врага, в Москве, которую бомбят, приступили к реставрации и реконструкции Большого театра. Корин расписывает заново плафон зала, золотят все, что надо золотить, отливают заново бронзу, обивают плюшем и бархатом кресла, чистят коней на фасаде с возницей, шлифуют хрусталь для люстр. Словно нет войны, не бомбят Москву, не гибнет народ в ополченческих рядах, посланных на убой безоружными, чтобы заткнуть своими телами дзоты. Словно театр готовят к торжествам, на которых «наш гений» облобызается с другом своим вчерашним, с коим под фанфары так недавно подписали пакт о ненападении и дружбе! Ныне «бесноватым Фюрером»! Я среди тех, кто вдохновенно трудится над реставрацией. Я слесарь. С бригадой, таких же как я, одеваем в стальные леса зал, в упор до плафона. Над одним рабочим — два соглядатая. Я по глупости своей сперва не понял системы реставрации, и меня возмущало, что два лба, им бы на фронт, ходят за мной по пятам. Я по делу туда — и они за мной, я сюда — и они тут как тут.

— Эй вы, лодыри, — свистнул я им, — какого хрена баклуши бьете, работать надо, а не глазеть!

Меня толкнул в бок напарник:

— Да ты что, с ума сошел, ты знаешь кто это?

— Нет, а кто?

— То-то ж, это гебисты, здание-то правительственное! Охрана, чтобы мы чего не подложили куда, случай.

— Этой твари на фронте место.

— Да их там полно, в бой гонят наганами, а побежишь, тебе ж и крышка, застрелят тут же. Во! Как Родину защищают!

Добрались мы с лесами и до муз, настелили щиты, легли на них на спину, художнички, и пошли шуровать кистями, по их полам, ножкам, рукам с лирами и другими атрибутами искусств.

Зима ранняя, холодная. С весны Ванек дров запас, топиться пока было чем, а сам на фронт, там и остался. Идут жестокие бои под Москвой. Сибирские дивизии жмут немца, все дальше и дальше от Москвы откатывается бесноватый. Загнали за Можай, поперли дальше. Дорохово. Ни поездом, ни машиной. Путь закрыт. Как-то вечером винтовые шаги, стук в дверь. Незнакомый человек. «Я от Татьяны Александровны, только что из Дорохова, верней из Вереи. Позвольте представиться, Юша Самарин. Сын того самого Самарина, прокурора святейшего синода, друга Вашего дедушки, Александра Алексеевича Хвостова.»

Коленька растаял, а мне сам Бог велел растаять, так как Юша привез весть о маме. Юша каким-то образом добрался до Вереи, где, по его словам, застряла его тетушка Мамонтова, там он встретил маму, которая просила меня приехать и помочь ей выбраться в Москву. Дом в Дорохове сгорел, мама еле жива, но крепка духом. Мы пили чай, Юша без устали что-то рассказывал, он обожает Вагнера, Коленька тоже, в общем, нашли друг друга. Ах, как мило, ах, какая прелесть этот Юша! Юша ушел, пообещавши заходить. На меня он тоже произвел приятное впечатление, тем более, что он от мамы. Высокий, стройный, русые волосы, такая же бородка, благородное лицо. Мать его — «Девочка с персиками» Серова. В общем, свой человек, вполне свой. На следующий день я пошел в контору по реставрации ГАБТа к моему хорошему знакомому, Николаю Валерьяновичу Кириллову, большому другу тети Оли Поповой. Жена Николая Валериановича была дочерью садовника в имении его отца, брата моего дедушки Хвостова. Садовник умер, за ним и жена, остались малые дети; одну девочку взяли Хвостовы в свой дом и воспитывали ее наравне со своими, вырастив, выдали замуж за Николая Валериановича. Он-то меня и устроил в ГАБТ. Я все ему рассказал про маму и просил помочь мне взять за свой счет несколько дней, чтобы

съездить за мамой. Ни он, ни я не сообразили, что быть в оккупации преступление, это в мозги не укладывалось, в мозги нормальных людей, что можно винить миллионы советских граждан в том, что армия не могла защищать их и сама драпала, будучи абсолютно неготовой к защите страны, оставляя всех на произвол судьбы, теперь же ты виноват, что оказался в оккупации. По совету Николая Валериановича я написал заявление, объясняя суть дела. Главный инженер Щелкан наложил резолюцию: «Не возражаю».

На следующее утро меня увольняют с работы без объяснения, а спустя несколько дней вызывают в военкомат. Иду.

– Документы!

– Вот, пожалуйста.

– На комиссию!

Поверхностный осмотр. На статью болезни – ноль внимания.

– Годен!

– Куда годен?

– На фронт годны, руки, ноги целы, следующий!

Нет уж, это хрен, меня так просто не возьмешь! Следующий – это я. Я требую комиссию:

– Смотрите, в освобождении четко написана болезнь. У меня руки, ноги есть, смотрите чего нет!

Заставил посмотреть – не отмахнешься. Билет оставляют у себя, выдают справку «оставлен до особого», катись.

Кто не работает, тот не ест! Из театра вышибли, билет отняли, а жить как прикажете?! Обращаются как со скотом, но ведь хлеб-то по карточкам. Скот-то и то кормить надо! Я к Николаю Валериановичу.

– Тебя, – говорит, – из-за матери выгнали и билет отобрали, чтобы ты за ней ехать не смог.

– Ну, хорошо, а как мне жить дальше, карточек-то нет.

– Подожди, что-то надо придумать. Приди завтра.

Назавтра дает он мне бумажку на цементно-бетонный завод, готовящий бетон для восстановления разбомбленного здания ЦК, берут слесарем на эстакаду. Какая разница кем, лишь бы была карточка и мизерные гроши. Не до жиру, быть бы живу. Бетон в ЦК давай, давай в три смены, сутками не вылазишь с эстакады, а за то

с барского плеча — каша гречневая да суп мясной, горячий и бесплатно, бетон! Давай. Давай, дремлешь под шум бегущей ленты с песком! Давай! Давай!

Весна 42-го года. Неожиданно в дверях мама.

— Мама, мамочка, да как же ты?

— В Можайск вошли немцы. В Дорохове линия обороны. Бьют немцы артиллерией, бомбят с воздуха. Я в вырытом мной и соседями окопе. Дом снесло снарядом. Спаслась только одна икона, которую я взяла в окоп и то, что на мне было. Скоро пошли немецкие танки и мотопехота, еще с вечера наши без боя ушли. Когда все стихло, немцы покатались к Москве, я с иконой в руках пошла в Верею, с надеждой, что там уцелел дом и батюшка. Слава Богу все и все уцелели. Там все вместе и отсиделись. Когда наши подходили, батюшка ушел, с надеждой пробраться в Львов, на свою родину. Остаться он не мог, сам понимаешь, 25 000 за голову. Каким-то чудом там очутился Юша, и я с ним передала, что жива, двинуться не могу. Местные власти отобрали все документы, чтобы никто никуда, проверка за проверкой. Почему в оккупацию попала? Почему с армией не отступала? Смешно, армия-то не шла, а бежала, мы-то тут причем. А я сама Дороховская, дом сгорел, куда деваться? В оккупации батюшка сидел в затворе, как и раньше. Ночами выходил во двор подышать свежим воздухом, поэтому местные о его существовании и не подозревали. Немцы знали, что он священник, и с уважением к нему относились и тоже не болтали, поэтому на меня не было никаких доносов. С немцами я не общалась. Батюшка служил, как всегда, а мы молились. Во Львов он ушел раньше, чем немцы отступить стали. Я поняла, что ты приехать по каким-то причинам не можешь, тогда я обратилась к властям с просьбой выдать мне документы, чтобы уехать к сыну. Наотрез отказали. Подождав, я написала заявление, в котором описывала свое бедственное положение, что один сын на фронте, другой инвалид, прошу выдать мне документы, чтобы уехать к сыну. Пошла, стал он на меня орать:

«Мне наплевать на твоих сыновей и на тебя тоже». А я ему: «Напишите мне на моем заявлении все, что вы мне только что сказали, я его отправлю Сталину». Он опешил: «Ну уж, так и Сталину!» «Да, да, Сталину, пишите, пишите». Тогда он встал, подошел

к сейфу, нашел мой паспорт и отдал его мне. «Поезжай!» Вот я на разных машинах и добралась до вас.

— А что ты думаешь дальше делать?

— Я хочу поехать к Олечке в Абрамцево и там у нее устроиться на работу, малость передохнув.

Так она и поступила, но, приехав, слегла и долго болела. Тем временем к нам частенько заглядывает Юша, по-свойски. Разговоры разные, взглядов своих никто не скрывает, говорят, что думают.

Однажды пришла мне повестка из военкомата. Явиться такого-то во столько-то, имея с собой нательное белье и продукты на двое суток. Странная, очень странная повестка. У меня еще было время, и я поехал в Абрамцево:

— Опять приехал прощаться, мамочка, снова повестка, да какая-то непонятная.

Читаем все, стараемся понять, куда, зачем? А мама мне и говорит:

— Если на фронт, то старшиной, все же лучше, чем рядовым!

— Безусловно, я хорошо знаю, что такое солдат, да еще на фронте. Но в данном случае, я уверен, что ко мне привязалось ГБ. Смешно призывать заведомо непригодного для фронта солдата, у них же есть все данные о моей болезни, а они полностью игнорируют свои же законы и заключения медкомиссии. Отобрав у меня освобождение, оставив «до особого», они сейчас забирают меня с вещами, минуя медкомиссию, которую я по их же закону обязан пройти.

— А ты ее требуй!

— Конечно, тем более, что любая медкомиссия меня начисто забракует, и они, зная это, стремятся ее обойти, поэтому я уверен, что тут кто-то во мне лично заинтересован, а кто кроме ГБ, военкомату я напрочь не нужен.

— И где ты мог попасть к ним на заметку?

— Ну, на это ответить трудно, может в Большом театре, может, когда узнали, что ты была в оккупации, сказать трудно. Пришло время еще раз нам с тобой прощаться, но так просто я им не дамся!

Поцеловавшись и перекрестившись, я уехал. Завтра с вещами. С вещами, так с вещами. Утро вечера мудреней. Я привык сегодня не решать тех задач, которые встанут передо мной завтра. Завтра само покажет себя и совсем иначе, чем я сегодня о нем думаю.



С утра на завтра я был внутренне готов к предстоящему дню. В военкомат со мной пошел Коленька, на всякий случай, чтобы знать куда я исчезну. В военкомате, как всегда, полно народу. Я явился в назначенную комнату. Доложил, что такой-то прибыл и отдал повестку. «Хорошо, ждите!» Я не стал возникать и чего-то требовать, решив сперва понять, что к чему. Ждем мы с Коленькой, ждем час, ждем второй, ждут многие. Наконец нас всех загнали в зал и велели сесть. Явился полковник и повел с нами такую речь:

«Товарищи бойцы, вы здесь собраны для того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной! Все вы завтра будете выброшены на парашютах в тыл врага, где должны будете соединиться с партизанскими соединениями, чтобы бить врага в его же тылу. Поняли? Поднимите руки, кто из вас прыгал с парашютом!»

Ни одной руки. Полковник малость смутился, но бодрым голосом произнес:

— Ничего, товарищи, прыгнете! Родина от вас это требует.

Настал момент мне выяснить свои отношения с полковником, Родиной, которая требует прыгать от тех, кто никогда не прыгал и посылает в тыл врага заведомо к этому не подготовленных, а значит на верную гибель. В подобных трудных моментах я полностью отдаюсь импульсу, я знаю, что надо действовать, а как? Подсказывает что-то внутри, подсознательно и, чаще всего, верно. Я подхожу к полковнику и спрашиваю его:

— Товарищ полковник, а как я буду прыгать: солдатом или старшиной?

— Как старшиной?

— Так, старшиной. Я старшина, и вы это должны знать, потому что, демобилизовавшись по болезни из армии, я в ваш военкомат сдал все документы, по которым ясно видно, что я — старшина.

Полковник опешил.

Я вышел, подсел к Коленьке и шепотом рассказал ему все. Он поднял брови и покачал головой. Сидим и ждем, ждем и ждем. Наконец меня вызвали к полковнику.

— Распишитесь.

Читаю: «Арцыбушев А. П. находится под следствием военной прокуратуры г. Москвы без права выезда». Я расписался.

— Дайте мне на руки этот документ.

— Зачем он вам?

— Я же не могу в военное время быть совсем без всяких документов, паспорт у вас, воинский билет тоже у вас, меня ж первый патруль заберет!

— Да! Хорошо, подождите там.

Наконец мне вынесли бумажку, подобную той, которую я написал в кабинете. Мы вышли на улицу. Мама подала мысль — лучше старшиной. Я ее воплотил в реальность и попал под следствие военной прокуратуры, да чуть не посадили. Требовать комиссии в тот момент было бессмысленно, интуиция подсказала только этот вариант, значит, так было надо, другого пути не было. Белый билет мне выдали в Серпуховском военкомате официально, я его не подделывал, не купил. Врачебное заключение тоже, его может подтвердить любая медкомиссия. Глазное дно мертво, как сказал профессор. Прокуратура не в силах найти какого бы то ни было незаконного действия с моей стороны. Серпуховский военком сам прохлопал ушами, не раскрыв мой билет, бросив его в угол комнаты. С него пусть и спрашивают. Мое дело маленькое, мне дали — я взял, считая это законным документом, а когда выяснилось, что я должен был прыгать как солдат, то я, естественно, заявил о себе, что я старшина. Если бы я чувствовал свою вину, то я бы молчал и прыгал солдатом. Логично?

— Вполне, — сказал Коленька, — вполне.

Да, а жить-то как? Я под следствием, безработный и бездокументный. С этой «грамотой» меня никто не возьмет на работу. Карточек нет, нет и хлеба. Очень скоро Коленьку призвали в армию. Он был определен в штаб армии Конева, переводчиком в разведотдел. Очень скоро я получил повестку явиться в прокуратуру. Началось следствие. Меня там встретили первоначально как матерого дезертира. Следователь пытался, ничего не выяснив, брать меня на «абордаж», орать, грозить, стучать кулаками, но не бить. Сознаться!!! Я очень четко, очень внятно рассказал ему подробнейшим образом, как мне выдали белый билет. Криминала с моей стороны никакого не было, сознаваться мне не в чем, вы сами в этом сможете убедиться, наведя справки. Далее я заявил следователю, что я живой человек и хочу есть, а есть мне нечего, так как с этой филькиной грамотой я не могу устроиться на работу, что

он пропустил мимо ушей. Он отпустил меня и сказал, что вызовет. Мама болеет и еще не в силах работать, висит фактически на пайке тети Оли и Аннушки, я питаюсь водой и иногда чаем у знакомых, отнимая у них часть их пайка. Положение безвыходное. Следствие идет очень медленно, не торопятся. Им некуда спешить. Иду я по двору своего дома, навстречу управдом, знакомый мне Травкин.

– Слушай, Миша, вам не нужен слесарь, водопроводчик, электрик, дворник, кто угодно?

– Мне нет, а вот КСКа №6 очень нужны электромонтеры.

– А где это?

– Метро «Красносельская», за ним в переулок.

Окрыленный, я помчался туда. Травкин мне сказал фамилию начальника. Я прямым ходом к нему:

– Привет!

– Привет.

– Вам не нужен электромонтер?

– О как нужен! – показав рукой на горло, сказал Усачев. – Во, как! Какой у тебя разряд?

– Шестой, – не задумываясь, ответил я.

– Иди, оформляйся! Аня, Аня, – крикнул он секретарше, – оформи срочно.

Анечка, молоденькая Анечка, скроив глазки, подала мне анкету.

– Садитесь вон там и заполняйте. Фамилия, и., о., так, так, так. Паспорт серия... номер... Глядя в потолок, я четко все написал, как говорится, «от фонаря». Заполнив анкету, подойдя к Анечке, я соорудил ей очаровательные глазки и в ответ получил не менее очаровательную улыбку. Пока она пробежала глазками мою дивную анкету, я, присев рядом на стул, нечаянно, очень дружески, положил ей руку на коленку. Коленка осталась на месте, рука тоже. Анечка заправила в машинку лист бумаги и затарахтела на клавишах приказ о моем приеме на работу в КСКа №6 Метростроя на должность электромонтера шестого разряда с окладом в 120 руб. Таким образом, Анечка Евраскина спасла меня от голодной смерти.

На следующий день я должен выйти на работу в подчинение старшего электрика Дмитрия Тихоновича Наумкина. Все, что я

знал и умел в электронауке, это вывернуть перегоревшую пробку, сделать жучок и ввернуть обратно, думается мне, что для шестого разряда это маловато. Кость брошена! Игра началась!

Первым делом я пошел на рынок и купил за пятьсот рублей бутылку водки. Французская булочка; семикопеечная, в то время на рынке стоила 80 руб.

Наутро пришел я к Михаилу Сергеевичу Усачеву в кабинет, где ждал меня мой шеф:

— А вот тебе, Тихоныч, в подмогу наш новый электромонтер шестого разряда, парень опытный и знающий. Верно я говорю?

— Верно, верно. Валяйте!

Мы вышли. Анечка за машинкой, глазки сверкают.

— Карточку возьмите, Алексей Петрович, — играючи, сказала она, протягивая мне куски хлеба, масла, сахара и мяса на целый месяц.

Мы вышли на улицу.

— Дмитрий Тихоныч, вы далеко отсюда живете?

— Да нет, на Колодезной, а что?

— Да есть у меня в кармане бутылочка, смочить полагается наше с вами знакомство.

— Оно верно, бутылочка сейчас на вес золота, а уж коль она есть, то и выпить не грешно и кстати.

— Закусить есть чем? — спросил я, ощущая сильный голод в брюхе.

— Ну а как же без закуски, найдется, было бы что выпить.

— Пошли?

— Пошли.

Барак на Колодезной, опрятная комната, вся в кружевах и салфеточках. Войдя, я поставил на стол бутылку водки, а Тихоныч хлопотал на общей кухне. Оттуда неслись ароматы жареной картошки и вроде как тушенки. Хлеб, лафетники, вилки, квашеная капуста и соленый огурец. Все как положено. Сковорода румяной жареной картошки с тушенкой. Я не ошибся. Сели. Дмитрий Тихонович старше меня лет на семь, славный русский малый, открытое лицо, добрые глаза, а сейчас это очень важно. Лафетники налиты. Я взял свой и, подняв его над столом, сказал:

— Дмитрич! Давай выпьем за наше знакомство и, главное, за нашу дружбу, которая мне сейчас крайне необходима. Давай выпьем, а потом я тебе все расскажу по порядку.

Он доверчиво и как-то по-детски посмотрел мне в лицо, мы хлопнули, крякнули и вилки заработали, в особенности моя, так как голоден я был по-страшному, Митрич это заметил и пододвинул ближе сковороду.

— Ешь, не стесняйся, ты брат голоден.

Водка разлилась, обжигая желудок, и мгновенно, горячей струей пошла по жилам.

— Митрич, слушай меня внимательно, — я налил еще по лафетнику, выпив по второй, я начал. Я рассказал ему все начисто, о всех моих недоразумениях с прокуратурой, голодовке и невозможности из-за отсутствия документов устроиться на работу, как я попал в их контору, как надул Анечку, а самое главное, что в электрике я умею ввернуть и вывернуть пробки. Все это он выслушал с состраданием на лице, глаза его были влажные.

— Сволочи, — сказал он в сердцах.

— Митрич, я уверен в том, что если ты недели две-три не отпустишь меня от себя, все мне покажешь, то наука эта не хитрая, я ее быстро пойму и освою.

— Конечно, слов нет, я тебя так натаскаю, за милую душу, да раз можно человека бросить, ты ешь, я еще нажарю, — засуетился он.

От сердца отлегло. На душе воцарилась пьяная благодать, спокойная. Рядом сидел простой русский парень с доброй душой, все понявший с полуслова, как раб раба.

Мы долго еще сидели, пили, а я все ел и ел. Наша дружба длилась целых три года, пока я не ушел из КСК №6. Скоро, очень скоро я стал заправским электромонтером, которого сделал из меня Митрич.

Прокуратура теребила меня своим домогательством, но я был один, против меня не было никаких улик, но не так-то легко следствию расписаться в своем бессилии. Я молчал о том, что я работаю, а меня об этом и не спрашивали, им на меня было, с человеческой точки зрения, наплевать.

Однажды пришел я в контору. Анечка таинственно подзывает меня:

— Иди сюда. Сядь.

Я сел рядом.

— Послушай, что у тебя с прокуратурой?

– А что?

– Да тут звонили Усачеву из военной, спрашивали, как ты к нам на работу без документов оформился и чтобы тебя немедля уволили.

– А что Усачев?

А Усачев им: «Ваши дела с Арцыбушевым – это ваши дела, если он виноват, вы и разбирайтесь, ни с какой работы я его не уволю и приказывайте там у себя, а не у меня, я вам не подчиняюсь».

Послушай, – спросила она, – а как это ты, они говорят, без документов оформился, я анкету твою посмотрела, в ней номер паспорта и серия, все есть.

– Аннушка, да это ж все липа, с потолка, а ты, голубчик, так увлеклась, что анкету взяла, а паспорт и не спросила.

– Обманщик! Ну и хорошо, что не спросила, тогда тебя вообще и не было бы, а это плохо. Что бы мы делали без тебя?

– Погибли бы?!

– Это точно!

Я уже давно работал самостоятельно. КСК №6 Метростроя ведало ремонтами и обслуживанием ведомственных жилых зданий, больших и малых, вплоть до бараков. Яковлевский пер., наш дом и прилегающие дома относились к Метрострою, меня перевели на работу по этим домам, я провел в комнату ведомственный телефон и обслуживал дома по вызову, круглосуточно, часто приходилось выезжать по аварийным случаям, помогая Митричу. Много раз трясло меня током, несколько раз прилипал, но Бог миловал, жив оставался. Часто, даже очень, повадился ко мне Юша. Он и я не стеснялись в выражениях в смысле «папы». Он знал о моих хождениях в прокуратуру, но в нужном объеме, не больше. Как-то он завел со мной довольно странный разговор. Смысл его заключался в том, что существует очень мощная тайная организация, в которую, по его словам, входят высокие чины, и что время «обожемого» сочтено и всех иже с ним, и что хорошо бы мне войти в нее. «Такие, как ты, там, вернее нам, очень нужны». Он сам в ней, и мною, с его слов, очень интересуются. Я как-то насторожился, на мгновение, и ответил, что политика меня абсолютно не интересует, а если что и интересует, сказал я шутя, то в виде красивых девушек. Он рассмеялся. На этот раз разговор на эту тему не продолжался.

Но вскоре он опять с некой настойчивостью стал меня уговаривать. Дескать, там он обо мне говорил, и они знают, что я тебе по-дружески раскрыл нашу общую тайну. Он ставил вопрос так, что вроде мне и деться некуда и отказываться не имею права, так как мне доверена тайна. Я ни в чем не подозревал его, вполне возможно, что все, что он говорит, правда, но мне всегда политика была чужда по моей натуре и противна по убеждению. Такую свою позицию я ему и высказал, в надежде, что он от меня отвяжется. На этот раз он отвязлся, но ненадолго. Его приходы ко мне становились мучительно неприятны. В один из них он утащил меня в какую-то явно явочную квартиру, соблазнив бутылочкой водки, в то время страшно дефицитной. Это был деревянный домик на Ярославской улице, я, не подозревая ничего, пошел. Мы прекрасно выпили бутылочку под хорошую закуску, не соответствующую тем голодным временам. Под нее он поведал мне, что его подпольная кличка «Алексеев» и что его друзья считают меня своим единомышленником.

— Я ваш единомышленник только в оценке прекрасной закуски и выпитой водочки, больше, пожалуй, ни в чем.

— Этого для нас мало!

— Большее вы вряд ли от меня получите.

Все время, находясь в этом домике, меня не покидало ощущение, что мы не одни, хотя он сам открыл замок, когда мы вошли. Вечером я решил поехать к Леночке с Ясенькой, муромская дружба с которыми продолжалась все эти годы. Мне не нравилась навязчивость Юши, они же хорошо его знали, и мне необходимо было с ними поделиться и посоветоваться, как мне от него отвяжаться.

Когда я им все подробно рассказал, Леночка очень встревожилась и сказала:

— Как же я тебя раньше не предупредила, Юша Самарин — сексот.

Эти слова меня поразили, как гром! Сексот? Юша Самарин — сексот!? Тут все, что он мне говорил, на чем настаивал, приобрело для меня совершенно другой смысл. Он меня провоцировал, мерзавец! Мне были известны дома и семьи, в которых он бывает, и в которых его принимают, как своего, в то время как он — сексот! В те времена, да и во все последующие, даже до наших дней, сексот

опаснее лютого врага, опасней чумы, омерзительней всякой гадины. Юша Самарин, родной сын того, неподкупного, прямого и честного Самарина, друга моего деда Хвостова, мы все ему доверяли, как своему, как честному, своему человеку. Юша Самарин – сексот!

– Да ты знаешь, что он посадил мужа своей родной сестры, Чернышова Николая Сергеевича, свою двоюродную сестру, да как же я тебя не предупредила, – бегая по комнате, удручалась Леночка. – Хорошо, что ты давал ему отпор, как хорошо, что ты не давал ему повода.

– Леночка, я это делал из-за осторожности. Я отвечал ему вполне искренне, меня политические авантюры не волнуют, любая политика – это насилие в борьбе за власть, а сколько надо подлости, чтоб ее удержать, лжи, клеветы, крови, нет, это не моя стихия и все это я ему высказывал, а он упорно гнул свое.

– Слава Богу, что это так, старайся мягко разорвать с ним отношения.

– Да, да, конечно! – Но меня не оставляла мысль, что те, у кого он бывает, не подозревают, что он – провокатор!

Простившись, я побежал по адресам, меня в этих домах знали, это были наши общие знакомые. За вечер я обежал несколько семей, я нигде не задерживался. Остерегайтесь, Юша Самарин – провокатор!.. Юша Самарин – провокатор!.. Юша Самарин – провокатор!.. Сексот... Сексот! Остерегайтесь!.. Остерегайтесь!

Домой я вернулся усталым от напряжения, но довольным, что всех предупредил. Какая сволочь! Я тогда еще не знал, что, предупреждая, я предупредил и тех, кто были подобны ему – такие же сволочи. Это скоро дало о себе знать.

Юша исчез из моего поля зрения, он больше не появлялся, но у дома на Яковлевском появились двое. Эти двое следили за мной и ходили по пятам. Поняв это, я стал выходить через черный ход. Ухожу, в окошко вижу – дежурят, прихожу – стоят. «Ага, – думаю, – стойте, стойте». Спустя несколько дней, потеряв меня из вида, они неожиданно заявили ко мне в комнату. Дверь была не закрыта. Входят два противных типа, нагло садятся и говорят:

- Мы к вам от известного вам Алексеева.
- Я такого не имею чести знать.
- А Юшу знаете?



- Знаю, но он же Самарин, а не Алексеев!
  - Это все одно.
  - Для Вас может быть, а для меня нет.
  - Так вот, Самарин требует встречи с Вами.
  - Мне с ним не о чем говорить!
  - Зато ему есть о чем с вами говорить.
  - Передайте ему, что я с ним встречаться не желаю!
  - Он просил Вам передать, что если Вы откажетесь с ним встречаться, то Вы будете убиты!
  - Вон отсюда! Сволочи!
- Я подошел к двери и открыл ее.
- Вон, провокаторы!
  - Вы рискуете своей жизнью, — выходя, сказали они.
  - Чеси, чеси, да не споткнись, лестница винтовая!
- Они выкатились, я шелкнул ключом.

В то время, когда разыгрывались все эти детективы, мама уже лежала в клинике МОКИ. Перед этим она приехала в Москву и окончательно слегла у меня на Яковлевском. Я ничего ей не рассказывал о Юше, и всех этих дел она не знала. Я разрывался между работой, больной мамой, лежащей дома, делал ей уколы, часто приходила Леночка помочь мне, а маме становилось все хуже и хуже, в конце концов, нам с Леночкой удалось положить ее в клинику. К великому стыду своему я облегченно вздохнул. Во искупление своей вины перед мамой, я ежедневно в обеденный перерыв ездил к ней в клинику, а так как я по работе не был четко связан с временем, то час спокойно мог побыть с ней. Она лежала в общей палате, меня в ней все знали, знала и нянечка, сидевшая в раздевалке, и по распоряжению врача ежедневно пропускала меня в палату, давая халат. В клинике маме становилось лучше и за час, что я у нее сидел, мы о многом откровенно говорили, но не о Самарине. По выходным дням я у нее не бывал, а ездил к тете Оле в Абрамцево. Эти «гаврики» куда-то исчезли, а, может, и следили за мной, но не так нагло. Думаю, что следили, так как я несколько дней не выходил из дома и не ездил к маме из-за огромного флюса, раздувшего мне щеку.

У меня была и осталась до сих пор привычка на ночь не закрывать входную дверь. Однажды ночью просыпаюсь я от того, что

чувствую, что у постели кто-то стоит. Маскировочные шторы были не спущены, в комнате полумрак, у кровати женская фигура, стоящая надо мной.

— Что Вам надо?

— Я сестра из МОКИ, ваша мать не доживет, возможно, до утра, у нее отек легких. Я пришла вас предупредить.

Я вскочил с постели, женщина повернулась и ушла. Ее лица я не разглядел. Заснуть больше я не мог и, дождавшись утра, рванул в клинику ни свет, ни заря. Рано утром я был уже в палате, мама не может понять, почему я так рано примчался, состояние ее за те дни, что я не был, не ухудшилось, я сразу понял, что ночью меня снова кто-то провоцировал. Я снова не стал маму волновать и ничего ей не сказал, а поведал про флюс и мои волнения и что я долго не был у нее.

Успокоившись, я уехал домой, а дома меня ждала встреча с теми же субъектами, ожидавшими меня в подъезде. Они преградили мне дорогу к двери. В подъезде никого не было, что-то острое кольнуло мне в спину. Один стоял впереди, другой сзади.

— Мы тебя сейчас прирежем, если ты не назначишь встречу с Самариным.

Деваться было некуда.

— Хорошо, — сказал я, — завтра в пять вечера в сквере, против театра Красной армии. Острое отошло от спины, я остался один у дверей. После работы я поехал к тете Гране, рассказав коротко суть дела, я попросил дядю Костю, ее мужа, завтра к пяти быть в сквере против театра, не подходя ко мне, следить, что случится со мной, на всякий случай, или помочь, или просто знать. Я сказал ему, что сейчас я поеду к Маргарите Анатольевне с этой же просьбой, тогда, быть может, они вдвоем смогут прогуливаться где-то рядом, пока будет происходить наша встреча, чтобы я чувствовал себя спокойней. Дядя Костя и Маргаритушка с волнением и готовностью согласились на мою просьбу.

На следующий день к пяти я был на месте, мои секунданты прогуливались, а я, не здороваясь с Самариным, сел на лавочку.

— В чем дело? Что за шантаж?

— Дело гораздо серьезней, чем вы думаете, — ответил он. — Я, доверяя вам, открыл вам тайну, будучи уверен в вас. Вы отказались

быть с нами, поэтому мы вынуждены или убрать вас с нашей дороги, или еще раз предложить вам быть с нами. Поймите, это вопрос вашей жизни, если вы ею не дорожите, то пожалейте вашу мать, так как мы и ее уберем.

— А она тут причем?

— Мы уберем всех, кто мог от вас знать об организации.

— Я никому ничего не рассказывал, так как считал все это чистой провокацией.

— Напрасно вы так думаете, мне вас очень жалко, и я хочу всеми силами помочь вам. Вы можете фиктивно дать согласие, а там дальше я все беру на себя, я скажу, что вы согласны, и они успокоятся, вам это будет стоить одного хлебного талона, который вы оторвете от вашей карточки, это будет сигнал, что вы согласны.

— Послушайте, вот по вашим штанам ползет божья коровка, — он посмотрел на нее. — Если вы мне скажете стряхнуть ее с вас, и тем самым это послужит сигналом моего «да», то я этого не сделаю.

В это время подошел трамвай и я на ходу прыгнул в него. Во все время нашего разговора мимо нас прогуливалась под руку парочка: дядя Костя и Маргаритушка. Был август. Пятнадцатого, в субботу, я долго сидел у мамы, она поправилась, и ее хотели на днях выписать и послать в санаторий в Ховрино. В этот день я куда не торопился, мама среди разговора вдруг мне говорит:

— Алешенька, если я умру, вместо меня тебе матерью будет Леночка. Когда в твоей жизни будут трудные моменты духовного плана, или тупики, из которых ты не находишь выхода, иди к ней, все, что она тебе скажет, считай, что это сказала тебе я.

Среди разных тем разговора этого дня возникла тема моей жизни.

— Ох, как бы я хотела, чтобы ты пошел в монастырь, это мечта всей моей жизни, Алешенька, как хорошо было бы, если бы ты пошел в монастырь.

— Мамочка, мне ль с моими страстями идти в монастырь, мне ль с моей кипящей кровью одевать на себя мантию, да кроме греха из этого ничего не получится. Ведь там обеты и среди них безбрачие, ты ж сама знаешь, какой страстной натурой ты меня оделила, ты тогда старалась меня уберечь от молоденькой сестры, сказав мне ненароком, что у нее сифилис, не зная, что я

с пятнадцати лет познал, что такое женщина. Зачем, скажи мне, брать на себя то, что я заведомо не смогу выполнить, это же двойной грех будет.

– Тогда женись на Тоне. На дочери Матроны Фроловны, она хоть верующая, не то что твоя татарочка Оля.

Я молчал, Тоня, как девушка была не в моем вкусе, меня к ней не тянуло ни сердце, ни страсть. Я бок о бок прожил с ней в Турове, и ни разу у меня не было в мыслях тронуть ее, хотя я прекрасно видел, что она этого терпеливо ждет. Я поэтому молчал, не возражая, не протестуя. Мамочка знала, что по воскресеньям я у нее не бывал, тут она стала просить меня не ездить за город, а прийти к ней.

– Мне так хочется, чтоб ты пришел завтра, мне так хорошо, когда ты тут, рядом.

– Приду, обязательно приду.

Еще о многом поговорив, мы расстались до завтра.

В воскресенье 16 августа я встал рано, съездил на рынок и купил там клубники для мамы, захотелось ее чем-то побаловать. Часам к десяти я вышел из трамвая и пошел пешком к клинике. В вестибюле, на вешалке, давно знакомая мне нянечка. Она как-то странно смотрит на меня и не дает мне халата.

– Нянечка, дай мне халат-то.

– А... Матушка... Ваша по-ме-р-ла!

– Как?

– Да так, не так давно.

Я без халата через три ступеньки влетел на этаж в палату. Мамина кровать пуста. Я остановился в растерянности. Соседи мамины по палате, любившие маму и знавшие меня, смотрят сочувственно.

– Недавно, все утро ждала, скоро Алешенька придет, а потом легла, повернулась к стенке и вроде задремала. Приходит сестра укол ей делать, окликает, а она молчит, за плечо ее тронула. «Спит крепко», – говорим сестре. Та ее за руку, а пульса нет. Побежала за доктором, приходят, слушают сердце, а оно молчит – скончалась тихо, заснувши. А все утро ждала Вас: «Сейчас придет!».

Значит вчера был наш последний день, последний разговор и сколько было всего сказано и завещано, словно знала, словно чувствовала. Хотела, чтобы я был рядом в последнюю ее минуту, опоздал на малость какую-то. Вот и мамы не стало, а было ей всего

сорок семь лет. Вся жизнь ее, которую я знал, которую видел и чувствовал, в которой я приносил ей так много: в детстве – радости, в Муроме – страданий, в Москве – волнений, – была наполнена святой верой, мужеством и тайными подвигами во имя добра и спасения многих и служению катакомбной церкви, не шадя себя и не думая о себе. На Преображение Господне мы: я, Леночка и тетька Оля – хоронили ее на Немецком кладбище рядом с Ольгой Петровной, Коленькиной мамой. Она лежала в простом гробу, без цветов, вся в черном, спокойная и твердая, умиротворенная и негибаемая, держа в руках свой постригальный крест, крест терпенья, крест мужества, крест страданий, который достойно пронесла она на всем пути ее жизненной Голгофы. «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», – пели мы, когда мамочку опускали в могилу, не на вечный покой, а до всеобщего Воскресения. Для меня осталось неразгаданной тайной, о которой я даже не хочу думать, чтобы не оклеветать ее смерть, во исполнение угроз, сказанных мне в сквере, или Бог взял ее душу, достаточно очищенную страданиями, выпавшими на ее долю в жизни.

#### **В ТЕРПЕНИИ ВАШЕМ, СТЯЖИТИ ДУШИ ВАШИ!**

Утром, когда я на Яковлевском собирался уходить в морг за маминым телом, послышались шаги по скрипучей лестнице, и в дверь, всегда открытую, вошел Юша.

– Соболезную, очень соболезную, – сказал он.

К моему теперешнему сожалению я ударил его по роже и очень крепко, повернул его за плечи и крикнул: «Вон, вон пошел».

С тех пор он исчез, до 1946 года.

В 1946 году следователь на первых же допросах достал толстую папку и стал из нее зачитывать мне все мои разговоры с этим их сексотом. Но об этом после, когда придет время мне сесть и надолго.

Тогда я порадовался, что мамочка вовремя ушла в мир, в котором нет ни печалей, ни вздыханий, а жизнь бесконечная. Туда, в тот мир давно ушел и Юша, которому я все давно простил, а пишу о нем не ради зла или мести, а ради правды описуемых мною событий. Не вмени ему, Господи, греха сего. Слаб человек. А таких как он, «из бывших», трусливых и слабых, ГБ ловило и использовало.

После маминой смерти я несколько дней прожил в Хотькове на даче Некрасовых. Татьяна Михайловна и ее муж Саша, как его тогда все звали, Некрасовы были добрыми друзьями моей мамы. Где-то их древние дворянские корни шли рядом и переплетались между собой, как это часто бывало в запутанных ветвях генеалогических джунглей. Хотьково и Абрамцево недалеко друг от друга; бывая часто в Абрамцеве, бывал я и в Хотькове на их даче, где всегда встречал радушный прием. Вся атмосфера их квартиры в Москве и на даче в Хотькове напоминала мне дворянское гнездо, сильно потрепанное бурями, но сохранившее свою прелесть и близкий моему сердцу мир и дух. После смерти мамы Некрасовы с особым теплом пригласили меня на несколько дней к себе на дачу. Мама и Татьяна Михайловна, обе принадлежали и активно помогали катакомбной Церкви. У них на даче, на втором этаже, тайно жил, служил и прятался от преследования один из тех, кого звали «тетя»!

Через несколько дней после похорон мамы у них на втором этаже был совершен чин погребения, после которого я остался у них на несколько дней. Необходимо признаться, что я тайно, как я думал тогда, был влюблен в медноволосую, краснощекую хохотушку Машеньку, среднюю дочь Некрасовых, которой тогда было пятнадцать лет. Разница в возрасте в восемь лет не позволяла мне открыто любить ее и ухаживать «по-взрослому». Тут повторилось то, что уже однажды было у меня с «помолвленной» Наташенькой Чилищевой. В двадцать три года любоваться чистотой и красотой пятнадцатилетней девочки, обожать, вздыхать и мечтать — то же самое, что молиться и в этой молитве очищаться от всякой скверны, ощущая себя очищенным на какое-то мгновение. Молодость и энергия жизненных сил после краткой молитвы снова и снова уносят тебя, как волна бумажный кораблик, в безбрежный океан жизни и топят в ней, и кувыркает, и бьет о камни. Коленька проповедовал, что платоническая любовь есть самая чистая, самая прекрасная любовь, ибо в ней нет страсти, низменной, земной страсти, привязывающей наши души к земной оболочке нашего смертного тела. Но кто на что рожден и кто на что способен, сколько сердец, столько и чувств. Я явно был рожден не для возвышенного преклонения перед красотой, в абстракции сушей, а

перед реальной осязаемой всеми пятью моими чувствами, но память моя всегда хранит мгновения той чистой молитвы, как нечто светлое и потустороннее. Многие десятилетия связали мое сердце и душу с этим домом, его близким мне миром. Туда приходил я, как в родной мне дом, ища помощи, когда истощала жизнь мои душевные силы.

Вскоре после маминой кончины меня вызвали в прокуратуру, и мой следователь без энтузиазма, а даже с неким огорчением сообщил мне, что следствие по моему делу прекращено, и что я направляюсь в распоряжение военкомата. В военкомате меня направили в военный госпиталь на обследование и заключение. В приемном покое парикмахер занес над моей рыжей шевелюрой машинку, намереваясь скосить ею копну вьющихся волос. Я вцепился в его руку и заорал:

— Не дам!

— Не положено с волосами, отпусти руку.

— Не отпущу, вызывай врача, не дам стричь волосы.

Пришла на мое счастье молоденькая врачиха, которой я очень быстро доказал, что болванить меня наголо нет смысла, я только на обследование, такие волосы бросить на пол — кошунство, ведь правда?

— Правда, — сказала она, — мне бы такие. Оставьте, пусть так ляжет, он же не военный.

— Ну да!

— Ну да, я же только на несколько дней, чего ради меня болванить?

Свою шевелюру я отстоял. Волосы стригли только солдатам, поэтому в отделении, глядя на волосы, меня положили в офицерскую палату. В офицерской, в соответствии с принципами бесклассового общества строящегося социализма, все было иначе, лучше, чем в солдатской. Началось знакомое мне обследование. В госпиталь я попал очень кстати, т.к. то ли я потерял, то ли у меня сперли продуктовые карточки, и до конца месяца меня ожидала пища святого Антония. Врачи вертели меня, тщательно изучая каждую «палочку и колбочку» моего злосчастливого глазного дна, они углублялись в него сосредоточенно, по-научному, словно писали докторскую. Они расширяли мои зрачки до кошачьих в ночное

время, стараясь проникнуть в тайну Господней воли и мироздания. То, что я видел, а видел я в те дни значительно хуже, чем в Серпухове, поражало их своей невероятностью. Им было бы куда спокойней, если бы я вообще ничего не видел, а тут на тебе — еще и видит.

— Арцыбушев, к профессору!

Ведут в кабинет. Вхожу, вижу: за столом мой давнишний знакомый профессор Пивоваров.

— Здравствуйте, профессор!

— Здравствуйте, садитесь.

— Спасибо.

Сел. Он берет со стола мою историю болезни и вслух читает: «Арцыбушев», — смотрит на меня и сосредоточенно что-то вспоминает.

— Арцыбушев, Арцыбушев. До чего редкая и в то же время знакомая мне фамилия.

Опустив совсем уже седую голову, читает результаты обследования.

— Пстойте, постойте, припоминаю. Вы в Киеве не служили?

— Служил до войны.

— А в госпитале лежали?

— Лежал.

— У кого?

— У профессора Пивоварова.

— Ну, конечно! Вы тогда еще мне много рисовали.

— Рисовал. А вы меня узнаете?

— Я слишком далеко сию от Вас и не вижу Вашего лица.

— Значит, слепота идет не мгновенно, как я предполагал, а постепенно. Подойдите ближе, вот сядьте сюда, — он придвинул стул и поставил его против себя.

Я сел.

— А теперь узнаете?

— Да.

— Вот как, голубчик, жизнь сводит. Мне страшно интересно самому Вас хорошенько посмотреть. Небось уж врачи Вас изнасиловали?

— Немножко.

— Ну я недолго, картина ясна, но мне б самому взглянуть, есть



ли изменения с тех пор, я словно сейчас вижу Ваше поразившее нас глазное дно. Так, хорошо, смотрите на мой палец. Так, так, налево, направо, на кончик носа. Все так же мертво! Загадка природы! А чего они от Вас хотят, чего к Вам пристали, зрячих что ль нет? С такой болезнью и в обозе делать нечего.

— Да старшина я, вот и крутят.

— Мало ли, кто Вы, я понимаю, генералом были бы. Но это идиотское расписание болезней только буква бесчеловечная, а за номером человек, на которого им наплевать. Что ж мне с тобой делать? Не годен ты никуда, а по букве в обозы, а что толку там от тебя.

— Профессор, от буквы нам никуда не уйти, не удручайтесь, действуйте по букве.

— Ты оптимист, это твое спасение. Завтра я тебя выпишу, но свое мнение, честное, им напишу.

— А Вы бы не могли меня еще подержать с неделку?

— А что?

— Да я карточки потерял, или выкрали, жить не на что.

— Конечно, конечно, до конца месяца вполне можно, жаль, что рисовать тебе невозможно, а то бы по старой памяти. Да нет, куда там. Ну, иди с Богом, тридцатого выпишу.

— Спасибо Вам, спасибо!

Тридцатого я с шевелюрой и с заключением вышел из ворот госпиталя. Вечером по радио огласили указ «верховного» об освобождении от воинской повинности всех работников Железнодорожного транспорта и метростроевцев. Этот указ прямо касался меня, так как я работал в системе «Метростроя», и, сдав документы в военкомат, получил бронь. На этом все мои мытарства были кончены. Анечка Евраскина вошла в историю. А история моей жизни продолжалась, и еще Бог знает, куда затащит меня судьба. Кто за судьбой не идет, того она тащит! Моя ж судьба, посмеялась много раз над моим фатализмом и продолжала тереть меня, как жернова трут зерно, а я все говорил: «Значит так оно и надо. Чем хуже, тем лучше!» А кривая все вывозила и вывозила меня, а ж до сего дня. Эта самая «кривая» для меня лично была рукой МИЛОСЕРДИЯ, перед которой я вечно в долгу, правда, меня даже в песнях пытаются убедить, что я «пред Родиной вечно в долгу», с чем я не согласен и уверен в том, что Она в вечном долгу перед обманутым

народом, замордованным и превращенным в бездушную тягловую силу, направленную на строительство своего «светлого будущего», во имя счастья и процветания в теперешнем «сегодня» правящего класса, именуемого «Партией».

Среди немногочисленного бомонда Коленьки был некий Иван Алексеевич Корнеев. Жил он в Лосинке, в одной половине дачи, принадлежавшей его матери, с женой, двумя детьми и с сестрой — Верой Алексеевной, о которой Солженицын пишет в «Архипелаге...». На чердаке их дачи скрывался о. Владимир Криволицкий, о котором я уже упоминал выше. Я временами бывал у них с Коленькой и посещал чердачок. Иван Алексеевич, болезненный, тощий и сутулый, временами бывал на Яковлевском. В разговорах никто не стеснялся, и каждый говорил все, что он думает. А думали все одинаково. Сейчас я упомянул о существовании Ивана Алексеевича, Лосинки, о. Криволицкого потому, что с течением времени наши судьбы схлестнутся.

К осени 1943 года из Алма-Аты вернулся Иван Иванович Мещанинов и временно поселился в Москве. Моя жизнь значительно приукрасилась, благодаря сему событию — вся его забота была обращена на меня. Он звал меня «мальчишкой», всегда кормил и поил меня, снабжал деньжонками. В те годы он стал депутатом Верховного Совета и Героем Социалистического Труда, что давало мне возможность жить безбедно, в смысле не на свою рабочую карточку, а на некую часть депутатского питания по системе бесклассового социалистического общества. Иван Иванович был классом, я — обществом, и мы оба были сыты.

Как я уже говорил, зиму 43-го я прожил у Маргаритушки и ее сестры Марии Анатольевны. За эту зиму я очень сблизился с ней. Она потеряла сына, я — мать. На Яковлевском не было ни полена дров, у них тоже, объединившись с ними, я таскал дрова, ломая окрест все деревянное и топя ими сложенную мной печурку с трубой в форточку, как во всей Москве, все форточки дымили, куда ни глянь. Та зима еще была и холодной, и голодной, вместе легче, вместе теплей и сытней. Каждый тащил все, что мог стащить и клал на стол. Моя татарочка училась в лесном институте, жила в общежитии за городом, иногда мы встречались, но любовь куда-то отлетала, от скудности ль пайка или от непостоянства сердца.

Я уже не мечтал о союзе двух сердец, а встречался по привычке нежности к ней.

Жизнь крутила свое неумолимое колесо, волоча за собой, и в этом круговороте хотелось остановиться. Как-то я случайно забрел на Малую Тульскую. Матрона Фроловна умирала от чахотки, узнала, обрадовалась. Тут и Тоня, и посмотрел я на нее каким-то другим взглядом, вспомнив слова мамы, сказанные ею накануне смерти. А может мама и права, тихая, скромная, приветливая, застенчивая, глазки опускает долу, смущается, краснеет. Нет знакомой мне распушенности, вызывающей похоть. Все скромно, все чинно, по-замоскворецки, по-купечески. Пахнет уютом, домом, все блестит чистотой и невинностью. О, Господи! Дал Ты мне душу идеалиста, дал Ты мне глаза и уши, и сердце, доверчивые по-детски, не отличающие ястреба от голубя. Устал я в свои двадцать четыре года от пакостника, живущего в моей крови и влекущего меня в объятия страстей безрассудных, похмелье от которых горше горького. Остановить этот бег, это сползание в пучины, в бездонные омуты женских ласк может только семья, любящая душа, готовая на помощь, на жертвы, очаг, свой теплый очаг и дети около него. Может мама, думая обо мне, зная о всей глубине моих падений, вставаний и снова падений, указала мне человека, могущего остановить, могущего создать семью, очаг не на пустом месте, а на вере отцов, матерей, на традициях христианских. Может быть она, чуя смертный час, об этом думала и указала на человека. Я всегда верил маминой интуиции и прислушивался к ее словам, сохраняя свою свободу, я где-то подсознательно держал у сердца ее слова и мысли. И слова ее, в этот последний день сказанные, стали неожиданно действовать во мне. Я начинал верить, что ее сердце, сердце матери, да еще перед смертью не могло ее обмануть и что с выполнением ее завета я смогу подняться. Когда меня потом, спустя много лет, спрашивали, как я мог быть таким слепым и дураком, чтобы не видеть, с кем я связывал свою жизнь, мне всегда на этот вопрос ответить было крайне трудно. Пожалуй, вот только сейчас я смог сформулировать словами тот круговорот чувств и мыслей, который привел меня из одной пропасти в другую. А слепым и дураком я остался и по сию пору, это врожденная наивность, доверчивость и страсть.

К Тоне у меня никакой страсти не было, не было и любви. Была вера в интуицию матери и надежда, глупая и наивная, что семью можно построить без страсти и любви, а на порядочности и чувстве долга и ответственности. Как показала мне жизнь — это бред сивой кобылы, во всяком случае, так получилось со мной. А самое главное еще не в том, главное — в воспитании и разнице в нем. Но об этом после свадьбы! Я, если так можно сказать, был честен, сказав Тоне, что я ее не люблю, и она должна меня заставить себя полюбить. Она сказала, что приложит все силы и старания, чтобы я ее полюбил. С этим багажом в душах наших нас и повенчал на квартире у Маргаритушки отец Владимир, сочетав нас во плоть едину на веки вечныя!

С первых дней нашей жизни в этой единой плоти, я почувствовал в себе к ней отвращение, не единство, а отвращение к воздуху, которым мы вместе дышим, я уж молчу о плоти. Странно, но это словно вошло в меня откуда-то со стороны, помимо меня и моего желания. Чем дальше, тем сильнее крутил какой-то бес. Когда я возвращаюсь домой, то иду в него, словно в ад. Для того, чтобы меньше быть дома, я разыскал художественную студию и поступил в нее. Вечера были полностью заняты до отказа, я вернулся в свою стихию.

Как-то, придя домой поздно вечером, я застал Тонию в смятении:

— Ты знаешь, сейчас вот тут сидел сатана. Вполне возможно, он с тобой пришел в этот дом.

И тут ее прорвало то, что долго мучило и о чем боялась сказать мне. А суть дела я сам расскажу, своими словами. Она решила раз и навсегда, на всю жизнь привязать меня к себе, да так крепко, чтобы смерть не разлучила. Привязать не своей любовью, не вниманием и заботой, не примером своей преданности, лаской и теплотой души, а «приворотным зельем». Для этой цели отправилась она в деревню к бабке-ворожее, знала такую. Та ей намесила, нашептала на месячных все приворотные слова, нужные к данному случаю, призвала всю темную силу во исполнение, в возрождение ко мне любви по гроб жизни и за ним. Дунула, плюнула, месяцу показала, кругом себя трижды обернулась, шепча заветные слова, с молитвами спутанные: «О как да на острове, да на буяне, зель трава росла, для молодца любимого, для зелья приворотного...»

Крутилась, шепталась, да где-то спуталась, не так ли повернулась, не то слово вымолвила... «А вот сие зелье приворотное, дай ему с вином выпить, прежде чем невинности лишиться! Поняла? Ступай, не оторвешь от подола, с перва раза!» Или бес над бедной Тоней посмеялся, то ли старуха что спутала, а «с перва раза» стала она мне омерзительна, и по сей день, сколь уж времени с тех пор прошло. Рассказала она мне все, как на духу, покаялась. «Иди, — говорю я ей, — к отцу Владимиру и перед ним и Богом кайся, ты же мне противна, до глубины моей души, и только ребенка ради как-нибудь притерплюсь». Но не смог потом, не смог. «Слава Богу, все кончено», — перекрестившись, сказал я, когда за мной щелкнул тюремный замок через полтора года кошмара. Вот что значит сказать невесте, что ты ее не любишь! Слишком она стремилась выйти за меня замуж, так стремилась, что сатану на помощь призвала. Во всей этой истории виноват я. Я не имел права вязать себя с любимым человеком. А мама могла и ошибиться, ведь она с меня клятв не брала и словом не вязала. Тоня же рубила дерево не по плечу и, не чувствуя сил в себе, пошла на крайность, но все ж повод к этому я ей дал, если быть объективным. Не реши я в себе: «Тому быть!», наши дорожки никогда бы не сошлись. Поэтому я всегда чувствую свою вину перед ней.

А тем временем родился Сашка. Как женщина, Тоня для меня не существовала. Так, скрепя сердце, терпели и тянули лямку. Тоня на что-то надеялась, может на новый приворот, а может еще на что. Дома я почти не жил, только ночевал. Вскоре я ушел с работы и целиком окунулся в живопись, как в студии, так и дома. Подружившись в студии с Володей Вайсбергом, мы стали вместе работать с ним у него дома. А в студии — цыганка! И любовь с ней горячей костра у цыганского шатра.

Кончилась война! Салют! Вот и Коленька вернулся!!!

Рассказал я ему все без утайки и о Тоне, и о Варе, и о смятении чувств, и о том, что я не в силах разрубить узел, который сам же и затянул. Безысходность моего положения заключалась в том, что не только темные силы, призванные Тоней в надежде привязать меня к себе, действовали в обратном направлении, но с первых же дней нашей жизни с Тоней произошла какая-то метаморфоза: из тихой и скромной, спокойной и застенчивой, она пре-

вратилась в озлобленную взбалмошную бабу, жадную и скаредную, стремящуюся подмять меня под свой каблук. Всегда и во всем правая, вещающая прописные истины с видом пророков древности, призывающая кару Господню на всех, кто думает и поступает не так, как она. Невероятное ханжество перло из нее, и ореол святости носила она, как королева свою корону. Все вокруг, а я в особенности, были повинны во всех грехах мира, от Адама до меня все были в чем-то перед ней виноваты, и вид у нее был как у великомученицы, идущей на костер во искупление всемирных пороков и греха. Обычай тухлого замоскворецкого мешанства, смешанного с деревенскими лабазниками, возводились ею в достоинство и пример жизненных устоев. Суеверие, беспробудное и темное, смешанное с православием, а православие — с ханжеством, что может быть противнее в своем лицемерии и фарисействе. Я был воспитан в других традициях, и от всего этого меня просто тошнило. Кроме мировоззрений, нас разделяющих, я был повинен в сожительстве со всем женским полом, и даже со старушками, к коим ревность ее была беспредметна, так как старушки были: Маргарита Анатольевна, Мария Анатольевна и многие другие, доставшиеся мне в наследство от мамы и Коленьки, коих они опекали. Тоня грозила отравить меня, а порой и посадить, а посему я с опаской пил и ел; что касается «посадить», у меня нет прямых улик, но косвенных достаточно. Мне очень хотелось бы, чтобы и они не подтвердились на страшном суде. Она, как я не раз убеждался, стремилась довести меня до состояния неуправляемости собой, в котором дело доходило до драки, в которой она старалась ногой ударить ниже живота. Чего в ней было больше, садизма или мазохизма, я боюсь сказать, но всем своим поведением она постоянно провоцировала. Не о таком домашнем очаге я мечтал, не такого человека я хотел иметь рядом с собой, поэтому я бежал из дома куда угодно, лишь бы не видеть ее, не слышать и не ощущать ее присутствия. Но родился Саша, ни в чем неповинный, ничего незнающий, живое существо, мое и не мое! Мое, потому что от меня, не мое, потому что от нее. Он затянул узел, и я не в силах был его разрубить.

Разрубила его тюрьма. Но до нее еще долго, и я не знал, что она меня ждет.

Студия ВЦСПС в доме Союзов была моим спасением, там, среди мольбертов, поставленных натюрмортов, обнаженных натур, среди ребят и девушек, талантливых и доброжелательных, встретил я свою цыганку. Встретил и полюбил, полюбил, как любят солнце, выглянувшее среди туч, как воздух, как родник, бьющийся ключом, как саму жизнь. Взаимность, рожденная единством творчества, единством цели, единством душевного строя, взглядов и всеми моими семейными трагедиями, создала свой особый микроклимат наших отношений, в которых не участвовала и не главенствовала плоть. Она жила, она кипела в нас обоих, но можно ли завязать новый узел, не в силах разрубить уже завязанный. Мы оба это понимали. Встречали новый 1946-й год у ее подруги, под утро нас положили вместе. Если бы я не любил Варю больше своей жизни, если бы искал в ней только радости и восторга слияния двух воедино, то не было лучшей минуты для омута страсти. Мы оба трепетали, но ... любовь бескорыстная, преданная, чистая удержала меня от шага, завязывающего наши судьбы, в то время, когда другая петля душила мне горло. На это я не имел права. Будь это какая-нибудь Аня Савраскина или еще кто, связи с которыми ни к чему не обязывали, но рядом со мной была девушка, в которой я видел свое счастье не в мгновении, а в жизни.

Когда моя цыганка спросила меня: «Почему?» Я ответил: «Не имею права!»

Ад — дома, рай — в студии, рай в ее комнате, по року судьбы, напротив моего дома. Две жизни, два мира. Мир зла и мир любви и радости общения. Мир, из которого я бегу, и мир, в который я стремлюсь, а между этими двумя мирами — Сашка. Между этими двумя мирами — Дивеево и все, там заложенное с детских лет и живущее во мне подсознательно. Варина мать и отец, впоследствии оказавшиеся ее приемными родителями, радушно принимали меня, и я засиживался в ее комнате допоздна, до тех пор, пока Александра Ипполитовна не приоткроет дверь и не скажет: «Спокойной ночи», что значило: пора, мой друг, пора. С тоской, предсмертной тоской, как идущий на казнь, шел я через дорогу не домой уже, а в чужой мне и враждебный мир. В нем жил и улыбался мой ребенок, все остальное — мрак!

Все это и больше того я рассказывал Коленке, гуляя с ним по Чистым Прудам. Как быть, что делать? По-дивеевски, по воспитанию своему, по убеждению сердца, я не имел права задавать себе этого вопроса. Ответ может быть один, так же как и жена одна должна быть у мужа. Тогда я не предполагал, что сей непреложный закон я нарушу и не раз. Не раз я стану клятвopреступником, и не одна жена у мужа, венчанная, ждет меня. Но с какой болью все это, ждущее меня впереди, будет связано, я уже знал. Свои поступки всегда можно и перед людьми и перед своей совестью оправдывать, чаще всего сваливая свою вину на других, трудней разобраться в них и разложить по полочкам — это твое, это мое. Свое никогда себе не простить, а ее — отпустить от сердца, или оправдать, или простить, или пренебречь. Этому меня научила жизнь и суровая школа прожитых лет. Проще простить, чем ненавидеть. Душевный мир душа приобретает, когда она прощает все всем, себя же никогда! Но труден к этому путь, и в начале его все в тебе взболтано, как в болоте, по которому ходят коровы.

Таким болотом я и был в то описываемое мною время. Лучом света, глотком чистой воды была для меня в те дни Варя, которой, спустя двадцать пять лет, я принес столько горя, и вину мою перед ней не изгладят время и смерть.

В скором времени я лишился радости по вечерам быть с Варей. Тоня проследила меня до ее порога и вошла в ее дом, как моя жена, муж которой принимается в нем как свободный человек. Этого было достаточно, чтобы двери дома наглухо захлопнулись перед моим носом. Варя все знала от меня, а ее родители принимали меня, как потенциального, возможного жениха и, быть может, мужа их дочери. Сделанное Тоней открытие истинного положения возмутило их покой и «спокойной ночи» я был лишен. Когда таким образом думают удержать, реакция бывает обратной. Если в доме нет мира, то это его не принесет, а наоборот, усугубит неприязнь, усилит вражду. Мы нашли место, где встречаться, а из дома я ушел совсем, к приятелю, коменданту общежития и ночевал у него. Я часто бывал у Ивана Ивановича, он был в курсе моих семейных дел и посмеивался: «Ну, мальчишка, ты, кажется, влип». Я его познакомил с Варей, которая ему очень приглянулась по душе.



Иван Иванович был крестным отцом Саши, к Тоне он относился как рыцарь к женскому полу, особо не вдаваясь в наши внутренние дела, стоя в стороне. Я же и не докучал ему своими проблемами. Он для меня не был Коленькой, которому я выворачивал свою душу наизнанку, зная, что ни я, ни моя жизнь ему не безразличны. Ивану Ивановичу проще было дать мне двадцать тысяч, чем вникать в мой душевный ералаш и копаться в нем, выискивая жемчужное зерно. По его просьбе мои живописные работы посмотрел И. Э. Грабарь, который благосклонно отнесся к моему творчеству и сказал:

— Поступайте в Академию, Вы там балластом не будете.

Он в то время был ректором Ленинградской Академии художеств, куда осенью я думал поступить, чтобы одновременно отодвинуться на семьсот километров от Тони. Загвоздка была только в том, что у меня не было документа об окончании десятилетки. Я усиленно искал пути заполучить хотя бы справочку, пусть липовую.

Играя на сцене муромского драматического, я играл не только Митьку-рыжего, но и Гришку Незнамова; произнося свой монолог о бедном ребенке, брошенном под забором, я в порыве отчаяния раздираю на себе рубашку, плача, шепотом произношу: «Эти сувениры жгут мне грудь!» Театр рыдал вместе со мной, шмыгал носами и платками, утирая слезы. Сейчас мне предстояло нечто похожее. Мне нужно было броситься на шею двух педагогов, у которых учился некто, и фамилия его состояла из девяти букв, так же как и моя, и они должны были меня признать за того «некто» и своими подписями подтвердить, что я — этот «некто» окончил рабфак в таком-то году. Сыграв эту роль превосходно, вызвав слезы умиления на их глазах моими поцелуями в их пухленькие щечки, я получил свидетельски подтвержденную справку, в коей я потом вместо «оного» из девяти букв состоящего, аккуратно стерев его, на машинке буква в букву напечатал Арцыбушев А. П. Справка об окончании десяти классов есть!

Всю подготовительную работу я не стану описывать, а коротко, для ясности. Рабфак давно не существовал, архив сохранился и сохранились, но постарели щечки, в которые я чмокал так нахально, что глазки их прослезились и вспомнили меня, да еще как,

потому что я им напоминал некие эпизоды из их педагогической деятельности давно минувших лет и им любезных.

А ларчик открывался очень просто: на том рабфаке у этих одуванчиков учился мой приятель, у которого, сбежав от Тони, я ночевал. Он же и подобрал мне фамилию из девяти букв, которая значилась в архиве. Он же рассказал про слабые, но любезные сердцу маленькие причуды их обоих. Сценарий был написан. Арцыбушев! На сцену! Выход! Ведь «эти сувениры жгут мне грудь!» Плачу я, плачут и старушки, вспомнив былое. ... «Вы! Конечно, Вы!» Занавес! А аплодировал я сам себе, неся в кармане Академию Художеств.

Грабяр обещал освободить меня от всех экзаменов, кроме специальных, за которые ни он, ни я не волновались. Приближалась Пасха 1946 года.

К этому времени Тоня упростила меня от имени Саши вернуться в дом. Коленька, вернувшись из армии, поселился у тети Грани, своей двоюродной сестры. Она на фронте потеряла всех троих сыновей. Я должен был активно готовиться к экзаменам в Академию. Роман шел и развивался, не дальше губ. Студия и Варя в ней давали импульс к жизни и творчеству, уводя от действительности, которая угнетала меня своей бесперспективностью, но молодость брала верх над всеми проблемами жизни. Мой врожденный оптимизм брал верх и я знал, я был уверен, что сама жизнь покажет дорогу, ибо «пути Божии неисповедимы».

Как-то на занятия в студии не явился натурщик, все попросили меня занять его место, и я, согласившись, стал позировать. Скрип мольбертов, удары кистей о холсты, смиренное сидение в одной позе унесли мысли мои за пределы окружающего меня мира, выражение лица моего изменилось, и наружу выплыл совсем другой, незнакомый никому Алеша. Когда из студии мы шли домой, вдруг Варя говорит:

— А ты совсем другой человек, чем кажешься, я это поняла сегодня, когда ты позировал. У меня было такое впечатление, что вместо хорошо мною знакомого и любимого появился совсем другой, мало мне понятный образ, душевный мир которого совсем иной, не похожий на тебя, какой ты есть или каким ты хочешь казаться. От тебя что-то отошло, и что-то пришло совсем иное, и весь ты стал другим.

– Каким?

– Таинственно трагическим, с тебя словно слетела шелуха, или на мгновение ты скинул маску, за которой живет твоя душа, настоящая, мне еще не открытая.

– Хамелеон?!

– Нет, нет, не то я имела в виду. Мне на мгновение открылся мир твоей души, мир какой-то особый, тот, в котором ты живешь, не допуская в него никого, и в который сам уходишь не всегда.

– Чужая душа – потемки, проникнуть в свою-то душу и понять ее трудно, тем невозможней познать другую. Как говорит Коленька: вся наша жизнь – это театр полного актера, театр для себя! И актер, уйдя за кулисы, на мгновение становится сам собой, так случилось и со мной – ушел за кулисы. А ты могла бы любить того, кто сегодня позировал? Больше чем того, который согласился позировать?

В воздухе пахло весной, грело солнышко, капали крыши, звонко стуча об асфальт, плавали белые лебеди на Чистых Прудах, взмахивая крыльями, били о воду, ухаживая за лебедицей. Крякали утки, гоняясь по воде, оставляя за собой треугольник волн. Мы сидели на лавочке, рука в руке, и наши крылья хлопали, но не могли взлететь. Их полет начался только через шесть с половиной лет. Скоро, очень скоро на Крайний Север улетит белый лебедь, а лебедица будет ждать того, кого она открыла для себя в этот день. Кто за судьбой не идет, того судьба тащит.

Приближалась Пасха! Красились яйца, пеклись куличи. Коленька на Пасху хотел прийти к нам. Бутылочка мадеры – для Коленьки, бутылочка водочки – для меня. 22 апреля. ПАСХА СВЯЩЕННАЯ НАМ ДНЕСЬ ПОКАЗАСЯ! Стол накрыт, скоро придет Коленька. Проходит час, два, три, нет и нет. Сколько ни звоню к тете Гране – никто не подходит.

– Телефон что ли испорчен? А быть может, он на могилку к Ольге Петровне решил сперва съездить? Поеду и я, там встретимся!

Пришел я к могилкам – пусто, не лежит крашеное яичко, и взяла меня там тоска смертная, словно с землей, с миром, с солнышком прощение настало. Встал я на колени перед мамой и плачу, горько-горько плачу, как перед казнью какой, как перед гибелью. Тоскует душа в предчувствии, а чего, и сам не знаю. Выплакался я,

повторяя сквозь слезы: «Помоги, помоги, ...мамочка!» Тут выплакал я ей всю свою жизнь с Тоней, с первых дней мне опостылой, и любовь свою бескрылую и по закону преступную.

Побрел я домой, не торопясь, весь опустошенный, все оставил там, на могилке. Где же Коленька? Где? Пришел домой. Нет и не был. Звоню Гране. Ага, сняли трубку, дома.

— Теть Грань, алло!

— Да, да, Алеша, я слушаю.

— А Коленька где?

— Его сегодня утром арестовали, весь день шел обыск, только что ушли, приходи!

Я помчался, не разбирая луж, суясь под машины, под гудки и ругань шоферни. На полном ходу — в трамвай, бегом по переулку, так же по лестнице.

— Алешечка! Коленьку арестовали сегодня утром. Маргариту Анатольевну ночью. У нее же отца Владимира Криволицкого. Ивана Алексеевича и Веру! В Лосинке!

Я обомлел, всех сразу?

— У нас, сам видишь, все перевернуто вверх ногами! Трясли, стены простукивали, шишки от кроватей свинчивали, в трубу лезили. Все книги по листку перелистывали. Ты звонил?

— Не один раз.

— К телефону не подпускали.

**ПАСХА СВЯЩЕННАЯ НАМ ДНЕСЬ ПОКАЗАСЯ!** Бомба разорвалась рядом, взрывной волной меня контузило. Надо было очухаться. Коленька прописан после армии был на Яковлевском, значит, придут и туда. Домой, скорей домой!

Войдя в комнату и окинув ее взглядом, я не мог сообразить, что мне делать и с чего начать обыскивать самого себя. Ни на полках, ни в письменном столе, ни на нем, ни на стенах и в шкафах не было никакого криминала. Что им, гадам, надо? Что ищут? Словари, словари, аккуратно стояли и лежали по местам. Ноты, книги. Неужели каждую трести или перелистывать? Политика Коленьке была чужда и противна так же, как мне. Эта помойная яма мелких и крупных страстей, жажда власти, хоть капля ее ни его, ни меня не интересовали и противны были по своей природе. Коленьку посадили потому, что посадили отца Владимира. Значит, подпольная

Церковь. Открыв нижнюю часть киота, я увидел так знакомые мне миинеи, триоди, осьмигласник, псалтырь, что ж, все это в печку? Но это — улика! Пойди, докажи, что не служили дома, а это — криминал. Я сгреб все книги и вышел с ними на черный ход. Направо и налево — чердаки. В их глубину в самый темный угол положил я все богатство и присыпал землей. Шаря по углам, наткнулся я на душегрейку, забытую у нас Анной Григорьевной, которую не взлюбила Тоня. Как-то попросил я ее помочь Тоне с Сашей, на что она радушно согласилась, но та ее выставила. Сняв с вешалки душегрейку и прощупав ее, я почувствовал, что она полна какой-то бумаги. Распорол, оказалось, что Анна Григорьевна — миллионер. Из душегрейки я вытащил пачку бумажных кредиток, времен Николая II. Пересчитывать их не стал, сжег тут же. Перерыв все столы и ящики и ничего не обнаружив, засунул на место. Среди бумаг я не заметил мое письмо Варе. Спалил фотографии каких-то батюшек, мне не известных. Вот вроде и все. Пулеметов нет, бомб тоже. Пусть приходят. А они и не замедлили, пришли, как всегда ночью, как тать в ночи! Рылись всю ночь, трясли, простукивали, взламывали. Что-то откладывали в сторону. Их было трое, один другого омерзительней, да два понятых, в соблюдение «законности». На чердак не догадались пойти. Вряд ли я смогу описать тут мое ощущение любви к родине в эту ночь. Как они не сломали кафельную печь, я удивляюсь. При взгляде на этих фашистов, мне вспоминались наши кинофильмы вроде «Доктор Опенгеймер». Изображая фашистов, они копировали самих себя, только форма другая, а содержание то же.

Наутро составили акт конфискованных вещей. Молитвенники, акафисты и еще что-то, сейчас не помню. Хорошо, что книги спрятал. Меня заставили подписаться под актом, вдруг я увидел свое письмо к Варе.

— Это мое письмо, и оно к делу не относится.

— Все, что мы взяли — относится.

Утром я пошел в Лялин к Володьке Вейбергу писать обнаженную. Ему я ничего не рассказал ни о Коленьке, ни о сегодняшней ночи. Встретив Варю в студии, я все рассказал ей и про письмо тоже.

— А как ты думаешь, тебя это может коснуться?

— Пока не знаю, может и пронесет.

Следующие дни принесли новые вести: посажены еще и еще. Через неделю сидело восемнадцать человек, в том числе и Саня Некрасов. Что же произошло? Выследили Криволицкого на даче в Лосинке. Выслеживали долго и тщательно. А так как он, имея документы, хоть и не свои, но все же на одном месте не сидел, поставили за ним «шлейф», а бывал он не в одном месте.

В ночь, под Пасху, он пришел к Маргаритушке по договоренности с ней. Отслужил заутреню. Сильный, не оставляющий сомнения стук. Стук карающей руки. Деваться некуда, отец Владимир, бедный, под кровать. Роста он большого, валенки торчат. Вошли, видят валенки.

— Кто это там? — спрашивают Маргариту Анатольевну.

— Понятия не имею!

— А ну вылезай!

Вылезать-то надо. Вылез.

— Кто это?

— Первый раз вижу, понятия не имею, как этот человек тут очутился.

— Мы тебе язык развяжем!

Обыск. Все перевернули, перетрясли. Черный воронок и на Лубянку. В эту же ночь — всех, к кому вел след. Иван Алексеевич и его сестра Вера, как хранители «преступника». Один вопрос не оставял меня, хоть на ромашке гадай: минует, не минует? Он венчал нас! Минует, не минует? Я бывал у него в Лосинке. Минует, не минует? Посажен Саша, я бывал у них. Минует, не минует? Вскоре я почувствовал за собою хвост. Вот он, напротив в подъезде газетку читает. Выйду на улицу, он за мной. Человек, даже если он при смерти, надеется, что выкарабкается. Я стал уходить через черный ход. Вернулся домой, смотрю, стоит топтун! Стой, стой, голубчик! Утром ушел к Володе, пишем обнаженную, звонок: «Вас к телефону». Подхожу, Тоня взволнованно: «Приди срочно домой, тут пришли». — «Кто?» — «Приходи немедленно». — «Иду».

Прихожу, никого нет. Тоня смущена, что-то мнется.

— В чем дело, кто приходил?

— Никого не было.

— А почему звонила?

— Да я так ... испугалась.

Меня очень легко обмануть, я доверчив и считаю унижительным для обманывающего меня проверять. Но подозрение вкрадось мне в душу. Кто приходил и почему сперва звали, а потом решили сделать вид, что просто так, с испугу. Кто-то был и что-то обо мне спрашивал и им что-то отвечали.

Что, что отвечали? Кто был — ясно, для чего — тоже ясно.

## ЧАСТЬ II

16 мая, был первый теплый весенний день, до того теплый и солнечный, что вышел я из дома в одной рубашке и легких ботинках. Прежде чем идти на целый день к Володе, мне необходимо было привести в надлежащий вид копну своих волос, ибо давно я не навещал то заведение, где «стригут и бреют». В нем была девушка Тамара, к которой я всегда садился в кресло, т.к. только она одна соображала, как расправиться с моей шевелюрой. Кроме того, она мне нравилась, красивая, тугая и стройная, всегда приветливая и веселая. Мы были старыми друзьями, и она, завидев меня, приглашала в кресло, минуя очередь, говоря: «Это мой жених». «Ну, раз жених...», — отвечала очередь...

Завидев меня в то утро, она, улыбаясь, сказала:

— А вот и Вы, совсем забыли и меня, и свою гриву. Что будем делать? — спросила Томка, запуская пятерню своих тонких пальчиков в мою рыжую копну. — Что-то надо делать, что-то надо предпринять...

— Вот Бог парня наградила такими волосами, девушкам их надо было бы приберечь.

Она энергично работала ножницами. Я что-то рассказывал ей смешное, и она смеялась.

— Ну вот, теперь другое дело, хоть под венец.

Я встал, заплатил ей за ее нелегкий труд с лихвой, протянул ей руку и сказал:

- Прощай, Тамарка, я тебя покидаю!
- И надолго?
- Да лет этак на десять.

Я до сих пор удивляюсь, почему мне тогда взбренило так сказать и так попрощаться. Я вовсе не предполагал, что, выйдя из парикмахерской, по пути в гастроном, я действительно уеду на десять лет. Сказав эти слова, я снял с вешалки авоську с пустой посудой и вышел.

Идут мне навстречу три молодых парня в серых костюмах, сцепившихся за руки и преграждая мне путь:

- А, Леха! Здорово!
- Привет!
- Какая встреча, Леха, дружище!
- Я Вас не знаю, – отталкивая их руками, стараюсь пройти мимо.

– Сейчас узнаешь!

Серая «Победа» тихо подрулила к панели. Трое парней взяли меня под руки и, смеясь и приговаривая: «Какая встреча», впихнули в машину. Я очутился между двумя на сидении. Машина рванулась. Мне заломили руки за спину: «Оружие, давай оружие». Шарят по карманам.

– Не там ищешь, – сказал я, – оружие в штанах, ширинку расстегни! Чего ж вы меня раздетого взяли, дали бы хоть домой заехать, одеться.

– Да мы тебя ненадолго, поговорить только надо.

В солнечном свете промелькнули улицы, вот и Лубянка. «ГОСУЖАС», как звалось это мрачное здание, много подъездов. Машина остановилась у одного из них. Тяжелые двери открылись и закрылись за мной, поглотив еще одну жертву. Солдат – в голубых погонах. Мои «друзья», показав ему бумажку, провели меня коридорами в вестибюль. Слева дверь с надписью «Прием арестованных». Прямо – лестница, устланная ковровой дорожкой. Коль прямо, то поговорить, налево – арестован. Мгновение надежды. Нет, налево! Надавливается кнопка звонка, за дверью слышится его дребезжащий звон, стук засова, щелканье замков, вторая дверь, еще надежней и еще безнадежней захлопнулась за мной. Серые костюмы, сделав свое дело, исчезли, появились «вертухай»



в голубых погонах со связкой ключей за поясами. Поволокли по лабиринту коридоров, раздели догола, прошупали все швы, обреза́ли все пуговицы, отобрали ремень. Легли на кафельный пол мои кудри, так хорошо только что подстриженные, прошлись машинкой по лобку, все оголив, обезобразив даже естество. Воткнули под душ, холодной струей обжегший тело. В одной рубашке, прилипшей к мокрому телу (держу штаны обеими руками, чтобы не сползали), вновь провели коридорами и впихнули в бокс — квадратный ящик с лавкой, столом и стулом. Лязг замка, слепящий свет мощной лампы, тишина!

Я сел на стул. Мысли, бегая, путались, я весь дрожал. Не от страха, нет, внутренне я был спокоен, больше того, как ни странно, я облегченно вздохнул, поняв, что я шагнул за черту, за которой все оставшееся там, за ней, больше не существует, а значит и Тоня. Слава Богу, узел развязался сам, все кончено! Озноб колотил меня все сильней и сильней, я стучал зубами, не в силах остановить челюсти. Лязг ключа, отворилась дверь, вошла молодая женщина:

— Замерз, поди? — и накинула мне на плечи телогрейку.

Я стал потихоньку согреваться и, уронив голову на стол, заснул. Во сне я увидел Варюху, лебедей в пруду: «Ты совсем не тот, каким кажешься!»

Щелкнул замок.

— Пойдем, за мной.

Я встал.

— Руки назад!

Вот откуда начинается моя привычка ходить — руки назад. Она механически вошла в меня, как условный рефлекс, выработанный годами. Снова коридоры, этажи и лифты. Большая комната, большие фотоаппараты, яркие софиты.

— Внимание, не шевелись! — Щелк. — Так, фас, профиль, один, другой!

Щелк, щелк. Пальцы в черную краску макают — и на лист, макают — и на лист. Какие интересные отпечатки, неповторимые, единственные в мире, как душа, вот почему она всегда так одинока, может поэтому она ищет Бога, чтобы не быть одной, чтобы слиться в бессмертии с бессмертным Творцом? Мысли, мысли, движение души, жизнь сердца. Добро и зло, любовь и ненависть,

жизнь и смерть, свобода и тюрьма. В тюрьме, за решеткой, за колючей проволокой можно быть свободным, можно-можно, только для этого необходимо пренебречь своей жизнью. На себе самом поставить крест. Над душой они не имеют власти, ее не займешь в наручники, не закуешь в кандалы. Она ж не в их власти. Они бессильны перед ней. Главное — не бояться! Мама не испугалась, она боролась. Она на себе поставила «крест», потому не выдала тетю Наташу, зная что их спутали. Не выдала, потому что не боялась смерти. Она прошла свой путь, свой отрезок времени, теперь моя очередь пришла. Она презирала смерть и палачей, устояла и выжила! Я обязан, я должен поступить так, как поступила она. Двадцать человек намотали, из-за меня сюда не должен никто прийти, никто! Так рассуждал я, ходя взад и вперед по боксу номер три, где заперли меня, когда я переступил порог внутренней тюрьмы на Лубянке.

Стой! Лицом к стенке! Не шевелись! Дверь, окованная стальными листами, открылась. Снова к стенке. Фамилия, имя, отчество. Не узнаю своего голоса, словно не мой, Арцыбушев Алексей Петрович. Дядя Миша так же стоял, быть может вот тут. Арцыбушев Михаил Петрович!

Бокс номер три! Послышалось за спиной. Еще одна захлопнулась дверь с глазком «всевидящим оком», неусыпным, неутомимо смотрящим за каждым. Тут явно, там — на воле — тайно, глазами и ушами стукачей и сексотов, и всей нечисти поднебесной. Жил в большой тюрьме, перевели в малую, там смотрели издали, тут — в упор. Щелк! Глазок! А в нем — глаз!

Но разница была еще и в том, что, находясь под постоянным «всевидящим оком», ты ощущаешь силу зла реальную, не скрытую, не замаскированную, уйти от которой некуда. Все направлено в одну точку, все подчинено одной цели — сломать, сломать, сломать! Сломать твою волю. Сломать твой дух. Сломать сопротивление!

Но так, как твоя воля и дух — одно целое с твоим телом, с твоим зрением, слухом, вкусом, обонянием и осязанием, то в первую очередь начинают ломать твое тело физически, нравственно и духовно. Человека ставят, ему создают такие условия, в которых он должен сделать выбор: жизнь или смерть!

Жизнь! – Добровольно признать свою «вину»! Состряпанную следователем. Добровольно назвать имена единомышленников! Чем больше, тем лучше. Давать на них исчерпывающие показания, свидетельствующие об их преступной деятельности. Согласно разработанному следствием сценарию. Сотрудничать со следствием в раскрытии антисоветской подпольной организации, признавая ее цели и программу. И то и другое определяет и составляет следователь и следствие, на свое усмотрение. Обвинять на очных ставках тех, кто сопротивляется. С готовностью подписывать все протоколы следствия, интерпретированные следователем по его усмотрению, с пропущенными местами для последующего вписания в них нужных следствию дополнений.

Смерть – сопротивление!

Не признавать, не наказывать, не давать, не сотрудничать, не обвинять. Не подписывать! Полужизнь-полусмерть – вилять.

Жизнь. Если это можно назвать жизнью – моральное и духовное уничтожение личности, превращение ее в половую тряпку, о которую вытирают ноги следователи, внутренне презирая тебя.

Ты будешь так же обеими руками поддерживать свои штаны, как и те, которые сопротивляются. Ты, несмотря на все заверения следователя о смягчении наказания, получишь срок больший, чем тот, который сопротивляется. Ты будешь презираем теми, которых ты, вместе со следователем, оклеветал, посадил. Совесть твоя, если она у тебя существует, рано или поздно осудит тебя, своим «Особым совещанием».

Осудит пожизненно!

В камерах ты будешь существовать в тех же условиях, вместе с теми, кто сопротивляется или виляет. Тебе не выключат прожектор, ослепляющий тебя и пронизывающий все твое существо, когда тебе позволят лечь. Ты ляжешь только на спину, голову свою ты не спрячешь под тюремное одеяло, руки свои ты оставишь наружу, в противном случае, вошедший вертухай покажет тебе, как надо на Лубянке, в Бутырках, в Лефортове спать. Тебя будут неумолимо ночами таскать на допросы, только там, на них, следователь будет называть тебя по имени и отчеству, не будет тыкать, бить, крыть матом, а разрешит милостиво выкурить папироску, дружески тебе протянутую. В его власти вызвать служителя, который принесет

тебе стакан чая с бутербродом, но за эту папироску и бутерброд ты приведешь сюда многих, лишив их свободы, жены и детей. Тебе разрешат передачи, но куски ее не полезут тебе в глотку в камере, среди хлебающих баланду, потому что сопротивляются. Ты обречен вместе с ними пройти через все круги ада, в том числе и с теми, которых ты заложил слабостью своей, трусостью, спасая свою шкуру по принципу «своя рубашка ближе к телу». Ты пойдешь с ними этапами по пересылкам и лагерям, и ничто тебя не спасет, хотя ты думаешь спастись, но какой ценой! Тот, кто сразу для себя, не колеблясь, выбрал смерть, тот ее победит! Он не идет на компромиссы с совестью, и дух его крепнет! Он не идет на компромиссы со следователем, не берет предложенную им папиросу, не признает своей вины, не называет имена, так нужные следователю, чтобы создать «организацию», ставящую себе цель! Он борется за каждое исковерканное умышленно следователем слово и фразу, записанную им в протокол допроса. Он не подписывает их, требуя изменения формулировки и выводов, записанных следователем и преднамеренно искаженных. Он подчеркивает энергичным «зэд» умышленно оставленные пропуски на листах протокола. Он не оговаривает тех, кто уже сидит по данному делу, хотя следователь доказывает тебе и даже показывает, и зачитывает их показания против тебя.

— Это ложь! Я требую очной ставки!

Задача следователя — стравить! Вызвать в тебе чувство мести, во что бы то ни стало озлобить тебя:

— Ах! Вы так, вы топите меня! Ну, я вам покажу...

«Разделяй и властвуй» — старо как мир, но на этих низменных чувствах построено все следствие, на этих принципах построено наше социалистическое общество, которое партия постоянно стравливает!

— Посмотри, что на тебя показывают те, которых ты защищаешь. Они тебя не жалеют!

— Мне нечего о них сказать, они честные и добрые люди, ни в чем не виноватые.

— Невиноватые? Они все признали свою вину, они враги!

— Это их дело, мне о них нечего сказать, а клеветать я не стану.

Человек, вставший на путь сопротивления, приобретает силу,

потому что он пренебрег жизнью, за которую он борется со страшной силой. Это парадоксально, но факт. Он борется за жизнь не тела, а духа, пренебрегая телом. Следовательно и вся Лубянка, и все ГБ бессильны перед силой духа, т.к. они пытаются сломать его, ломая тело.

Тебя будут бить всячески, зажимать твои пальцы дверями, ставить на твои босые ноги табуретку и садиться на нее, бить по голове папкой, в которой положена мраморная доска из-под чернильного прибора. Тебя будут лишать передачи, следовательно, еды и курева. Сажать в одиночку, в карцер. Ты будешь все ночи напролет в одной позе сидеть на табуретке, отставленной от стены, чтобы не облокотиться. Перед тобой следователь будет смачно жевать бутерброды, запивая их крепким чаем, курить, подолгу говорить по телефону с женой или любовницей о любви, о детях, о сексе, тем самым вызывая в тебе воспоминания или желания, зависть. Вот где царство лжи, ненависти и садизма. Это царство сатаны! — И все это будет твое, если ты поклонись мне! Если ты оговоришь, предашь, оклеветашь. Нет. Нет и нет! Это «нет» вызывает к тебе дьявольскую злобу, но бессильную и немощную, потому что им ясно, что ты пренебрег своим телом. Следовательно и все его дьявольские ухищрения не имеют над тобой власти. Он в неистовстве орет:

— Жить-то ты будешь, но бабы во век не захочешь!

«Но это мы еще посмотрим,— думаешь ты,— кто знает, может ты вперед меня не захочешь, мало Вас пересадили и перестреляли».

— Земля кругла, — показывая на карту, висящую в кабинете, на самый Северный полюс, он обещает тебе:

— Вон там, вон там, всю жизнь давить ж... клюкву.

Жалкие ублюдки, они хвалятся, что били, убивали, взрывали, стирали в порошок, уничтожали храмы, людей, культуру. Кто не с нами — тот наш враг!

— Ты думаешь, мы мало, что ль, «пушкинов» расстреляли!

Сломать, во что бы то ни стало, сломать. Старый коммунистический лозунг: «Для достижения цели все меры хороши!». Перед тобой веером раскладывают фотографии — ты на улицах Москвы с разными людьми.

— Посмотри, мы о тебе все знаем, следили за каждым твоим шагом. Это кто? Это, это? — Толстая папка, досье! — Смотри,

сколько у нас на тебя улик собрано! В беседе с мистером Х ты Сталина называл сволочью, а вот тут, а вот, а вот... Мы все о тебе знаем, нам и твоих признаний не надо. Ты враг!

Ты враг уже потому, что твой дед царский министр, что дядю твоего расстреляли, мать сидела, были в ссылке, кто это может простить? Ты враг уж только потому, что семья твоя страдала.

— От Вас пострадала не одна моя семья, их миллионы, значит и все они ваши враги?

— А мы их всех и уничтожим. Кто не с нами, тот наш враг.

Как просто все. Уничтожить!

Уже много ночей подряд без передыха, с вечера до рассвета допросы, допросы. Я уж забыл, когда спал, забыл, когда курил. Война продолжается, силы неравные. О, эта немощная плоть. Дух бодр — плоть немощна. За это время я сменил несколько камер, посидел и в одиночке, без передачи, на баланде, прошел много километров по лубянковским коридорам, просвечен на всю жизнь мощными лампами накаливания, неоднократно избит, измордован, обыскан, обшарпан.

Как по сценарию, в первые дни моей новой жизни, был разыгран очередной фарс. Сценаристы рассчитывали кого-то из нас сломать. На Лубянке не бывает того, чтобы арестант встретил арестанта в коридорах, лифтах, на маршах лестниц. Меня же лоб в лоб столкнули с Коленькой. Всей своей выпрямившейся фигурой и гордо поднятой головой, я хотел передать ему — я не сломлен! Вся его фигура, которую я видел немного снизу вверх, говорила мне что он подавлен. Вертухаи засуетились, стали, как кузнечики цокать ццц... ццц... ццц..., стучать ключами о пряжки своих вертухайских ремней и нас благополучно развели, меня туда, его сюда. Комедия окончена! Меня эта встреча возбудила на еще большую борьбу, борьбу за двоих! Я должен был во что бы то ни стало показать своему учителю, что я его достойный ученик. Я уже знал на практике, что такое Лубянка и как там могут ломать. Из этой встречи я сделал вывод, что следователь не врал, что на меня показывают, но это не вызвало во мне мести, а жалость и остервенение, с которым я входил в кабинет моего следователя.

Когда я в первый раз вошел в его кабинет, вид у меня был наглый. Школа жизни, отсутствие страха, поставленный в боксе № 3

крест, общий над всем, над тем, что было там «на том свете» и тут, в преисподней ада! Я шел ва-банк! Ставка сделана, игра началась, и майор Дубына это понял по той наглости, с которой я вошел в его логово! Я его презирал и все его бесовское воинство, вместе с партией и правительством, и с их «отцом родным». Все это было написано на моем лице.

Битва началась! Мне нечего было терять! Сзади никого нет! Я один! К вам я не приведу ни одну живую душу. Все на мертвых! Идите, сволочи, копайте могилы! Я знал, за что я сел! Мое место тут, но только мое и никого больше! Все покойники, ко мне!

Сейчас я буду все валить на вас! И валил, судите их вашим «особым совещанием»! В конце концов я «был избит, исхлестан и распят жандармскою кастой»!.. А майору-дубине пришлось ретироваться, он от меня ничего не добился. Его заменили.

Мне он мотал террор! Он мне дал расписаться в обвинении меня по этой статье. Кто из севших так сломался? Кто? Кто? Я начисто все отрицал, понимая, какой срок меня ожидает по одной этой статье, не говоря об обычной 58-10 часть II. Я требовал очной ставки! Но прежде, по-ленински: «Бытие определяет сознание». Я его потерял! Очухавшись, я потребовал прокурора. Мне предоставили честь видеть и говорить. Шикарный кабинет, ковры, люстры и он! Толстый, как слон, прокурор Дарон! (впоследствии расстрелянный вместе с Берией). Я перед ним, вроде моськи:

– Я протестую, я требую...

Тухло смотря на меня своей свинской харей, со многими подбородами, он вышел из-за стола, сделал несколько шагов в моем направлении и прохрюкал:

– Вот сейчас я на тебя сяду.

Дерьма на ковре не было бы, ибо у меня были только кости, шкура и сухожилия!

– Увести!

Я отказался идти на допросы, меня тащили силком. Майор Дубына зажал мои пальцы дверью. «Сознавайся, сволочь». Сволочь молчала. Он отпустил и пошел к столу, тогда эта сволочь схватила табуретку и что есть мочи, а мочи было маловато, запустила ее ему вслед. Задребезжало стекло. В комнату ворвались, и я исчез. Черный ворон мчал куда-то. Бутырки. Вот они какие. За мной

дребезжали пустые бутылки в авоське. Они сопровождали меня всюду из тюрьмы в тюрьму. Меня с ними арестовали, и вещи арестованного следуют за ним. Бутырки! Коридоры, камеры, вертухаи, боксы, сидения в них часами; время для размышления, время для молитвы, время еще раз убедиться, что ты прав. Дух бодр, плоть немощна. Открываются двери, огромная палата, все в нижнем белье. Два окна с матовыми намордниками. Обступили. Откуда? Что? Как?

— С Лубянки. 58-10 часть II.

— Хреново, сам видишь! — мм — да? Вино!

Люди мечутся, люди прыгают, кто совсем голый, кто без штанов.

Подхожу к «тихому»:

— Что это?

— Сумасшедший дом, не видишь? А как Ваша фамилия?

— Арцыбушев.

— Что-то уж очень знакомая мне Ваша фамилия. А Вы, там на воле Протасьевых не знали?

— Как не знать. Леночка и Ясенька.

— Они, они. Садись, есть хочешь?

— Да еще как.

— А меня зовут Левушка, Лев Николаевич Нагорнечный.

— Лешка.

— Кушай, кушай, но осторожно, ты сильно отощал.

— Вроде как да, малость отощал.

— Передач не было?

— Не было.

— Следствие тяжелое?

— Да, нелегкое.

Где бы ты ни был, с кем бы в камерах не сидел, молчи, не доверяй, даже куску хлеба не доверяй — подсадных полно, мигом камерную 58 наматывают, коль те, основные твои, не тянут! Левушка был радушным хозяином, и как оказалось впоследствии, своим в доску. Он меня и поправил на своих харчах. Жена его, Оболенская, правнучка Льва Толстого, валила ему передачи на троих.

Всяк здесь по своему с ума сходит. Я же ел! У Левушки дела были куда лучше моих. Против него не было показаний, не было свидетелей, да и прошлое у него было куда чище моего. Инженер, и



хвост у него не был замазан так, как у меня. Он надеялся выкрутиться, правда, и я по своему оптимизму надеялся на то же. Мы даже условились: кто первый выйдет, другому передаст тульский пряник. Спустя несколько месяцев я его получил. Левушка на свободе.

Дерьмо я не ел, императором себя не считал, а потому комиссией, во главе с Краснушкиным, был признан вменяемым и за содеянное ответственен, вместе с покойничками.

Простившись с Левушкой, набив карманы жратвой, сел я в военок. Загremели злосчастные бутылки, и покотил я в неизвестность. На новые мытарства, уже знакомые, привычные и потому не страшные. Чем хуже, тем лучше! Таков был мой девиз. Обладая им, я радовался настоящему и не боялся впереди идущего, я был готов ко всему. Я был всегда спокоен, и, как ни странно, весел, а тем более сейчас, ощущая свою задницу не как у скелета, по которому мы в студии изучали анатомию костей, а как у Геркулеса или у Аполлона Бельведерского, подпрыгивая на которой, мне не было больно, а даже приятно. Я ощущал в себе силы. Ба! Да что же это? Куда я приехал? Снова гремят бутылки. Вылезай! Руки назад! Лефортово.

Камерные двери, одна за другой в пять этажей, лучами сходящиеся к центру, к огромному винту железных ступеней, к которым сходятся черные линии металлических галерей, по которым, стуча каблуками, гулко шагают от глазка до глазка вертухаи. Мигает сигнализация на всех этажах: стой, иди, погоди. Поэтажных перекрытий нет, вместо них натянута сетка и с самого низа видна высота и камерные двери на всех этажах, подчеркнутые черной линией галерей. Во всей этой высоте, в графической паутине черных галерей, ты ощущаешь себя маленькой, беззащитной букашкой на асфальте, которую, раздавив, даже не заметят чьи-то каблуки. За мной захлопнулась дверь. Войдя со света, я окунулся во тьму, из которой что-то такое же темное подошло ко мне, хмурое и мрачное, как тень, как привидение, как смерть. Глаза начали постепенно ощущать свет от окна, под потолком, от вездесущей лампы, которая все ярче и ярче начала высвечивать камеру, человека, стоящего передо мной, стены, по которым текла вода, скользкие и замшелые, две железные койки и стол с двумя табуретками. Вся камера, стены и стекла и весь воздух вибрировали от непрерывного

гула пропеллеров, ревуших и воющих, где-то тут, совсем рядом, закладывая уши непроницаемой пробкой. Чтобы услышать свой или чужой голос, надо было постоянно зевать, чтоб раскрепостить уши. Раскрепостив их, я понял, что стоящего против меня человека зовут Максимом. Что-то безнадежно мрачное было заложено в его лице, в опущенных плечах, во всей фигуре.

Лефортово – тюрьма режимная, строгая, беспощадная, все камеры одиночки, но с перевыполнением плана скотозаготовок сажали по двое. Сидящих в одной камере кормили по-разному. Максиму черпак снизу, мне сверху – кому корешки, кому вершки. Как хорошо, что Левушка нарастил мне мышцы, был запас терпенья. Месяц пребывания в сумасшедшей камере не только дал мне запас прочности, но и научил меня многим премудростям. Так, я хорошо мог симулировать приступы неистовства, с пеной у рта и биемией головой о стену, идиотскую мимику, безумное хихиканье и многое другое, в зависимости от ситуации. Психиатрическая комиссия, признав меня вменяемым, все же поставила свой диагноз, в оправдание запущенной мною в следователя табуретки. Реактивный психоз, переходящий в истерию. А раз это так, то я могу, пользуясь этим и неким умением играть, что-то добиваться.

В Лефортове, как и на Лубянке, от подъема до отбоя лежать и спать в любом положении запрещалось. Это очень мучительно, глаза слипаются, ноги подкашиваются, становятся как ватные, сидя на табуретке, того глядишь, упадешь. Глазок не дремлет, в глазке глаз, чуть что – стук ключами в дверь, встрепенешься, встанешь, а ноги не идут.

Арцыбушев на сцену! Занавес! Обмотав голову простыней, в пляске святого Вита я бьюсь головой о стенку! Вертухай мгновенно в камере, хватает тебя стальными клешнями. Пена у рта, идиотский смех. Ты лежишь на койке повязан, все той же простыней. В дверях тюремный врач, на этот раз женщина. «Что с Вами?» Спать. Спать. Спать! «Откуда он прибыл?». «Из психушки!» Спать, спать, спать! Укол в задницу. «Пусть спит, – сказала врачиха вертухаю». «Не положено!» «Я дам разрешение». «Это другое дело». Спа... спа-ть.

Мне было разрешено спать, спать круглые сутки. Меня не таскали на допросы, следователь забыл обо мне. Передышка. Но как

только я, разыграв сцену реактивного психоза, переходящего в истерию, получил возможность спать, сон как рукой сняло, хоть глаз коли. Максим же томится на табуретке. От глаза до глаза есть минуты, в которые я становлюсь Максимом, он — мной. Я сажусь спиной к двери в его робе, он ложится на мою койку в моей. Теперь я хочу спать. Максим спит, я сижу, вертухай спокоен. Один сидит, другой лежит. Все как положено в этой камере. Гудят пропеллеры, дребезжат стекла, вода сочится по стенам.

Странный был человек, этот Максим. Постоянно разевая рот, чтобы слышать, слушал я его рассказы. Он простой деревенский паренек из-под Полтавы, в свои двенадцать лет принял он от родной бабки «силу». В лесу на Ивана-Купалу, передала она ему силу бесовскую, коей сама владела.

— То, что видел я в эту ночь, да в том лесу, пересказать не в силах, чуть замертво не упал, чуть ума не лишился. С тех пор вся моя жизнь под воду ушла в омуты глубокие, в коих часами сиживал, пристроив ко рту и носу шланги, конец которых на поверхности с поплавком плавал.

— А что ж ты там видел?

— Всю мудрость жизни в той преисподней черпал, а выходя на свет Божий, все наперед знал, кого что ждет, смерть ли, болезнь ли, мысли чужие читал, как по книге. Гроб своей матке сколотил. «Чего, — спрашивает она, колотишь?» — «Гроб», — говорю. — «Кому это?» — «Тебе, тебе». — «Аль уж пора?» — «Завтра, завтра». Так оно и вышло на завтра, конь копытом прямо в висок. А захочу, играючи, идут бабы на сенокос, да средь поля юбки задерут, да словно по воде идут, да визжат. И про тебя многое знаю и наскрость вижу, судьбу твою долгую. Вот, смотри. Сейчас тебе передачу принесут.

— Мне, передачу? Да ты что, смеешься, Максим?

— Подошла женщина к окну, «такая-то, такая», — и описывает мне Тоню очень точно. — А передает она тебе «то-то и то-то», — и описывает в подробностях.

Но, что меня поразило, что через некоторое время открывается «кормушка»:

— Арцыбушев, передача!

Первая за четыре месяца, а в ней все то, что перечислил Максим.

— Знать, твой следователь с тебя опалу снял, но снял неспроста,

готовит он тебе сокрушительный удар, с каким-то Иваном свести хочет, чтоб он на тебя показал, что ты кого-то убить собирался. Признайся, есть у тебя Иван какой-либо?

— Есть, — говорю, — есть.

— Скоро, скоро тебя от меня отымут, тогда я и повешусь, во — веревка! Я б давно, кабы не ты, каб не спать.

В Лефортове я пробыл больше месяца и, действительно, меня вскоре вызвали с вещами. Прощаясь с Максимом, я умолял его не вешаться:

— Потерпи, все проходит, пройдет и это.

— Не, сил больше нет, меня там ждут!

Передышка окончена. Снова гремят бутылки, во исполнение закона о сохранности вещей, с коими был человек посажен.

— К стене! Фамилия? Имя? Отчество?

И воронок, а в нем ящик, а в ящике я.

Лубянка, камера. Все время меня не оставляла мысль, какое сражение готовит мне Лубянка и мой Дубына. Меня волновала навязываемая мне террористическая статья, по которой можно загреметь на всю катушку, а то и вышка, как посмотрят, а я им здорово насолил своим наглым поведением. Сейчас, вспоминая пройденный мною путь как всей жизни, так и тех десяти мучительно тяжелых лет, когда смерть гуляла где-то рядом, иногда подходя вплотную, я делаю большие обобщения, сдвигая время, освещая основные моменты и этапы жизни.

Я не придерживаюсь хронологии в описании событий, не вдаюсь в подробности всех моментов тюремной жизни, с ее системой унижения и уничтожения человеческой личности и ее достоинства — об этом достаточно написано и сказано. Я, как художник, стараюсь написать полотно прожитой жизни большими мазками и цветовыми пятнами. Но в то же время мне не хочется, чтобы это полотно несло бы в себе ложно героический пафос.

В связи с этим я должен заверить Вас, что я такой же человек, как все, со всеми грехами, пороками и слабостями, и во мне их больше, чем в ком бы то ни было, и Вы в этом сами убедитесь, прочитав до конца эту книгу моей жизни. Но, наряду со всеми слабостями, колебаниями, отчаянием и падениями, верх брала необходимость бороться. Оптимизм, борьба и сопротивление в любых

областях жизни были и остались основной чертой моего характера будь то тюрьма, лагерь, ссылка, будь то любовь или страсть. Описывая Лубянку и тот период своей жизни, я, в силу своего характера, восстанавливаю в памяти «главное»! А главным было сопротивление системе, и оно было для меня естественным, так как я ее презирал! Презирал не людей, а систему.

Если пребывание в Лефортовской тюрьме я определил, как передышку, то это говорит о моем оптимизме и о том девизе, с которым я шел дорогой смерти: «Чем хуже, тем лучше!» Лефортово было больше передышкой духа, а не плоти. Текущая вода со стен, оглушительный вой и рев пропеллеров, не прекращающиеся ни на минуту за все мое пребывание в камере. Баланда и плавающая в ней мерзость, ложка отвратной кашицы, «прогулки» в собачьем ящике, пинки под зад вертухаев, ведущих тебя на нее, слепящий душу свет проклятой лампы под потолком, полчища клопов, сосущих твоё тело, неустанное, неутомимое око не вертухая, а всей чело­веконенавистной системы сопутствовали мне в этой «передышке»! Спасал оптимизм, спасала молитва! Моя ненависть, мое презрение к этой системе было не физическим, а духовным. Во мне не было жажды мести, а была жажда сопротивления.

Вновь Лубянка, общая камера. Те же клопы, пикирующие на тебя с потолка, та же вонь параши, намордники на окнах, «несу­сыпное око», ходящие, сидящие призраки, раздавленные и бо­рющиеся со своим тяжким крестом на плечах. Это — человеческая Голгофа, и кресты свои несут слабые и немощные люди, а не Хри­стос! Кто падает под его тяжестью, кто волочит его, проклиная все на свете, кто несет спокойно с достоинством, я же нес его с ожесточением, с азартом игрока, поставившего на карту «жить или не жить»! И те, и другие, и третьи были неповинны в тех смертных грехах, в которых обвинялись и за которые их мучили, казнили, ссылали в лагерь, лишали жизни, свободы, превращая в скот, в лошадино-человеческую силу, строящую коммунизм во имя счастья всего человечества. Армия палачей, исполнителей, служителей всех видов и всех рангов от вертухая до «Обожаемого», со всем его «политбюро», секретариатами, ЦК и Верховным Советом кру­тили это адское колесо смерти, задуманное и вдохновляемое, раз­работанное и начатое Лениным. Сытые, самодовольные, гордые

в своем величии циники, ни во что не верящие и всех презирающие, крутили это адское колесо в свое удовольствие, в свою сытость плоти и в самоутверждение своей власти над миром. Эта мясорубка, раскрученная маховым колесом Ленинских идей, промалывала в своей воронке всех, кто конструировал ее, строил и вдохновлял, без сожаления и с той же жестокостью и принципиальностью. Кто не с нами, тот наш враг. Врага же определяло движение пальца, взгляд, росчерк пера верного соратника и генерального продолжателя Ленинских идей — Великого Сталина. Казнились одни с клеймом «врага народа», их место занимали другие, подобные им, готовые на все ради власти самому казнить. Ради своей личной корысти, ради власти большой или самой маленькой миллионы людей принимали участие, прикладывали свои силы, талант и энергию к раскручиванию этого «маховика», который, как молох, крушил и разрушал людей, общество и людские души, подчиняя их своей идеологии, в основе которой лежало насилие и ложь. Они обезглавливали ее, разрушая религию, отнимая и вытравливая из нее все духовное, все ценное, одухотворенное, индивидуальное. Они умело, жестоко и хладнокровно ломали психику, волю и самобытность, стремясь подчинить все своей злой воле, которой поклонялись сами, которой кормились как вампиры.

Зло, рожденное злом, им вскормленное, умноженное и возведенное в степень, в культ, становится руководящей силой партии над народом безмолвным, бездушным, затравленным, народом-быдло, народом, парализованным, превращенным в скот.

За зло платят, награждают звездами и орденами, высший из которых, — орден Ленина. Следователи получали свои «гонорары» за каждую привязанную душу, ордена и кресла за «организации», «партии» и всевозможные «подполья», ставящие своей целью «свержение власти». Высасывая из пальцев обвинение, строились многотомные дела с красной надписью по диагонали — «Хранить вечно!» Вот как оно, это зло, намеревается существовать — не долго, а «вечно»!

Так на одном безобидном, добром, сострадательном, бездомном человеке, не имеющем и не несущем зла, а одно добро, веру и молитву, следствие накрутило двадцать душ, двадцать преступников, «ставящих» себе целью «свержение» и «восстановление».

Вы спросите: «Чего?» – «Монархии!» Следствием эти старики и старухи значились «подпольная организация», программу которой они же и состряпали. Что можно приписать старикам и старушкам, родившимся при царе, и мне – внуку царского министра, самому юному – мне было 26 лет, – кроме как «восстановление монархии»? Bravo, Bravo! Несгибаемые рыцари революции верны себе! Карающий меч занесен!

– Да что же это за организация без юных кадров, без молодой поросли, ведь кто-то должен свергать, стрелять, взрывать, не старушки же? А! Арцыбушев! Вот и террорист – налицо. Тем более дед – министр, дядя расстрелян, мать сидела (зря выпустили), досье с лихвой, с Муромы, с 11-летнего возраста и по сей день. Самарин, он же Алексеев, поработал на славу, наплевать на то, что этот мерзавец-Арцыбушев – знал, что он «сексот». Хитрая сволочь, наглая, сопротивляется, молчит, выгораживает. Ничего, мы его прижмем фактами, фактами, признаниями слабых, «виляющих». Их бить не надо, стоит припугнуть хорошенько или матом, он на них хорошо действует. Знаем мы эту вшивую интеллигенцию, не впервой нам их давить. Корнеева на допрос... Садись!

– Спасибо, спасибо, благодарствую.

– Иван Алексеевич, как себя чувствуете?

– Благодарю вас, хорошо.

– Передачи получаете?

– Нет, спасибо.

– Вы их сможете получать... если...

– Спасибо, благодарствую.

– Если вы хорошенько припомните все разговоры у вас на даче с Романовским и Арцыбушевым.

– Ну, я уже вам подробно все рассказывал...

– Припомните, хорошенько, а не высказывал ли вам в разговорах, ненароком, Алеша, как вы его называете, каких-нибудь, таких взглядов... мнений, предположений, намерений, могущих нанести... ну, скажем, вред отдельной личности... ?

– Что-то не ... п-ри-по-ми...

– Постарайтесь припомнить, чтобы вам не сидеть всю ночь до утра. Следствию известны его взгляды и намерения, нам, в общем-то, ваши показания и не нужны, они в ваших интересах, в ваших!

Припомните, не высказывал ли Алеша предположений или желаний... ну скажем применить насилие против... личности или личностей?

– Желаний? Нет! Мне...

– Что вам?

– Мне вспоминается, что он как-то сказал...

– Что сказал!!!

– Он, дай Бог памяти, он... сказал... Вот вспомнил! Он сказал, что их всех надо вешать... Уф...

– Кого всех?

– Их...

– Кого их? Сталина?!

– Не могу сказать... помню их!

Долгая пауза, следовательно сосредоточенно пишет.

– Подпишите! У меня на даче, при очередном сборище антисоветского подполья, в присутствии Романовского Николая Сергеевича, Арцыбушеву Алексею Петровичу было поручено подготовить и осуществить террористический акт против Сталина.

– Я этого не говорил.

– Иван Алексеевич, но ведь это одно из другого вытекает!

– Мн... Да?

– Подписывайте! Не дожидайтесь, чтобы вас принудили!

– Хорошо, хорошо!

– Увести! Полдела сделано, гора с плеч! Одного показания мало! Для соблюдения «законности» необходимо подтверждение Романовского на допрос!.. Садитесь, Николай Сергеевич.

– Благодарю.

– Как себя чувствуете?

– Как можно себя чувствовать в тюрьме?

– Тюрьма тюрьме рознь. Все зависит от поведения на следствии, от искренних признаний своей вины, раскаяния в совершенном, в правдивых показаниях, не только касающихся своей вины, но и соучастников. Все это облегчает не только тюремный режим, но и вашу участь впоследствии. Вам известно, что преступления ваши караются законом от пяти лет до высшей меры?

Какой диапазон! Наш демократический строй – самый гуманный в мире. Мы никого зря не осуждаем, мы ждем признаний, от



которых зависит и наказание. Наша задача не уничтожить преступника, а исправить, помочь ему раскаяться, осознать вину не только свою личную, а общую, а она вам известна и вы ее признали.

— Да, да.

— Естественно, к тем, кто сопротивляется, упорно отрицает очевидность своей вины, не желает ее признать, несмотря на все улики, следствие вынуждено применить меры воздействия, чтобы помочь человеку осознать, исправиться. В этом наша общая задача, и вы нам должны в этом помогать. В нашем социалистическом государстве все для человека и все ради него. Вы думаете, легко прибегать к крайним мерам — лишать передач? Кстати, вы получаете передачи?

— Нет.

— Ну, так будете, если поможете нам разобраться... Лишать передач, а тем более сна, нам никого не хочется, но приходится, если преступник, несмотря на все улики, упорствует. Карцер, одиночки — тоже одна из мер, направленных на желание наше наставить человека на путь раскаяния. У нас есть и более сильные меры принуждения. (В это время за стеной раздается дикий крик истязаемого.) Слышите? Чекисты — самый гуманный народ, но они стоят на страже защиты родины от врагов ее, и тот враг, кто упорствует. Вот ваш «воспитанник», которого, по вашим словам, вы взяли, чтобы воспитать его в антисоветском духе, долго упорствовал, и вы виноваты в этом, это результат вашего воспитания. Следствию пришлось, скрепя сердце, применять к нему самые строгие меры воздействия, чтобы вышибить из него этот дух, искалечивший его психику, превративший его в фанатика и подлинного врага системы. Это дело ваших рук, Николай Сергеевич, а нам приходится исправлять ваши преступления и приводить его в сознание... Думаете, нам это легко делать? Нам жалко каждого человека, но у нас других путей нет, и метод воздействия необходим для вашей же пользы. Если раньше ваш воспитанник нагло себя вел, не признавал своих преступлений, не отвечал, не подписывал, выгораживал себя и вас, то сейчас, под давлением улик, во всем признался, мы вынуждены были «развязать ему рот» и для его же пользы, и для вашей, во всем чистосердечно признаться. С опозданием, правда, и это скажется на его дальнейшей судьбе. Наше

правосудие – самое гуманное, от пяти до высшей меры, посмотрите, какой диапазон! Нам не за чем вас принуждать, хотя и вы можете не избежать применения к вам методов воздействия, если станете упорствовать. Ваш друг, Иван Алексеевич, без всякого принуждения показал, что в вашем присутствии, у него на даче ваш «Алеша» высказал некое мнение: «Что их всех надо вешать». Вы помните такой разговор?

– Что-то не помню.

– Вспомните, Корнилов хорошо его вспомнил, не заставляйте нас, не вынуждайте... Мы не хотим зря прибегать...

– Вешать, что?

– Не что, а кого! Вешать их!

– Кого «их»?

– Что вы дурака валяете, вы должны сами понять, кого «их».

Не кошек же!

– Кошек?

– Вы что, хотите пойти в соседнюю комнату?

– Нет, нет, но я не понимаю, кого «их»?

– Корнеев признался, что у него на даче, в вашем присутствии Арцыбушев изъявил желание «всех их повесить»! Поняли? Нам, следствию, необходимо, чтобы вы вспомнили этот разговор, в противном случае... Мы будем вынуждены, вспомните о гуманном диапазоне мер пресечения.

Долгое молчание. Следователь слушает в наушниках трансляцию футбольного матча «Динамо» – «Спартак».

– Вспомнили?

– Ну, раз Корнеев говорит...

– Это уже другой разговор.

– Но он, может, лучше помнит.

– Вспоминайте и вы.

– Вполне возможно.

– Значит, говорил! А что вы еще могли бы сказать следствию об Арцыбушеве? В дополнение к сказанному.

– Ну... Ну, что этот человек склонен к всевозможным авантюрам.

– К каким?

– К разным.

– Он способен не только к авантюрам, но и к более рискован-

ным действиям, скажем, к дракам?

– Да.

– Ну, а на более серьезные преступления, что-нибудь кинуть, взорвать, стрелять, убить?

– Нет, не думаю.

Длительная пауза, следователь пишет сосредоточенно протокол допроса. «Я, Романовский, предполагаю, что Арцыбушев А.П. склонен на всякие рискованные действия, способен рисковать своей жизнью и выполнить порученное ему задание. Я подтверждаю показания Корнеева в отношении разговора, состоявшегося на заседании организации у него на даче такого-то числа, месяца и года».

– Подпишитесь.

– Ваша формулировка не отражает ваших вопросов и моих ответов.

– Формулируем мы, ваше дело подписывать! Подписывайте, подписывайте. Арцыбушев сам во всем признался и дает исчерпывающие показания. Не принуждайте нас... применять меры. Нам куда проще без них и вам лучше. (Романовский подписывает).

– Все?

– Да, пока все, но на очной ставке вы обязаны подтвердить свои и Корнеева показания следствию, во избежание лишних неприятностей. На очной ставке следствию необходимо окончательно поставить все точки над «i». Следствие слишком затянулось по вине бесполезного сопротивления вашего питомца. Теперь он это понял.

Пора кончать! Уведите арестованного!

Ну вот! Можно делать очную ставку. На ней они сами прижмут эту сволоочь к стене. Только теперь их надо поощрить и в то же время припугнуть. Бить не надо, они и без этого сломлены.

– Алло! Передачи Романовскому и Корнееву разрешены, сообщите родственникам, пусть тащат.

Вот паутина, в которой следствие хотело меня запутать, чтобы юридически у них было бы основание узаконить предъявленную мне статью о терроре. Расчет простой – двое против одного. Преступление раскрыто и доказано! Организация сострепана, Криволицкий – ее организатор. Программа есть. Все сознались, кроме Тыминской и Арцыбушева, на старуху наплевать, а Арцыбушева прижмем с полным соблюдением законности и правосудия!!!

Антисоветская церковная, подпольная организация, ставившая себе цель свержения Советской власти и восстановление монархии в стране!!! Во как поработали «рыцари меча»! Славные чекисты высоко несут свое знамя от Дзержинского до Берии. Не напрасно на всех многомиллионных томах разных дел красными буквами, по диагонали начертано:

**ХРАНИТЬ ВЕЧНО!**

Очная ставка — ответственнейший момент в постановке, заключительный аккорд и... ордена... звездочка в погонах майора Дубыны и новые кресла, повышение и... Гонорары! Гонорары!

— Арцыбушев, на допрос!

Я не знал, куда меня ведут, но был готов ко всему. В лифте, стоя лицом к стенке, молюсь. Господи, помоги мне, батюшка, отец Серафим, помогите, помогите!

Вводят! Большой кабинет. Железный Феликс, кровавый палач, смотрит на меня в упор, железно и пронзительно, как ему и положено смотреть. «Отец родной», в золотой раме под стеклом, смотрит нежно, по-отечески, улыбаясь себе в усы, и думу думает большую о счастье всего человечества и о моем тоже! Под ними — трое, среди них мой Дубына, остальных не знаю, но все суровы. Стенографистка, молоденькая девка, сбоку, тоже смотрит сурово, как Феликс. Справа у стены — Корнеев Иван Алексеевич, чуть поодаль — Коленька. Вид у них — краше в гроб, сломлены напроць! Я вошел вызывающе нагло, посмотрел на них призывающе, — выше головы! Я знал, что очная ставка дается для утверждения вины «одного — многими»!

Следователь: — Корнеев, подтверждаете ли вы, что в присутствии Романовского, на вашей даче, такого-то числа и месяца, Арцыбушев заявил свою готовность «всех их повесить»?

Корнеев: — Да!

Следователь: — Арцыбушев, признаете ли Вы правильность показаний Корнеева?

Арцыбушев: — Да! (облегченный вздох за столом). Да, но я хочу уточнить.

Следователь: — Пожалуйста.

Арцыбушев: — Я говорил это про акварельные рисунки, лежащие на столе!

Мне не были видны лица Коленьки и Ивана Алексеевича. Я был посажен спиной к ним. Следователи подняли брови.

Следователь: — Корнеев, подтверждаете ли вы свои, ранее данные показания, что Арцыбушев, по вашему заданию, готовил террористический акт против Иосифа Виссарионовича Сталина?

Корнеев: — Да.

Тут я вскочил со стула и, очутившись перед Корнеевым, заорал: — Если ты, гад, топишь себя, топи сколько угодно, но не других! Когда, когда я это говорил? Сволочь, я тебя на первом этапе убью! Думай, что говоришь!!!

Я весь дрожал от злобы, от возбуждения, наверное, вид у меня был страшный. Меня схватили, скрутив руки, и посадили на место.

Во исполнение законности следователь повторил свой вопрос, будучи уверенным, что Корнеев ответит утвердительно.

Следователь: — Корнеев, вы подтверждаете?

Корнеев: — Нет!

Следователь: — Как нет?

Корнеев: — Не подтверждаю, меня принудили.

Следователь: — Романовский, вы подтверждаете ранее данные показания, в которых вы подтверждали показания Корнеева?

Романовский: — Нет.

Следователь: — Вы отказываетесь от ранее данных вами показаний?

Романовский: — Да, отказываюсь.

Следователь: — Корнеев?

Корнеев: — Отказываюсь.

Следователь: — Увести их.

Вертухаи их уводят, я остаюсь. Сногшибательный удар по зубам.

Очная ставка окончена!

Майор Дубына поставил точку над «i»!

У меня новый следователь Николай Васильевич (фамилии не помню). Он дал мне расписаться о снятии с меня обвинения по страшной статье, которая мне стоила вставной верхней челюсти, и память об этом дне пожизненно ощущаю я, жуя хлеб насущный.

Мой новый следователь — мягкий, даже ласковый. По его словам, он — личный друг Лаврентия Павловича, и его фотография с

личной подписью стояла на его письменном столе. Бедный Николай Васильевич, куда же он девал ее, когда его закадычного пустили в расход? Николай Васильевич, быть может, пошел вслед за ним, а может быть, снова поет в церковном хоре, в котором, по его словам, пел «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою! Положи, Господи, храненияя устам моим!» Это необходимо, в особенности, находясь на Лубянке, даже и в том случае, когда следователь «мягко стелет». Николай Васильевич «жестко спать меня не клал», то ли понимая, что чересчур жестко я привык спать у бабки на полу в Якиманской слободе с первых дней нашей ссылки (тогда мне было одиннадцать лет), то ли следствие, затянутое моим сопротивлением, пора было кончать. Меня оставили надолго в покое, на съедение клопам в разных камерах. А по камерам ходили рассказы о мальчишке Ваньке Сухове, севшем за грехи человечества в шестнадцать своих невинных лет, вслед за своим братом. Впереди меня ожидала встреча с ним, но, забегая вперед, я расскажу о нем и его судьбе, пока меня оставили в покое.

Вся система нашего правосудия построена на том, что каждый человек — потенциальный враг системы. Если бы наоборот, то было бы верней, но именно те, кто так мыслит, являются ее истинными врагами и подлежат изоляции или уничтожению. Пресловутая 58-10 как раз и существовала для того, чтобы карать за мысли, сказанные, написанные, нарисованные. Мысль, выраженная словами, — преступление. Мысль, написанная, — преступление в квадрате! Одиночный «болтун» следствие мало интересовал, но он для них являлся наживкой, на которую вытягивали богатый улов. Сам с собой никто не разговаривает. Сажают и того — с кем. Тот в свою очередь добровольно или с принуждением оговаривает следующего, и так наматывается клубок врагов. Тут уже — организация, ставящая себе цель. Если человек свою мысль написал, то, естественно, сажают всех, кто читал, знал или слышал. Мальчишки и девчонки девятого класса советской школы дружили, влюблялись и что-то писали, стихи или прозу, но вольнодумную, с их точки зрения, безобидную, т.к. для них все это была забава, а не политика. Они играли больше в любовь, а все остальное подогревало ее и делало романтичной. Но всем известно, что в любви часто неминуемы треугольники. В порядочном обществе они развязываются не

на Лубянке. В нашем же — его проще всего развязать доносом. Так мальчишки и девчонки оказались на Лубянке и вместе с ними их любимые куклы, стишки и проза. По формуле «каждый человек», а следовательно, и не совершеннолетний — «враг» в принципе, а тут — вещественные доказательства. Следователи — по натуре своей романтики, верней, романисты, бодро взявшись за перья, сочинили детектив, да такой, что решили по нему поставить спектакль для детей школьного возраста, вход на который для всех был свободен. Идеологически спектакль был выдержан в духе времени, назидателен как для взрослых (отцов, матерей, педагогов, комсомольских организаций, воспитателей детских садов и яслей), так и советской молодежи. Артисты, они же подсудимые, были тщательно отдрессированы в следственных кабинетах. Метод режиссеров нам известен, диапазон творческого подхода тоже. Он был далек от гениальной системы Станиславского. Самое главное, чтобы подсудимые хорошо сыграли свою роль и отвечали на вопросы так, как того желало следствие. Постановщики были уверены в себе так же, как мой Дубына перед очной ставкой, на которой он предполагал поставить все точки над «і». Чем это кончилось, Вам известно: для меня вечным протезом, для него... новым потом и кровью новых жертв.

Спектакль отрепетирован, декорации написаны, зал полон зрителей. Прокурор справа, защита слева, артистов вводят.

Суд идет, прошу встать! Судьи в своих дубовых креслах с гербами. Они тоже артисты, отрепетированные, слажено играющие свою комедию под названием ПРАВОСУДИЕ. Комедия показательного процесса началась. В роли адвоката — известный в Москве Комодов. Ознакомившись со сценарием, а как защитник он имел на это право, и встретившись с отдрессированными следствием артистами, отрепетировал их согласно системе Станиславского — Правда и только правда!

Подследственным артистам ближе по душе оказалась правда и они, нарушив все «советы», пошли по непредвиденному пути импровизации, в которой преступления не оказалось. Они уже не играли по заданной схеме, говорили правду, которая колет глаза. Комедия оборачивалась в мелодраму. Прокурор ерзал на своем прокурорском кресле. После его горячей речи не в защиту невинных,

а в защиту системы правосудия, после еще более зажигательной речи Комодова (тогда еще можно было в некоторых случаях рискнуть) подсудимым дали последнее слово. Процесс шел явно на признание их невиновными.

Ободренный этим Ваня Сухов в своем последнем слове переиграл по молодости лет.

«Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои.»

Ванька Сухов молчать не научился! «Сказал бы словечко, да волк недалечко!» Ваня Сухов продемонстрировал суду, прокурору, залу свою сокрушенную следователем челюсть! Он переиграл!

Волк, сидящий в кресле прокурора, незамедля потребовал прекращения процесса для выяснения обстоятельств применения «недозволенных» методов следствия. Закон был на его стороне! Суд постановил: удовлетворить требования прокурора, подсудимых — на доследствие, после которого суд в том же составе продолжит рассмотрение дела! Вместо оправдания, так безусловно вытекающего из хода процесса, снова всех на Лубянку, обратно к «постановщикам»! Они потирали руки и благодарили Ивана Сухова за его опрометчивость.

Подсадив к нему в камеру провокатора, благодарные «сценаристы» сходу состряпали на Ивана «камерную» 58-10; пустили дело через ОСО, которое всучило ему пять лет лишения свободы! Девчонок и мальчишек выпустили, посчитав год следствия за три. Вот и сказке конец.

Я привел ее, как маленький пример большого беззакония всей системы. «Многократно повторяемая ложь становится правдой» и не только правдой, но и движущей силой, на ней зиждется вся идеология мифического коммунизма. Ее нам вдалбливают с пеленок, до гробовой доски. Все направлено в одну точку — вдолбить, всеми силами вдолбить «неизбежность». «Коммунизм неизбежен», — эти лозунги сопровождают нас повсюду, их выкладывают булыжниками по пути следования поездов, их выращивают цветами и травками в парках, гигантскими буквами они смотрят на нас с крыш домов, они светятся и конвульсивно мигают во мраке. Неизбежно! Как смерть! Как то, от чего не уйдешь!

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма! Он не шест-



вует, он бродит! Бродит, как тать, как вор, как зло! Он призрак, а бывают ли светлые призраки? В основе этого призрака заложены: насилие, ложь и ненависть! Потому-то он и бродит, ища жертвы! Это его пища, питание, без них он не способен жить, а жить он намерен вечно, заглатывая в свою ненасытную утробу народы, страны, мир. Тьма, зло, беззаконие Ленинских идей становятся «светом», который должен просветить всех!

**СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ!** Свет добра, истины, любви, свет милосердия, сострадания, свет надежды и веры, свет правды и всепрощения. Хоть идеологи зла и ненависти, лжи и насилия взяли на свое вооружение в кодексе строителей коммунизма все моральные качества, перечисленные выше, но они не имеют в себе жизни и не несут ее людям, потому что свет их озаряющий есть тьма! И «сатана там правил бал»!

А на Лубянке, в этом гадюшнике, в этом логове зла и насилия бал и Вальпургиева ночь — по всем этажам! От подвалов, в которых казнят, до кабинетов красного дерева, в которых восседают и вершат!

А я сижу в камере, меня жрут клопы, как всех, и я чего-то жду. Арцыбушев! Иду, еду, веду, руки за спину. Бокс. Сижу — жду. Входит Николай Васильевич. Встаю.

— Садитесь.

Сел.

— Ваше следствие окончено, сейчас вы сможете ознакомиться с материалами следствия.

Уходит. Вносят двадцать томов, двадцать пухлых папок. На всех — «хранить вечно». «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!» Если бы не застрелился, то читал бы!

Я сказал, что все эти папки меня мало интересуют, кроме папки Романовского и Корнеева. Их я хорошо пролистал и имею полное представление о том, как их ломали. Иначе, чем меня, но для них и того было достаточно, они моих университетов не проходили, а были, по-лагерному говоря, слишком «цирлих-манирлих», тепличны, от мата у них вяли уши, млело сердце; от одной мысли, что их могут ударить, трепетала плоть. Не спать неделями для них была самая страшная пытка, пикирующие с потолка клопы — страшнее «мессершмитов», параша, летающие штаны с обреза-

ными пуговицами без ремня — позором и унижением. Им, бедным, было с лихвой достаточно всех тех испытаний, предусмотренных и отшлифованных с первых дней революции до наших дней! Добавьте к этому высочайшую интеллигентность и хама, сидящего за столом! Картина ясна, и как можно осудить их! «Покаяния отверзлись двери!» Все каялись, соглашались, а хам формулировал, а они подписывали. Наживка была благодатной, клев — прекрасный! Как веревочке не виться, а кончику быть. Кончиком оказался я. На этот кончик им бы хотелось еще половить рыбку, но не вышло. Итак улов прекрасный: на одного — двадцать. Очная ставка у них не сыграла, потому что они не учли, что страх может работать и против них же самих. Мои однодельцы видели мое бешенство и сообразили, что я сопротивляюсь, что есть мочи, да еще жив, да еще убить грожусь, а в лагерь им со мной идти. Один страх победил другой!

Следователь: — Корнеев, Вы подтверждаете?

Корнеев: — Нет!

Романовский: — Нет!

Я совершенно не удивился, когда после всех этих перепитий Корнеев обозвал меня подонком! Испуг надолго сработал! Следствие с ним обращалось мягче.

Ознакомившись с двумя «Хранить вечно», сделав свой вывод, простив их от всей души, я подписал 206, что обозначало конец следствия. Но, что это? Николай Васильевич, друг Лаврентия, певший в юности «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою», протягивает мне руку, да не просто протягивает, а говорит, да что говорит:

— К сожалению, вас не выпустят. Вас осудят! К сожалению! Но если вы будете вести себя там, в лагере, так же, как вели себя на следствии, вы выживете и выйдете на свободу!

С этими словами он пожал мне руку, и я тоже, так как был поражен его словами.

Мое сопротивление вызвало уважение. У кого? У следователя! На Лубянке. Это было мне наградой и подтверждением, что один в поле воин, если помогает ему Господь. А мне Он помогал.

Вскоре загремели бутылки в авоське, воронок, в воронке ящик, а в ящике я. В соседнем ящике кашляют, в другом чихают,

воронок мчится в Бутырки. Процедура приема, шмон, бокс, камера общая, знакомых нет. Последний ложится у самой параша, восхождение начинается от этой вонючей точки, в порядке очереди. До окна далеко, но «надежда юношей питает». Камера ожидающих решение «ОСО». Там я встретил Льва Копелева, высокого, худого, с черной бородой, с выразительным лицом, весь облик которого напоминал апостола Павла кисти Эль Греко. Он сразу всем своим видом привлек мое внимание, как художника. Рыбак рыбака видит издалека. Чем-то и я привлек его сердце, хотя я не был похож ни на апостола, ни на пророка, а, быть может, на Давида, победившего Голиафа. Мы быстро подружились. Он уже просидел около пяти лет и прошел тот путь по лагерям, который ожидал меня и был мне неведом, но не страшен. Лагерь лучше, чем тюрьма, это я слышал не раз. В каждом лучшем есть худшее и сразу разобратся и понять невозможно, нужен опыт. Опыт лежал на нарах, ходил по камере, я присаживался или шагал с ним рядом и впитывал в себя «премудрости Соломонова чтения». Мой «Соломон» был мудр, и часть сей мудрости входила в меня. Вся лагерная мудрость очень проста — выжить, сверхмудрость в том, как? Подводных камней и рифов уйма, о каждый можно разбиться, задача в том, чтоб миновать их, пройти и, по возможности, помочь другому сделать то же. В этом и была мудрость моего «пророка». Это мне импонировало в нем, и я с благодарностью слушал. Благодарность моя ему и по сею пору жива! И очень хочется мне передать ее по наследству всем, всем! Вы, Лев Зиновьевич, спасли мне жизнь, и через меня, спасенного Вами, Вы дали ее моим детям, внукам и правнукам до окончания мира! Аминь! Вы спросите: «Как, чем?» Вы, быть может, меня и не помните, можно ль все и всех помнить? Это не важно, важно, что я помню. А спасли Вы мне жизнь одной фразой. Вот она. Единственное место в лагере — это санчасть. Работая в ней, жив будешь и других спасешь. Этой мыслью Вы зарядили меня, и я нажал курок, когда настал момент.

— Пришел этап на известковую штрафную под Воркутой, стоит у вахты. Первый вопрос начальства к прибывшим.

— Медработники есть? Шаг вперед!

Я шагнул.

— Кто?

- Фельдшер!
- Иди в санчасть.

Я пришел и не вышел из нее до конца срока.

Благодаря Льву Зиновьевичу, я получил представление о лагере, о жизни, меня ожидающей впереди, об опасностях этой жизни и о многом другом, о чем я не имел ни малейшего представления, и что необходимо было заранее знать, чтобы правильно сориентироваться сходу. За общие работы я не беспокоился, мое «чудесное» глазное дно выручит и там. Надо вовремя ввести эту карту в игру и играть ей, это моя козырная. Я стал регулярно получать передачи, и на моем «лицевом» счету были какие-то деньги на сигареты, которые можно заказать через вертухаев в тюремном ларьке, но я совершенно не вспоминал о доме, о Тоне. Часто думал я о Варе и о тех счастливых часах, проведенных с ней, но дать ей знать о себе я не мог. По примеру Копелева я отрастил бороду, медно-красную, и вертухаи, выводя нас на оправку, видя меня, говорили:

- Ну, выходи, «Иисус», выходи.

Ожидание своей дальнейшей судьбы было мучительным, как всякая неизвестность. Мучил тюремный геморрой, дикие изжоги от бутырских щей, в которых плавала черная гнилая картошка и кормовая свекла.

Каким-то образом, сейчас уже не помню, попал я в тюремную больницу. Пользуясь случаем, я кинул свою козырную карту с расчетом, чтобы она начала работать «во спасение». Там, в больничной палате, я встретил адмирала Самойлова, посаженного в самом начале войны. По его словам, в то время командовал он второй линией обороны Ленинграда. Родом он был из Буйнакска и много рассказывал об этом городе. Около пяти лет провел он без суда и почти без следствия по тюрьмам Москвы. Все это окончательно подорвало его здоровье, и его возили на коляске, как Рузвельта. Передач он не получал и связи с семьей был лишен. Как мне помнится, жил он в Ленинграде где-то в районе площади пяти углов. Милый, добрый, покорный своей судьбе, беспомощный, разбитый физически, но крепкий духом, таким он остался в моей памяти, но имени его она не сохранила. Там же, в палате, я получил в передаче тульский пряник, по которому я понял, что Левушка

на свободе. Адмирала все, получающие передачи, подкармливали. По неписанному закону, получающий передачу делился ею с не получающим. Неполучающие были как бы распределены между получающими с тем, чтобы у всех было поровну. От параша я давно переключался к окну, а решение моей судьбы томило меня, как и всех в камере. Ждали все своей участи и томились в неизвестности. Копелева, вызванного в Москву на следствие, давно куда-то увезли. Всему приходит конец, но ждать и догонять — самое тяжелое в жизни человека. Дождался и я.

Нас партиями стали вызывать, запикивая в большие боксы и вызывая по фамилиям. Внутреннее волнение было написано на наших лицах, бокс постепенно пустел, можно было двигаться. Волнение успокаивается в движении. Так шагал я, по привычке сцепив руки за спиной. «Сколько всунут?» Этот вопрос мучил всех, от срока зависит жизнь. Меня он мучил еще и потому, что мое поведение на следствии было вызывающим, хотя его и оценил Николай Васильевич, но не он решает.

— Арцыбушев.

Сердце екнуло.

В комнате за столом майор. Вошел, встал. Сердце бьется. Уши — топориком.

— Постановлением Особого Совещания при МТБ СССР от 30 ноября 1946 года, за участие в антисоветской церковной организации, ставящей своей целью свержение Советской власти и восстановление монархии в стране, в соответствии со статьей 58-Ю-П часть 2 Уголовного кодекса СССР приговаривается к лишению свободы сроком на 6 лет с содержанием в воспитательных трудовых лагерях общего типа.

Зачитав сие постановление суровым голосом диктора, объявляющего Указ Верховного главнокомандующего, майор, обратившись ко мне, спросил:

— Довольны?

— Весьма, — ответил я.

— Распишитесь.

Я расписался. Меня вывели и заперли в бокс-одиночку. Сиди и благодари Бога! Это я и делал. Я ожидал, как минимум десятку, а тут шесть лет!!!

Слышу в соседнем боксе специфический голос Саши Некрасова, ругающегося с вертухаем. Интересно, сколько он получил? Интересно, сколько кому всучили? Беспроволочный телеграф в тюрьмах действует отлично. Вскоре по нему я узнал интересный парадокс: тот, кто на следствии сопротивлялся и вел своеобразную войну в неравных силах, получил меньший срок. Я шесть. Некрасов — пять, значит, и он воевал. Маргарита Анатольевна — пять лет ссылки. Она не воевала, она просто никого не знала вообще и первый раз о всех нас слышит. Под своей кроватью старика в первый раз в жизни видит и не понимает, как он туда попал. Попросту, она отказалась отвечать следствию, за что получила ссылку. Корнеев, наиболее сломанный и зацепивший многих, получил больше всех — десять лет Владимирского изолятора. Коленька, зацепивший, по-моему, только меня, — восемь лет лагерей. Криволицкий — восемь, по старости. Об остальных — не знаю.

За эти шесть месяцев у меня скопилось кое-какое барахло, переданное мне в передачах, так что я был не в одной рубашке и мог даже делиться с неимущими. Борода моя росла, и меня по-прежнему вертухаи звали «Иисусом», почему я вызывал в их воображении такую ассоциацию с Иисусом Христом, я не понимал, и меня это смущало, ибо я был так далек, беспредельно далек от этого светлого образа безгрешного Сына Божьего, взявшего грехи мира. Я же все мытарства, выпавшие на мою долю, принимал как заслуженные, как наказания за свои грехи. Такая внутренняя позиция справедливости наказания, ее необходимость для меня помогала мне и поддерживала в трудные моменты жизни. Внутри себя, в своей душе, я все принял как должное, как необходимое для меня испытание. Гром не грянет, мужик не перекрестится. С Мурوما и во всей последующей жизни во мне «играла жизнь, кипела кровь», и многое, заложенное с детства, куда-то ушло и словно не жило вовсе. Это совсем не значит, что для меня перестал существовать светлый мир детской веры, но его все сильнее и сильнее заслоняла жизнь, страсти, грехи большие и маленькие, в которые душа погружается, как щепка в океан, болтаясь среди житейских волн, «воздвигаемых зря напастью бурей». Когда я оказался отсеченным от мира, в нависшей беде, один на один с ней, единственной соломинкой спасения была вера, всплывшая в душе на поверхность и

открывшая мне «множество содеянных мною лютых». Пришло раскаяние, пришло покаяние с мокрой подушкой от слез.

Лежа, сидя, шагая, я вспоминал забытые молитвы и повторял их, ища прощения и помощи. И то, и другое было искренне. Но мне никогда в жизни не удавалось удержать в себе, как основную жизненную силу, это чувство, это состояние. Оно покидало меня, окуная в бездну греха и вновь приходило, очищало на какое-то время, и снова, и снова я не был в состоянии удержать его, хотя в самых безднах греха я ощущал свой грех и свое падение. И так всю жизнь до сего дня. «В бездне греховной валялся и неисследную призывая милосердия бездну, от тли, Боже, мя возведи».

Из бокса, после радости шестилетнего срока, меня перевели в камеру осужденных, а оттуда на «вокзал», в камеру, откуда формируются этапы!

Войдя на «вокзал», я понял это меткое название. Камера — «муравейник», камера — клубок страстей, камера добра и зла. Преддверие бездны, преддверие рая. В этой камере на нарах последние дни жизни доживал отец Дмитрий Крючков, наш одноклассник. По Москве я его мало знал. Мы ездили к нему, не то в Кратово, не то в Кусково, где он работал садовником, выращивая цветы. Он, по просьбе Коленки, дома отпел Ольгу Петровну. Мой Дубына называл его «крючкотворцем». Теперь он близок был к вечной свободе, его светлый лик, мир и покорность воле Божией были потрясающими. Вот почему я называл эту камеру преддверием рая. Умер он на этапе. Среди разношерстной толпы выделялся Ваня Сухов. Стройный, высокий, добрый малый, добродушный и приветливый. Он слышал обо мне, я о нем. «Привет, Алеха», «Привет, Ванюха!» В камере блатные, с которыми я впервые встретился после Муррома. Манеры их, повадки, блатной жаргон, наглость и девиз — «ты умри сегодня, а я — завтра» — были для меня не новы. По нутру своему все они трусы, в одиночку тише воды, ниже травы. Когда их много, они опасны и берут на глотку и испуг неискушенных и разобренных политических. В камере на «вокзале» их было много, и вели они себя нагло. Они спаяны в общий кулак. Занимают самые лучшие места у окон и грабят бесцеремонно «фраеров», загоняя их под нары. Впереди я много имел с ними дел, ходя этапами и в зонах. На вокзале в то время находилась масса каторжан,

осужденных в соответствии с новым указом о введении каторжных работ. Под него подводили большинство власовцев, лиц, сотрудничавших с немцами в оккупации, а также многих военнопленных, освобожденных войсками союзников.

Блатные, не учтя это, решили гробануть вновь пришедших и кинулись в атаку. Завязалось дикое побоище — каторжанам терять нечего. Блатные рванулись к двери, стуча и крича, что их убивают, искали у охры сочувствия и помощи. Исколотив и измолотив, их загнали под нары, где они зализывали свои раны и не казали носа. В камере было битком набито, до отказа, а в нее все всовывали и всовывали.

Мы с Иваном жили под нарами добровольно, и там от него я узнал всю его историю, описанную выше. Его тетка и он сам были близки к нашим кругам на воле, и было о чем потолковать. Ванюха получал огромные передачи от брата. Матери и отца у него не было в живых. Под нарами было прохладней и вольготней, чем наверху. Иван кормил меня из своих «мешков» и охотно делился с другими. Я на вокзале передач не получал. Наша дружба возникла так, словно мы были друзьями давным-давно и теперь снова встретились. Нас обоих что-то роднило.

На «вокзале» постоянное движение. Партиями на этап. Легкий вздох облегчения, снова тиски, снова глоток кислорода. Наконец и наши фамилии! Значит пока вместе. Бутырская баня. Нет на свете ее краше. Прожарка вшей, какое облегчение! Шайки воды вдоволь! Лобки обскоблены, головы оболванены, борода уцелела. Там, в бане, я встретился со Стином, Игорь Стин, подцепивший Левушку, не раз сидевший и знающий, почем фунт лиха, он знал на воле кое-кого из моих знакомых. Я сообщил ему о том, что знал о Левушке и о прянике тоже. Его это обрадовало. После жаркой бани, после обжигающего тело напыленного барахла, только что из прожарки, после очередного шмона, при котором мне в первый раз вертухай заглянул в задницу, не спрятал ли я там автомата, нас вывели на двор.

Декабрь, снег сверху, снег снизу, а на нем — огромная крытая машина голубого цвета без окон. По ее стене, обращенной к нам, изображена довольная рожа пекаря в поварском колпаке, держащего в руках на подносе свежесыпеченный кекс. Под всей этой



экзотикой крупная надпись: «Обожаю кекс к чаю». Вместо кексов, под окрики солдат с винтовками — «быстрее, быстрее» — нас заталкивали, утрамбовывали до такой степени, что горло ощущало кишки. Дверью машины еще поднаперли так, что кто-то потерял сознание, начался стук, крик, гвалт, машина с кексом тронулась, не обращая на это внимание. Дохните — это ваше дело, наше — доставить.

На колдобинах, на трамвайных переездах казалось, что вот-вот и дух вон! Но, по молодости лет, он не вылетел. Вылетел у более слабых и по возрасту старших, но тела их, зажатые живыми, дух свой предавали стоя! Скрежет засовов, отворилась дверь.

— Вылезай! Быстрее! Быстрее!

Лай овчарок, удары прикладом.

— Садись! Садись! В снег! В снег!

Удары в спину, в бок. На белом, чистом, невинном снегу, по пояс в сугробах, с мешками на плечах сидят, лежат черной массой в зимних сумерках те, про кого «отец родной» сказал: «Кадры решают все!»

Покойничков оставили в машине «Обожаю кекс к чаю». Так наша страна строила свое светлое завтра! Заря коммунизма брезжила над Колымой, Воркутой, и по всей стране славилось имя ее творца!

Вечером 29 ноября 1988 года я услышал в передаче по «голосу» дивное поэтическое песнопение отца Григория Петрова, погибшего в лагерях в сороковых годах. Называлось оно Акафист «БЛАГОДАРИЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, ЗА ВСЕ». Подобного акафиста я не слышал. Это была хвалебная песнь, благодарственный гимн Творцу. Слезы невольно текли из глаз от глубины слов, от поэзии чувств, от силы веры, всепрощения, от светлой любви и благодарения Богу за все. За каждый цветок, растущий на земле, за каждую былинку, за каплю росы, каждую птичку, славящую песнями Бога, за звезду на небе, за ветерок дуновения, за снежинку, за все, за все, что сотворено Богом на земле, в небесах, в глубинах вод. С какой неподкупной детской искренностью он пел свою хвалу и благодарение творцу и Господу!

«Благодарю Тебя, — восклицает он, — за жизнь, которую Ты мне дал, за страдания, за веру, за любовь и вечную жизнь с Тобой».

Я пересказываю слышанное своими словами, как могу, и как легко на сердце. Слушая, я думал. Вот о чем писал этот дивный бабюшка, пройдя скорбный путь своей жизни, незадолго до кончины, какой любовью и благодарностью была наполнена его душа. Она все простила, все до капли, за все благодарила и пела гимн Творцу.

### БЛАГОДАРИЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, ЗА ВСЕ!

Вот что видел он в этом мире зла и насилия, в мире отчаяния и смерти. Он видел радость в страдании и благодарил за все! И я смутился. Зачем пишу я свою книгу, зачем будоражу давно ушедшее? Зачем ворошу зло, давно мною прощенное? Кому это нужно? И нужно ли вообще, что даст и что прибавит? Не родит ли оно новое зло, презрение, ненависть? Не лучше ли, как отец Григорий, ото всей души и сердца воскликнуть: БЛАГОДАРИЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, ЗА ВСЕ! За день, за утро, за новую зарю, за ночь и месяц в небе, за мой домик, за тепло янтарных досок, за синичку за окном. За все, что Ты мне дал, все от Тебя и все, что прошел, и то, что впереди. Благодарю Тебя за все, что было и все, что будет. Отче Григорий, все сказанное тобой созвучно душе моей и я могу только плакать о немощи своей перед величием твоей души. Поверь мне, отче, все, что я пишу, о чем вспоминаю, о чем хочу сказать — это о «милосердии двери», о милости Божьей, о страдании, о падении, о силе добра и ничтожестве зла, о добрых людях и о их жизни и смерти!

На подъездных путях Ленинградского вокзала, вдали от шумных улиц, в сугробах снега, под лай овчарок и крик конвоя, барахтались, вставая и вновь падая, «кадры». Работая прикладами, спускающая собак на длинный поводок, окриками «давай, давай!», в сумерках вечера поднимались мы и, спотыкаясь о многочисленные рельсы и стрелки, шли к вагонзаку, спрятанному меж составов от любопытных глаз. Снова команда: «Ложись!». Мы распластались вдоль вагона, началась посадка. На высоко поднятые ступени вагона, карабкаясь и срываясь, подталкиваемые прикладами, поднимались люди и исчезали в его чреве, как в пасти удава исчезает жертва. Ваня кивком головы указал мне на жавшиеся к вагонам вдали человеческие тени и шепнул: «Там мой брат с женой».

Посадка длилась долго. В купе, предназначенном на четверых, втискивали тридцать: по десять наверх, в середину и низ. Мы с

Иваном попали в середину. Существовать можно только лежа, один к одному, как кильки в банке. В «купе» окон нет, наверху у самого потолка вытяжка. Сплошная металлическая решетка вместо стены, отгораживающая коридор. В коридоре окна, затянутые морозом, и конвой, беспрестанно шагающий вдоль клеток с обливающимися потом людьми, превращенными «стальной волей» «отца родного» в зверей. Иван не ошибся, вскоре ему конвой в клетку всунул мешок с жратвой и вещами. Долго мы томились на привокзальных путях. Конвой в первую очередь учинил великий шмон, чтобы хорошенько сориентироваться в добыче, ждущей их впереди. По-купейно выгоняя людей из клетки, они трясли барахло, выбирая себе самое лучшее. Личные вещи, взятые при аресте, перед этапом, во исполнение закона выдавались владельцу. У многих оказались чемоданы с ценными вещами. От своих бутылок, предложенных мне, я отказался в пользу МОПРа (международное общество помощи рабочему классу). Шмону сопутствовало избиение тех, у которых хорошее барахло. Били опытно — под вздох, наповал. Я не могу понять, почему и Ивана такой удар свалил с ног, то ли он протестовал, то ли тренировки ради. Я был почти пуст в смысле барахла и, к удивлению, моя борода и весь мой хабитус вызывал у конвоя к жизни давно уснувшую совесть. Они обращались ко мне, именуя меня отцом. Пользуясь этим, мне иногда удавалось в их сердцах вызвать снисхождение. Основной грабеж начался в пути, а путь был нескончаемо долгим и страшным.

Наконец, наш вагон подцепили и, долго маневрируя, он остановился и встал во главе пассажирского поезда на Курском вокзале, мы его сразу узнали в отпотевшем окне в коридоре напротив нашей клетки. Я попросил конвоира, ни на что не надеясь, сходить тут же на площади в дом, в котором жила Варя. Он благосклонно записал адрес. На всякий случай, я дал ему адрес Тони, через дорогу, попросив его сходить туда в том случае, если Вари не будет дома. Спустя некоторое время открыли клетку и вывели меня в тамбур. По пути конвоир сказал: «Одной не было, привел другую».

К сожалению, в тамбуре меня ожидал человек, никогда мною нелюбимый, на руках ее был мой ребенок — полуторагодовалый Сашка. Но все, что ни делает Бог, то делает к лучшему, эту мудрость сама жизнь мне стократ подтверждала и научила меня все

принимать, как из Его рук данное. Тоня сообщила мне, что Иван Иванович принимал все меры и нашел сильных мира сего, могущих освободить меня только после решения ОСО.

— Тебе не долго ждать, — сказала Тоня, — скоро ты будешь на свободе.

— Сейчас же иди к Ивану Ивановичу и скажи ему, чтобы он не нажимал ни на какие кнопки, его запутали в дело, и это может повредить ему. Я отсижу свой срок, я не имею права причинить ему неприятности.

На этом наше свидание было окончено, говорить было не о чем. Я поцеловал Сашку, меня увели.

На следствии всеми силами пытались впутать в дело Ивана Ивановича.

— Ты себя так нагло держишь, — кричал следователь, — надеешься, что тебя спасет Иван Иванович? Мы его так впутаем в дело, что он носа не посмеет сунуть, а сунет — сам же и пострадает.

И впутывали всячески. Имея свободные деньги, на которые Иван Иванович не скупился, я помогал ими Криволуцкому, Корнееву, бедствующим. Мама на его деньги покупала дома, в которых прятались и служили «тёти». Следствием он был определен, как финансист, на деньги которого содержалось подполье. Формулировки делал следователь, как ему заблагорассудится, а материал давали «цирлихи-манирлихи», не подозревая, что этим самым ставят под удар депутата Верховного Совета, героя соцтруда, академика Мещанинова. Следствию сам он был не нужен по той простой причине, что, давая деньги, он не имел представления, на что они тратятся и как используется домик, купленный мамой. Следствие впутывало его, на всякий случай, по принципу, чем больше, тем лучше, а тут им надо было исключить его вмешательство и помощь мне. Понимая это и боясь за него, я просил Тоню передать ему все, что я сказал ей. Я не мог и не имел права принять свободу в ущерб его репутации. Впоследствии, когда «великий языковед» обрушился на Мещанинова и на его теорию и на Марра с их учением о «языке», «корифей наук» не ликвидировал его, как многих, сказав:

— Если б я нэ был глубоко увэрэн в чэстности и преданности акадэмика Мэщанинова, то я бы посчитал бы его врэдывтэлэм!

Услышав сие изречение, будучи в лагере, я благодарил Бога, что сказал Тоне в тамбуре «столыпинского» вагонзака на Курском вокзале, и что Вари не оказалось дома. Я бы целовал ее и плакал, а Иван Иванович, нажимая кнопки для моего освобождения, мог бы изменить мнение о себе «великого мыслителя», которому ничего не стоило уничтожить еще одного ученого!

Поезд мчится, стучат колеса, конвой грабит, конвой за пайку хлеба сваливает в своем отсеке кожанки, костюмы, сапоги, раздевая донага, кидая на смену рваное и дырявое, чтобы прикрыть срам. Конвой свирепствует, бьет под вздох, учиня самосуд и расправы. На долгих стоянках в тупиках выволакивает за ноги отдавших свои души в руцы Божии тела, стучащие безжизненными головами о половицы коридора, о ступеньки лестниц. Зверей в клетке кормят живой солью, пропитавшей насквозь и выпавшей в осадок на поверхность тощей наваги. Воды нет, вода в обмен, а менять-то уж нечего. Блатные в законе, блатные грабят изнутри, конвой — снаружи. За награбленное у них пайка и вода. Доколе, Господи, доколе?

Обливаясь потом в три ручья, раздетые догола, дышащие, как рыба, выкинутая из воды, задыхаясь в собственных миазмах, с пересохшими от жажды губами, лежат человеческие тела в три яруса. По коридору медленно, стуча сапогами, взад и вперед, равнодушно, сыто и упитанно, с красными рожами от выпитого, шагают, вышагивают русские парни, бездушные, безжалостные мародеры с комсомольскими билетами в карманах гимнастерок.

— Касмар, касмар! — беспрестанно твердит, повторяя в подтверждение истины, бедный японец Танака-Сан.

В России он выучил единственное это слово, несущее в себе глубокий смысл и определяющий всю систему. Это его последний путь, это его последняя дорога.

— Касмар... касмар. — А сколько его еще впереди?

Для меня он только начинался, а чей-нибудь уж близок час!

В этом кошмаре встретили мы Новый год, Рождество, приближалось Крещение, а мы все ехали и ехали. То расстояние, которое поезда преодолевают за сутки, мы ехали многими неделями. Загонят на полустанке в тупик, и сутками стоим среди сугробов. На измор брали, на уничтожение, кто знает. Брать уж было нечего, а все

обирали и обирали. Подъезжая к Ухте, стали по документам делать переключку, в которую попал Иван. Ему, значит, Ухта, мне дальше. Используя авторитет своей бороды, я попросился к начальнику конвоя. Привели в купе, просторно, воздух свежий, на столе жратва всякая, водка..

— Садись, отец, что скажешь?

Сел и говорю:

— Слушайте, ребята, не могли бы Вы меня в Ухте выкинуть?

— Фью, — присвистнул начальник. — Это мне тебе проще стакан водки налить, чем ссадить. Тебя, отец, Воркута ждет, и нигде, кроме как там, сдать тебя не могу. Не примут.

— А по болезни?

— Да по болезни вас хоть всех прямехонько в санчасть. Все вы, того гляди, сохнете. Принимают дохлых и то возни сколько. Не могу, отец, а вот водки налью.

— Нет, не надо, я ж сколько суток не жрал, воды не пил, не хочу, чтобы ты меня дохлого сдавал.

— Эй, налей ему воды!

Мне подали ковш холодной воды, я выпил.

— Бери, ешь, — он отодрал кусок вареного мяса и дал мне с хлебом. — За что сел, отец?

— За язык.

— А, — протянул начальник. — Язык мой — враг мой, не ту ж... лизнул?

— Вот за то и сел, что не лизал.

— По тебе, отец, видно, что не лизал.

Съев кусок мяса, напившись вдоволь, я вернулся в клетку и рассказал Ивану о разговоре. «Тебе — Ухта, мне — Воркута, чудная планета, двенадцать месяцев зима, остальное — лето».

На Ухте мы попрощались. Иван от щедрот своих отслюнил мне часть барахла, оставшегося у него.

В купе — душегубке убавилось народу, а Танака-Сан все говорил по-русски: «Касмар».

За окнами непроходимые сумерки, сгущающиеся с каждым километром пути. Кожва. Как выяснилось потом, конвой решил попробовать сбавить нас на Воркутинскую лесосплавную командировку, все одно Воркутинская. Выгрузились из душного, жаркого

вагона на мороз градусов под сорок. Босые, полураздетые, ноги у многих обернуты тряпками.

Вытянувшись в цепочку, выслушали правило поведения в этапном пешем следовании: Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения! Двинулись. Собаки на сворах, автоматы наготове, дороги не видно. Ни день, ни ночь. Мелколесье, сосны да ели. Снег скрипит, люди падают, одни проходят мимо, другие стараются подняться, чтобы не пристрелили. «Оставь, пусть стреляют, сил больше нет». Подняли, идет, механически волооча ноги. Мороз сковывает дыхание, лезет ближе к телу. Так мы двигались часа два. На самом берегу заснеженной Печоры вахта, вышки, за забором — бараки. Дым из труб змеями ползет ввысь. Стоим час, силы покидают, вот-вот оборвутся.

Печора! В эти места мы собирались в начале лета на пейзажи. Собиралась группа, в ней и Варюха. Собирался с нами ехать нами всеми любимый художник и наш педагог Сергей Михайлович Ивашов-Мусатов, чудесный педагог, зажигающий сердца, наполняющий силой творчества, окрыляющий души мощной силой духа как человеческого, так и творческого. Собирались ехать, чтобы творить первозданную красоту этих мест. Я мечтал, я грезил, я с нетерпением ждал того часа.

И я стою на ее берегу, замерзший, обессиленный ЗК — Зек.

Кто за судьбой не идет, того судьба тащит. Вот она — моя судьба! Кто бы думал? Ноги, как култышки, руки — их словно и нет. Пляшешь, дуешь, топчешься. Наконец!

Вышло начальство в валенках, в овчинных полушубках, розовые, сытые. На носилках уносят в зону павших в бою. Их много! Остальным команда: «Кругом, шагом марш к вагону». Это смерть!

Белая смерть! Я не дойду, нет сил, нет ног. Но есть второе дыхание! Надо, надо, надо. Я не помню, не знаю, откуда оно пришло, кто дал силы! Дошли все обмороженные, еле живые, но дошли.

Вагон! Милый желанный вагон. Теплый вагон. Тюрьма, клетка стала желанной, необходимой для спасения жизни.

В зоне, на берегу, этап не приняли, слишком большие сроки, в зоне побоялись. Взяли только обмороженных и не могущих идти, как гуманно, как демократично! Остальных — на Воркуту!

Ехали, ехали и въехали в кромешную ночь, круглосуточную,

многomesячную. Плыvут по темному небу, как огромные удавы, спазматически сами себя проглатывающие, светящиеся бледным свечением фосфора сияния, возникающие и пропадающие, внезапно рождающиеся и медленно умирающие. Они бродят по темному небу, среди звезд и млечного пути как страшные призраки неумолимой безысходности!

Воркутинская пересылка. Прожарка, вшей навалом, хоть гребн. Баня – отрада дней моих суровых.

– Эй! Борода! Давай, валяй в прожарку, принимай шмотки!

Валяю, принимаю, куда-то сую. Этап вымылся.

– Эй! Борода, валяй мыться!

Валяю, раздеваюсь.

– Эй! Борода, валяй сюда, давай, давай.

Не пойму, что давать и что валять.

– Бороду давай!

А! Бороду?... Валяй ее. Борода на полу, а на табуретке – мальчишка. Вошел в баню, а там конвой моется. Я их за месяц пути всех знаю по имени и обращаюсь с ними по-свойски.

– Откуда ты нас знаешь, пацан?

– Как откуда. Вы ж меня везли!

– Да не брешн, в нашем этапе пацанов не было.

– А отец с бородой был?

– Да, но то отец, а ты тут при чем?

– Да я и есть отец.

– Не брешн!

Я пошел в предбанник, поднял скорбно лежавшую на полу свою бороду и, войдя, приставил ее к месту.

– Теперь узнаешь?

– Теперече точно – отец!

Пересылка! Это рынок, на котором торгуют рабами!

Рынок рабочей скотины в образе и плоти человеческой.

Рынок, на котором купцы осматривают человека, как скотину, для торга и покупки, если подойдет и хорош будет в работе. Как лошадь определяют – по зубам, поросенка – по щетине, человека – по заднице. Купцы обходят предлагаемый товар, выставленный в полной своей нагоде, и шупают его за задницу, ибо «отец родной» сказал: «Кадры решают все!» Тяжелый физический труд – трюм,



шахта до износа, до «Карских ворот», до просвечивающегося таза через тонкую кожицу. Ни вара, ни товара.

Юркие пройдошливые купцы заранее знали, какой везут товар, и чем важней купец, чем больше может дать на лапу торгующих, тем и товар приобретал с наикраснейшими задницами. Отсюда перевыполнение плана шахтой, уголек родине-матушке, переходные знамена ВЦСПС, МУП Совета Министров, ордена и «миллионы, миллионы алых роз».

Я недолго думая, кинул козырную. Глазное дно, бездонное милосердие Божие, излитое на меня от чрева матери. Так... На пальчик, на ушко, на кончик носа.., так.., так.., еще кверху.., вниз.., хорошо. Смотрите сюда. Какую строчку видите?

– Никакой!

– А так?

– Нет, не вижу.

Сует мне два пальца на пятьдесят сантиметров от носа.

– А так?

– В тумане.

Вот тут бы и спросить меня: «Скажите, а когда Вас сажали, Вам смотрели глазное дно?» Я бы ответил: «Нет». А мне бы на это: «Их за это судить надо!» Одно дело армия, другое ГБ, не спросили, а что-то пометили в деле! Сейчас надо очень осторожно ходить, не шибко, а тихо и медленно на полуощупь, со слегка протянутой рукой. Трудно это, когда хорошо видишь, но необходимо, на пересылке глаз много и среди них есть дурные.

Муромский театр и «Моя жизнь в искусстве» Станиславского и его призыв к правде на сцене ковали меня на ответственную роль слепого, а в нужные моменты – и хорошо зрячего, без промаха попадающего в едва видимую вену тонкой иглой. Впереди были шесть лет моей жизни в этой роли. Купцам подобные артисты на дух не нужны, их ждала другая участь.

Все вновь прибывшие этапы как на центральную пересылку, так через нее по многочисленным зонам проходят так называемые «комиссовки», цель которых – сортировка «рабочей скотины» по категории ее пригодности для разных работ. Воркутлаг – это угольные шахты, там все подчинено одной цели – уголь во что бы то ни стало. Шахты перемальвают в своей утробе рабочий скот,

выбрасывая его на поверхность или инвалидами, или скелетами, обтянутыми кожей. Такие скелеты направляются в спец-баракы, называемые УДП (усиленное дополнительное питание) и ОП (оздоровительное питание). В этих бараках на скелеты усиленно наращивают мышцы, откармливая их кашей и вливанием глюкозы.

Вся комиссовка в лагерях сводится к определению группы трудоспособности. Медсанчасть не интересуется объективное состояние здоровья заключенного. Все внимание сосредоточено на ягодице. По этому главному «органу» и определяется группа, а их три: ТФТ (тяжелый физический труд), СФТ (средний физический труд) и ЛФТ (легкий физический труд). В соответствии с этим клеймом, весьма условным и не постоянным, УРС (учет и распределение рабочей силы) сортирует и тасует кого куда. Вот основной принцип сортировки. Чтобы добиться, в особенности на пересылке, тщательного осмотра в санчасти не задницы, а глазного дна, мне пришлось применить некое знание и опыт, приобретенные в Лефортовской тюрьме.

Реактивный психоз, переходящий в истерию, и применение его в лагере — вещь опасная, и я в этом убедился. Добившись с его применением обследования глазного дна, я получил на своем формуляре некий тайный знак, по которому спустя время отправился этапом на один из самых страшных и прогремевших на весь мир: ИЗВЕСТКОВЫЙ КАРЬЕР! Штрафная из штрафных! Идя по жизни вообще, а в особенности в лагере, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Для меня известковая оказалась важнейшим этапом моей лагерной судьбы и решающей мою участь.

Какая-то злая рука, поставившая тайный знак, по которому я сюда попал, намеревалась меня проучить за дерзость, мною допущенную, а на деле все обернулось иначе. Человек предполагает, Бог располагает!

Наш этап прибыл к вахте. Необъятная снежная тундра, над ней зловещие всполохи призрачных мертвенно бледных свечений. Мороз свыше сорока. Вышки, проволока заиндевшая, колючая в два ряда, прожектора с направленным лучом от вышки до вышки. Лай овчарок, автоматчики в тулупах и валенках и трясущийся, подпрыгивающий на месте, бьющий себя руками, полураздетый этап. Принимать не торопятся, ведь это не люди, а скот,

обреченный на верную гибель: какая разница где, когда и как. Наконец соизволили. Смертельная пляска застыла.

Широко расставив ноги в валенках, сытый, теплый, в белом овчинном тулупе, с красной рожей капитан, крикнул:

– Медработники есть? Шаг вперед!

Я шагнул.

– Кто?..

– Фельдшер!

Пуля, вложенная Копелевым в мои мозги на Бутырских нарах, выстрелила! Курок был на взводе, стоило нажать, что я и сделал, не задумываясь, немедля, ледяными култышками шаг вперед! Шаг, спасший жизнь, шаг, решающий, незамедлительный.

– В санчасть, – услышал я.

По формулярам этап был принят, впущен в зону и загнан в пустой барак. От самой вахты до барака его сопровождали странные люди с железными, толщиной в два пальца, пиками. Войдя в барак, «пиконосцы» начали учинять грабеж шмоток, кидая сменку или отбирая так. Подойдя ко мне, видя, что с меня взять нечего, один из них, оперевшись на пику, спросил:

– Откуда, парень?

Его лицо, его голос, а главное характерное не произношение буквы Р, напомнило мне Муром, Лакину улицу и Аркашку Дырыша.

Я ответил:

– Из Москвы, а впрочем, из Мурома.

– Из Мурома? Гляди, земляк! А как зовут!

– Лехой!

– Лехой?, – протянул он, что-то вспоминая. – А меня Аркашкой!

– Дырыш?

– Дырыш! Леха Арцыбушев?

– Да!

– Это мой друг детства, – обратился он к таким же с пиками, рядом с ним стоящими. – Кто его хоть пальцем тронет – того сходу убью!

Он отвел меня в сторону, к окну, и спросил:

– У тебя что-нибудь эти сявки отняли?

– Отнимать-то нечего, сам видишь, а ты давно тут?

– Всю дорогу тут. А как ты-то сюда попал, в эту малину?

– 58-10, Аркашка.

– Значит, не уголовщина? А я, сам понимаешь, за мокрые дела был в блатных, сейчас – «сука», все, кто с пиками, «суки». Блатных тут навалом, но власть наша – сучья. Не бойсь, тебя пальцем здесь никто не тронет.

Я рассказал ему, что я – фельдшер, и что на вахте капитан сказал мне идти в санчасть.

– Пойдем, я тебя отведу, там на всю зону только один Яшка-лепила, ему во как нужны лепилы. Пошли познакомлю, он свой.

Вошли в барак. Аркашка бесцеремонно распахнул дверь с надписью «Амбулатория», предварительно орудуя пикой, распахал какое-то мрачное подобие человеческого образа, сжатого в коридоре в ожидании очереди на прием. Внезапно в распахнувшуюся дверь я увидел потрясающую картину: здоровый, мощный, в белом халате, по-видимому, сам Яшка, сплеча, с размаху стегал металлической линейкой по пояс обнаженного доходягу, покорно принимающего град ударов и только вздрагивающего всем телом и инстинктивно съживившегося.

– Я тебе покажу, падла, я научу тебя, как мастырки делать!

Увидев нас, Яшка схватил за шею падло и мощным пинком в зад выстрелил им в открытую дверь.

– Привет! Яшка!

– Привет! Аркашка!

– Прием вершишь, больных выслушиваешь? У тебя их сегодня воно сколько! Линейку сломаешь, тебе б пику. Хошь свою подарю, ей сподручней. Этих гадов только пикой и выслушивать!

Слушай, Яшка. Я тебе в помощь лепилу привел, только что с этапа. Во, знакомься, Леха. Друг детства, вместе в Муроме шпанили, потом жизнь развела, а сейчас встретила в этом адском пекле. Его прямо с вахты капитан к тебе направил в подмогу. Вторая линейка есть? Аль пику тебе, а линейку Лехе?

– Тут я сам справлюсь, его в барак пелагриков, пусть там вершит!

– В какой? У тебя их навалом!

– Да в любой, без разницы, смертники они и есть смертники, свалка вшивых тел. Одно название санчасть. Я один на тысячу. Скоро я начальником зоны стану, у меня кадров больше, чем у капитана. У него план, у меня – вал! Ни грамма лекарств, одна

линейка, лечи как хошь, да чего их лечить, пусть дохнут. Главное, Леха, чтоб полы блестели и весь компот! На известняк попасть равносильно расстрелу, растянутому во времени. Отведи его в лубой, пусть орудует. Как фамилия твоя? Чтоб знать. Что кончал-то? За что сел?

— Арцыбушев. Я — военный фельдшер, 58-10.

— Значит в каликах-маргаликах разбираешься? Да их все равно нет и не будет, сам увидишь, если выживешь, да тебе твой кореш помереть не даст, если самого не убьют. Иди, покажи ему хозяйство, да научи лагерной грамоте, он же фраер.

— Прощай, Яшка. Прежде, чем меня убьют, я сам прикончу любого, разве что во сне, но и сплю я одним глазом, на-ко хрен выкуси, разве что на этапах, если к блатным один попаду, но сук начальство бережет, мы, суки, с ними одно дело делаем — перевоспитываем, что бы они без нас в зонах делали? Все на суках и держится. Вишь, даже оружие в руки дали, чтоб вершить. — Он взял пику. — Пошли, Леха! Барак покрепче выберем. Я к тебе еще зайду, Яшка, дело есть. А ты моего кореша не обижай. Слышь?

Мы вышли, петляя между бараками, скользя меж сугробов, вошли в плохо освещенный барак. Сплошные нары в два яруса, на них тесно друг к другу людские тела. Кто-то, свесив ноги, скинув рубашку, бьет вшей, пропуская ее швы сквозь зубы, как бы дуя их. Топится печь, в ящике возле — уголь. За печью нары, самое теплое место в бараке. На нарах раздетые по пояс урки, кидают карты.

— Эй, вы! Духари, вот я вам лепилу привел, лечить вас шуровкой будет. Слушать и повиноваться, да место освободите ему к печке поближе. Он средь вас главный.

Во время этого монолога меня внимательно щупали глаза, как бы изучая кто и что, и как. Привел самый старший сука. Его слово закон, но и он во всякий миг под ножом ходит. Репутация и протекция скользкая и где-то опасная. Надо очень хорошо самому сориентироваться в этой компании, благо я к ней некоторое касательство в юности имел.

Аркашка ушел, а я соображал, что к чему и как.

В обязанность мою входило: утром, в обед и вечером раздать принесенную в барак баланду и кашу, утром раздать хлеб, нарезанный за зоной, взвешенный с приколотым лучинкой довеском.

В зоне не было ни кухни, ни столовой. В зоне была раздатка с оконцем, к которому в очередь подходили могущие ходить работяги. Просовывали в оконце котелок или консервную банку и раздатчик черпаком плескал в нее баланду. По лагерному рациону на «скотскую» душу полагался кусочек мяса, величиной с ноготь. Все взоры доходяг были обращены на черпак: плюхнется ли кусочек. Плюхнулся, сам видел и слышал. Отойдя в сторону, двумя руками обняв котелок, он судорожно выпивал мутную бурду, не разжевывая мороженную картошку, сваренную вместе со скользкой перловкой, стремясь как можно скорей ощутить губами желанный и вожделенный кусочек жизни. И каково было его удивление, разочарование и горе, когда кусочка не оказывалось. Он заглядывал в котелок, он его тряс в надежде найти, поймать, положить в рот и долго, очень долго сосать его. Он сам видел, он слышал, как кусочек плюхнулся в котелок. А фокус был очень прост. К черпаку на ниточке привязывался кусочек вожделенного, который плюхнув, вместе о черпаком возвращался назад. Таков лагерный закон. Ты умри сегодня, я — завтра.

Лев Копелев меня предупреждал не иметь в лагере дело с пищей, хлеборезкой, каптерками и всем тем, где воруют и грабят заключенного, где и тебя вынудят делать то же, все это кончается новым сроком или ножом в спину. Теперь надо быть очень осторожным, особенно с «костылями» (костыли — это довески, припиленные к пайке щепкой). За хлебом надо ходить самому с фраерами, чтоб донести и ухо остро. «Суп, кашу, в особенности ценные кусочки мяса, считать, требуя их поштучно на душу живую. Все поровну и никаких гвоздей!

В бараке блатных много, в основном — «съявки». Есть блатари и покрупней. Основная часть населения — харбинцы. Русские эмигранты, приволоченные после войны из Харбина. У всех пелагра, цинга и дистрофия.

Конечно, быть может, мне и придется прибегнуть к помощи «пик», но это, как крайность. От сук — подальше.

Так началась моя лагерная дорога. Шесть лет впереди! Я старался держаться в стороне, сохраняя нейтралитет, не примыкая ни к какой группе. За печкой играли в карты на принесенные мною пайки, ставя каждый свою на кон. Доходяги ее сметали сходу, как

соловецкие чайки, суп и кашу я делил счетом ложек, мясо выдавал в подставленную ладонку. В периодически вспыхивающие драки за печкой я не вмешивался. Одно мне не удавалось — заставить мыть полы. Кого бы я не просил из огней и сявок по-хорошему, все одинаково огрызались:

— Иди, гад, сейчас глаза выколю, — делая угрожающий жест двумя растопыренными пальцами.

Как-то залетело в барак начальство. Первое внимание на пол.

— Почему, твою мать, полы черные, кто старший?

— Я старший.

Начался крик, ругань, мат-перемат, чтобы немедленно, да чтобы сейчас же полы были белые. Ни вши, которых можно было грести лопатой, ни клопы в миллиардном исчислении, ни умирающие пелагрики, из которых хлестала вонючая вода и удержать которую они были не в состоянии, все это для них не имело значение. Полы должны были блестеть янтарным блеском. Я подошел к Яшке.

— Ну что, попало? — спросил он. — А в чем дело? Что, мыть некому?

— То-то и дело, некому, сам я не в силах такой барак оттереть добела.

— А тебя никто и не заставляет. Это ты должен заставить.

— Да я прошу, а никто не слушает, да еще огрызаются.

— Ты просишь? Просишь эту мразь? Он, видите, просит. Бери шуровку и бей. Видал, как я на приеме, так и бей!

— Да они меня убьют!

— Уважать будут! Уважать! Понял? Блатных много?

— Паханов нет, больше сявок.

— Тем проще. На тебе махорки, угости головку, чтоб не вмешивалась, понял?

— Да!

— Иди, желаю удачи. Это сперва боязно, учти, все они — трусы, заруби себе на носу. Мелкие, подлые трусы. Палку они уважают, если она справедлива. Ты думаешь, что я всех линейкой ласкаю? Того, кого надобно. Если их распустишь, они тебе на голову сядут и тебя же презирать будут. Я эту тварь знаю. Меня здесь боятся, но и уважают. Они знают, что коснись — я первый их защитник,

но коль сам виноват — пощады не жди. Это, брат, суровая школа, страшной фронта. Учись, пока я жив.

Он насыпал мне махорки, выкурив с ним козью ножку, я пошел в барак. Вот она какая школа, я от нее с Мурома отвык, придется вспомнить. На утро, угостив блатных за печкой махрой, взяв у печки шуровку, она же кочерга, я подошел к нарам и потянул за ноги трудоспособную сявку.

— Што надо?

— Слезай, гад, пол драить!

— Да пошел ты..!

Ударив раза два по хребту шуровкой, я стащил его с нар и дал в руку швабру. Молча взял. Из-за печки смотрят и молчат. Подхожу к другому.

— Вставай!

Встает. К третьему:

— Вставай!

Встает.

— Драть добела! Устанете — других дам. Не-то в карьер! Поняли?

— Понятно, — ответили сявки хором.

Смена смене идет, пол чистый и белый. С этого дня половой проблемы не стало. Заужали!

С куревом в зоне было крайне трудно, у блатных оно было бесперебойно. Где-то они его доставали, понятия не имею. У моих же блатных, ниже рангом, бывали перебои, потому и сосали махру до обжига губ, передавая друг другу затянуться. Блатная орда страстно обожала сказки, и для того, чтобы быть у них в законе, фраеру необходимо «тяпать» сказки. Иногда они меня спрашивали, насыпая махорки на закрутку.

Затая дыхание, слушали, собираясь на нарах гурьбой, а я «тяпал» и чем страшней, тем лучше. Но удивительно, я и без сказок был среди них в каком-то законе. Надо сказать, что блатные в лагере, на пересылках не трогали, а даже предупреждали, не тронь — «лепила». Санчасть — это был их остров спасения, соломинка. Я всегда им помогал в трудный момент.

Минула зима с трескучими морозами. Помирали на нарах харбинцы, кормили вшей и клопов тощие тела доходяг. Аркашка иногда меня навещал, спрашивая, нужна ли его помощь.



– Да пока не надо, а коль надо – найду.

Блатные, видя, что я как-то сук сторонюсь, все больше принимали меня за своего. А я старался быть ничьим. Так спокойней.

Я давным-давно сообщил о себе Варе, но ответа нет и нет. Как-то прибегает «огонь» в барак и кричит:

– Леха, тебе посылка!

Не обрадовался я ей, хоть сам помаленьку «плыл» от скудности питания. Пошел на вахту, а у дверей на дворе толпа. Посылки дают! Дождался очереди. Вскрыли вертухай ящик, все перешмонали, перетрясли, распечатали, ножами истыкали. Я кусок мыла в карман положил и с ящиком на брюхе вышел, а тут в две шеренги строй блатных и сук.

Я прекрасно понимал, что у меня ее все равно раскурочат, украдут, отнимут, и буду я страдать от обиды, своего бессилия, от потери. Все равно ничего не было, прожил, пусть и не будет, проживу!

Иду я меж строя и, не глядя, что попало в руку, так же, не глядя, направо и налево все раздал, а ящик ногой пульнул, как мяч. Иду себе в барак, а за мной вслед бегут и кричат:

– Чего же это ты себе-то ни хрена не оставил, погоду, на, закури, на, пожри, – и суют мне куски сахара, колбасы и махорки.

В барак пришел, а там гул идет, рассказывают, как я тесанул посылку, и меня угощают. На них это произвело такое впечатление, что после этой посылки я в полный закон вошел, и слушались меня с полуслова.

Я расправился с посылкой, не подозревая и не думая о последствии, а так, импульсивно, чтобы самому не страдать. Посылка была от Тони, вслед ей письмо. По письму я понял, что я, написав письмо Варюхе, адрес на конверте механически написал свой, домашний. Конечно, обида была страшная, упреков еще больше.

Я понимал, что в посылке продукты были от Ивана Ивановича и средства его, ее только хлопоты. В душе своей я давно с Тоней разорвал, и обратной дороги у меня к ней не было, чего ж, думаю, я буду ее эксплуатировать, да в зависимости быть. Я, мол, тебе помогала, посылки слала, если бы не я, погиб бы и тому подобное, нет, думаю, надо сходу все кончать. Впереди еще столько лет, чего ради я и себя в долгу буду чувствовать и ей голову морочить. Я ж к ней все одно не вернусь. Сама жизнь разорвала. Разбитого не

склеишь. И написал я ей все, о чем думал, не таясь, не виляя. Мне твои посылки не нужны, и ты их больше не посылай. Так все написал и послал.

А весной я чуть-чуть Богу душу не отдал, спас Аркашка.

Заболел я самой страшной болезнью в лагере, а тем более тут на известняке, где в санчасти соды и той нет. Заболел я дизентерией. Где я ее подцепил, не знаю, но понимал, что мне хана, бирка на большой палец и тундра, туда в нее зимой свозили и просто скидывали, даже снегом не присыпали, само занесет.

Кровь хлестала из меня, как из сифона. Я лежу у Яшки, там у него на нескольких койках тяжелой смертью умирали. Яшка руками разводит, и в полной беспомощности глаза его на меня смотрят. Я чувствую, с каждым днем силы меня покидают, и кровью я исхожу напрочь. И вспомнил я рассказ мамы, как в народе дизентерию лечат. Надо достать самую ржавую, самую соленую селедку и съесть ее с потрохами, с головой, со шкурой и в течение двух суток ни капли воды. От жажды этой на стенку полезешь, но коль хоть глоток воды хлебнешь — смерть неминуема. Где в зоне достать такую селедку? В зоне, где пищеблока нет, все за зоной. Вспомнить-то вспомнил, а где достать? Одна надежда — Аркашка. Прошу я Яшку его немедля разыскать.

— Пошли, Яшка, кого угодно, но разыщи.

Разыскали. Пришел Аркашка, а я ему все подробно рассказал. Так и так, иначе хана, Аркашка, спасай. Ушел озабоченный. В лагерях многословия не любят. Приносит, спустя несколько часов. Достал, с трудом, но достал.

— На, хавай! Да воды не пей!

Не пить воду после живой соли на этапе, в вагоне, дело привычное. Съел я всю с потрохами, ржавую-прержавую, то, что надо, и полез на стенку. Куда там навага, солью пропитанная, там терпимо, тут же огонь палит смертельный. Я словно в реактивном психозе на стенку лезу. Хоть глоток, хоть росинку, как богатый в аду у Лазаря, перст просит омочить и к его губам приложить. Нет, смерть краше этих двух суток конвульсий. Правда, на вторые чуть легче. Но вот диво — позывов нет. А то бывало, только и бежишь, а тут нет их. Нутро пылает, нутро жжет огнем. Заснул я в изнеможении. Двое суток прошло. Позывов нет, огонь палящий утих,

терпеть можно. Слабость такая, языком шевельнуть не могу. Приходит Аркашка:

– Жив?

– Жив! Дай воды!

– Уж можно? – Я кивнул головой. – Пей!

Я выпил кружку и заснул.

Просыпаюсь утром, Яшка стоят рядом.

– Ну как, Леха, выжил?

– Вроде да! Слаб очень. Крови не было с тех пор, как съел.

– Во дела! А я думал, брехня все это. Вот тебе и народная!

К вечеру я стал есть. А через двое суток встал, сперва держась за стенку, а потом пошел.

А в это самое время тут, рядом на койке, умирал Ваня Саблин. Ваня Саблин, мальчишка лет шестнадцати, шел с нами этапом на Воркуту. Светлое, открытое, русское лицо, чистые, не тронутые пороками юности глаза, детская чистота и светлая вера отличала его меж всеми. Все тяжести этапа, описанные мною, избиение, жажду, голод, сорокаградусный мороз нес он спокойно, молчаливо, безропотно и, я бы сказал, с какой-то внутренней радостью.

По его рассказам, вся его семья идет этапом, кто куда. Отец, мать, братья и сестра. За что, Ваня?

– За веру, – спокойно отвечал он. – Наша семья вся – баптисты, вот и ждем, потому что верим, потому что иначе жить не можем.

Ваня вместе со мной оказался на Воркутинской пересылке. Худенький, истощенный тюрьмой, этапами, отвергнутый «купцами», как не пригожий рабочий скот, Ваня вместе со мной попал на известняк, в самую страшную, самую смертельную зону во всем «архипелаге». Чье-то сердце не пожалело, чья-то рука не дрогнула, мальчишку сунули в карьер на общие.

Известковый карьер, глубиной в несколько десятков метров, где кайлом и ломом долбали известняк. Раздробленный камень, вручную, на носилках поднимали «на гора», падая, спотыкаясь под непосильной ношей в сорокаградусный мороз, в пургу и свистящий ветер, сбивающий с ног, долбили и носили с утра до вечера. Среди них был и Ваня, внешний и внутренний облик которого напоминал отрока Варфоломея, душа которого светилась средь

непроглядного мрака ненависти, злобы и безысходности, окружающей его и в карьере, и в бараке. Воры, рецидивисты, уголовники всех мастей, убийцы, насильники, проигрывающие чужие жизни в карты, крадущие все, что можно украсть, убивающие ради убийства, и среди них, среди этого ада страстей и пороков, чистый, светлый Ваня Саблин, спокойный, безропотный, тихий и молчаливый Ваня. Как душа его горела верой, так и тело мальчишки затлело туберкулезом и разгоралось в скоротечную. Оно бы, быть может, и не разгоралось и можно было бы погасить, если бы чье-то сердце пожалело, и чья-то рука протянулась, мальчишка горел, а его все безжалостней гнали и гнали в карьер.

Пожирающее пламя скоротечно сломало тело, но не дух этого удивительного мальчишки. Его принесли, пылающего огнем, к Яшке и положили на койку. Светло и торжественно догорала свечка, пламя ее не колебалось, а тянулось ввысь. Жизнь оставляла тело, светлая душа мальчика покидала его торжественно, с тихой улыбкой на пылающих жаром губах. Темные, длинные ресницы его полузакрытых глаз тихо вздрагивали от прикосновения смерти, смерти тела, мирной, тихой и безмятежной. В уголке, из-под опущенного века, из-под ресниц показалась слеза и медленно начала свой путь по щеке, ресницы дрогнули и застыли опустившись, словно провожая ее. Тишина, тишина и радость освобождения были написаны на его светлом лице.

Вот так ушел из жизни, из-под власти генералов-палачей милый Ваня Саблин! Они вольны были над его юным и слабым телом, они выкинули эту сгоревшую оболочку в белые снега тундры, нагим, с фанерной биркой на ноге, с написанной на ней фамилией, именем и отчеством, статьей и сроком, предварительно на вахте размозжив ему череп деревянной кувалдой. На этом и кончится их злая власть и сила. Тундра накроет его своим белым саваном, а ветер споет ему свою панихиду.

Спустя много-много лет воскликнет Русь в своих храмах:

**СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!**

Много, очень много после успения Вани, именно успения, а не смерти, мне довелось видеть, присутствовать и принимать последние взгляды, последние вздохи и слезы людей разных наций,

вероисповеданий, верующих, атеистов, безразличных, но подобной кончины я не видел. Я завидовал ей светлой завистью, и теперь она перед моими глазами и в моем сердце живет, как необычайно светлое и торжественное явление победы силы добра над силами зла!

А силы зла продолжали свой пир, свою службу сатане, скручивая и выкручивая тела и души, и чем сильнее был их разгул, тем сильнее во многих сердцах рождалась вера, ибо только она могла устоять и победить.

Как-то в зоне вспыхнул бунт! Отказались идти на работу, требуя высшее начальство. Непосильный труд, рассчитанный на уничтожение, штрафные пайки, дикие условия существования вызвали протест рабов.

Примчались на «Волге» генерал Мальцев – начальник Воркутлага, полковник Козлов – начальник режима и иже с ними палачи.

Выстроили всех строем, сами же к строю встали спиной.

Из строя им начали выкрикивать свои требования, их было не много!

– Человеческие условия работы, питания и содержания.

– Если это не будет выполнено, мы на работу не пойдем!!!

Спины слушали молча, их жирные загривки под папахами смотрели в упор на тощих, оборванных и голодных. Растопырив ноги, их мощные спины никак не реагировали на сыпавшуюся на них ругань.

Внезапно, обернувшись лицом, генерал Мальцев громко и внятно прокричал:

– Мы вас собрали сюда не работать, а мучиться!

Сели в машины и уехали.

«Мы вас собрали мучиться!» Только ли на Известковом, только ли в Воркутлаге, на Колыме или во всем архипелаге в целом?

Этими словами генерал Мальцев определил не только задачи ГУЛАГа, а всей системы в целом, цинично и без обиняков, без фальшивых лозунгов о свободе, равенстве и братстве.

Кончалась полярная ночь, все упорней и настойчивей показывалось на горизонте солнце, все выше и выше оно поднималось над снегами окоченевшей тундры. Оно не грело, не ласкало теплом, а леденяще светило мертвенно белое пространство, в котором

царствовала смерть. Морозы не спадали, ледяной ветер, оставив дыхание, валит с ног, заметая бараки по самую крышу. Камень долбили, крошили, поднимая «на гора», темные черные тени от зари до зари, с утра до утра!

Люди в отчаянии кайлом или лопатой отрубали сами себе кисти рук, фаланги пальцев, обливали своей мочой на ледяном ветре конечности, обжигая их и обрекая на ампутацию. Раскрошив в котелок пайку хлеба, они кипятили ее с водой, вызывая тем самым страшные поносы и, в конечном результате, смерть. Увечье и смерть были единственным избавлением от гибели на общих работах, медленной и верной.

Саморубов судили, добавляя сроки, но что стоят добавленные года к общему сроку в двадцать пять. Безруких и беспалых на общие работы не пошлешь, а на работах в зоне выжить легче. Каждый искал путей спасти свою жизнь, и часто они вели к неминуемой гибели.

С одним из этапов в зону пришел доктор, осужденный по бытовой статье. Он был расконвоированным, а по тому имел возможность, минуя начальство, сам через медуправление добывать необходимые медикаменты для санчасти. Началась какая-то помощь больным, санчасть ожила, Яшку этапом угнали в другую зону, и прием в амбулатории вел опытный врач. Исчезла Яшкина линейка, появился стетоскоп. Доктор Шугалтер перевел меня из моего барака в санчасть к себе, и тут началась моя практика фельдшера. Я ему, не скрывая, не таясь, рассказал все о себе, о том, как я стал фельдшером, и какой мудрый «Соломон» натолкнул меня на этот путь. Мы очень быстро подружились. Он стал моим первым учителем, как некогда Митька Наумкин в моих познаниях в электротехнике. Тут было во много раз серьезней и ответственной. Латынь я понимал и разбирался в названиях лекарств, действие многих знал от мамы. Мне помогали: природная смекалка, живой и деятельный характер, умение схватывать налету мысль, осуществлять ее с рвением и видом знающего, опытного. Не зная как, я спрашивал и учился на ходу науке спасать, спасать всеми силами и возможностями, имеющимися на данный момент под руками. В свободные минуты доктор объяснял и показывал, а я впитывал и применял. Внутривенные вливания, вскрытия фурункулов,

сложные перевязки, клизмы, банки, раздача лекарств по назначению, амбулаторный прием вместе с опытным и доброжелательным доктором были для меня высшей школой практической лагерной медицины. Вся ее наука состояла в спасении и помощи. По-дружески я рассказал доктору о моей «kozyрной», спрашивая его совета, как мне лучше сыграть ей, чтобы подстраховать себя инвалидностью.

Он внимательно выслушал и сказал:

— Как мне ни тяжело расставаться с тобой, как бы мне этого не хотелось, я выхлопочу там, — он кивнул головой, — перевод тебя в нормальную зону, ближе к Воркуте, там тебя обследуют и наверняка инвалидизируют, а фельдшер-инвалид всем необходим, так как в санчасти это внештатная, добавочная единица, всегда необходимая и ценная. Сказано — сделано.

Вернувшись из своей очередной поездки в Воркуту, доктор сообщил мне, что он добился на меня наряда на отправку в лагзону третьей шахты на обследование.

— Жди, скоро пойдешь этапом, а пока за работу.

Скоро пришел этапом новый фельдшер, а я вышел за вахту, попрощавшись с моим спасителем и наставником.

За мной закрылись ворота, конвой ожидал на вахте. Было полярное лето, незаходимое солнце в зените. Я покидал зону смерти, а впереди пять долгих лет. Я выжил, я остался живым благодаря маме, Аркашке и селедке. Я приобрел знания и опыт в медицине и практически мог спокойно работать, умея делать многое, благодаря доктору Шугалтеру, имя которого память не сохранила, но жива благодарность.

Суки с пиками, во главе с Аркашкой, проводили меня до вахты. Аркашка на прощание протянул мне руку:

— Прощай, Леха, вот кого не думал встретить, а привелось, может и еще встретимся, коль жив буду и не зарубят. Наше сучье дело такое, сегодня жив, а к вечеру мертв, это тебе не селедка, сожрал с потрохами и жив остался, тут рубают на смерть. Прощай!

Когда я прибыл этапом на 3 ОЛП, меня принял начальник санчасти доктор Штемберг, отсидевший свой срок и оставшийся вольняшкой, как многие, боясь вернуться в родные края, чтобы не загреметь по новой.

Сочувственно выслушав меня, видя во мне собрата по профессии, он сказал:

— У нас в зоне глазного врача нет. Я вас направлю к глазнику в Воркуту в вольную поликлинику, там вас посмотрят и дадут заключение, а тут мы на его основании вас комиссуем и если надо, то и инвалидизируем. Нам крайне выгодно иметь нештатную единицу, просто необходимо, то что есть — не хватает, а больше не дают. Обходись, как хочешь. А пока я вас госпитализирую, идите и очухивайтесь, а там видно будет.

Я попал в барак санчасти, в котором в основном поправлялись ранее тяжело больные, все ходячие, хотя многие и плоховато.

Двухсекционный барак, двухъярусные нары «вагонка», матрацы, простыни, нательное белье, занавески на окнах. Молоденькая медсестра, бендеровка, указала мне мое место на нарах, оно оказалось внизу и одиночное.

После душа, под которым я так давно не мылся, одев чистое белье, от которого отвык, я залез и лег на чистую простынь. О Боже, какое блаженство! Накрылся одеялом и заснул крепчайшим сном счастливого младенца. Выспавшись, я пошел в другую секцию барака, где парикмахер, согласно графику, стриг и брил. Пройдя весь барак, я остановился у крайних нар, на которых сидел молодой человек с очень благородным лицом и манерами, тонкими руками с длинными пальцами. Это оказался английский шпион, все его звали «лордом». Мы разговорились. Рядом с ним через проход лежали два «расписных», по пояс голые, вид у них был враждебно-наглый.

— Эй, ты! Чего стоишь? А ну, валяй отсюда!

Мне ль не знать этих повадок, этой наглой формы обращения, этого «Эй, ты, вали отсюда». Я не двинулся с места и продолжал начатый разговор с «лордом», полностью проигнорировав их окрик.

— Эй, ты, кому сказано, валяй отсюда, пока цел!

Я продолжал стоять. Как молния, взвились они с нар и бросились на меня, как леопарды. Я не шелохнулся. Кто-то кричал: «Беги, беги!» Барак мигом опустел. Всех, как ветром сдуло. «Беги, беги!» — кричали мне. Я не шелохнулся, а только прикрыл голову двумя руками, выставив локти вперед. Град ударов посыпался на меня. Кулаки барабанили по моему телу со страшной силой, я



стоял там же, где и стоял. Вдруг оба бьющих повалились на пол в судорогах падучей, кружась и изгибаясь дугой всем телом, белая пена стекала изо рта. Я, весь избитый, присел над ними и что есть мочи стал заламывать им большие пальцы на руках. Это самый мощный прием, чтобы вывести из приступа. Они оба обмякли, еще разок дрыгнулись и затихли.

Я пошел на свою половину, на мне не было живого места, все ныло и болело. Сестра укоризненно сказала:

– Надо было бежать, они могли Вас убить.

– Сестра, бежать – это значит быть убитым, рано или поздно они убивают слабых.

На следующий день я снова, как ни в чем не бывало, подошел к «лорду», мои барабанщики сидели по-блатному, поджавши одну ногу под себя, другую согнув в коленке.

– Привет! – сказал я.

– Привет, – ответили они. – Ты откуда?

– С известняка.

– Блатной?

– Фельдшер!

– Курить хочешь?

– Хочу.

– Пойдем.

– Пошли.

Курим, смотрим друг на друга не враждебно.

– А как тебя зовут?

– Лешкой. А вас?

– Арсен.

– Мишка. А почему ты вчера не драпал, тебе же все кричали: «Беги, беги»?

– Если бы я вчера убежал, то вы меня били бы и сегодня, а так мы вместе курим. Вы привыкли, что вас все боятся, и поэтому вы всех презираете и вершите самосуд над слабым, а сильного боитесь. Вот зная это, я и не бежал. С этой минуты Арсен Бадалашвили стал моим другом, и от него я узнал его потрясающую историю, о которой и расскажу, пока есть время. Сидя на нарах, подогнув под себя ногу, согнув другую в коленке, обхватив ее двумя руками, он рассказывал:

— Этого ни одна душа не знала и знать не должна, кроме тебя, Лешка. Арсен Бадалашвили — это не я. Я Александр Чавчавадзе. Арсеном я стал в смертной камере, в которой в ожидании помилования или расстрела нас сидело трое. Я, Александр Чавчавадзе, один русский доктор (фамилию он назвал, но я ее забыл) и Арсен Бадалашвили, бандит. Все мы по разным делам была приговорены к «вышке». Я — за то, что тайно, через границу, перевозил оружие, я был мальчишкой и ненавидел советскую власть, поработившую наш народ. Отец мой — крупный партработник в Тбилиси — не знал, чем я занимался, знали только те, кому надо было знать. Много раз я ходил в Турцию и обратно по тропам с ишаками, груженными оружием. В конце концов меня изловили пограничники. Тюрьма, следствие, суд. Судили открытым в Тбилиси. На суде отец стрелял в меня, но промахнулся. Приговорили к высшей.

В смертной нас оказалось трое, как я и говорил. Арсен был немного старше меня, одной масти и телом близок. Подали апелляцию, сидим и ждем решения. Арсен все доктору жаловался на сердце, приступы с ним бывали. После одного он под вечер умер. Доктор мне и говорит: «Слушай, сейчас я буду тебе жизнь спасать. Нас вряд ли помилуют, а его наверняка», — указал он на мертвого. «У нас ночь впереди». Первое, что он сделал, намочив в моче тряпку, положил ее на лицо покойника. «К утру лица не будет, все раздуется, не узнать, скажем, что умер Чавчавадзе. А сейчас я всю его татуировку на тебя скопирую». У доктора была игла, оторвал он зубами резины с подошвы, нажег ее на спичках и на слюне замесил, получилась краска. Всю ночь колол он мне вот этих тигров, чтобы основные приметы с умершего на меня перекинуть и перекинул довольно точно. Видишь, как расписал. На утро объявил меня умершим. Пришли в камеру, забрали тело. Его барахло я одел, в мое его одели. Сидим и думаем, хватятся или нет, ходим из угла в угол, а об одном думаем. Пришел вечер, тихо, ночь прошла — тихо.

— Знать, прямо так и свалили тебя в ров, не рюхнулись, что ты — не ты! Но вся беда заключалась еще в том, что мы оба ничего не знали об Арсене, кроме фамилии. Ни статьи, ни года рождения, ни кто он, ни что — «темная ночь», а при любой проверке все спрашивают согласно формуляру. Ну, если его помилуют, как отвечать,

что говорить? И тут доктор начинает учить меня припадкам паду-чей и невменяемости, в которой человек может все спутать и все забыть. Я пробую, бьюсь в конвульсиях, а он поправляет, чтобы и врачи не распознали бы, в случае чего. Когда стало все ладно получаться, доктор и говорит: «Ты, валяй, бейся, а я надзор вызывать стану, чтобы они видели, что ты падучий». Так и сделали, я колочусь, а надзор врача вызвал, пену пускаю, гнусь дугой. «Паду-чая у него, — говорит доктор, — сколько сижу с ним, все колотит». «Да, самая что ни есть падучая», — отвечает тюремный врач, раскрывая мои веки, и стал мне палец заламывать, точь-в-точь как ты тогда, я сразу обмяк. Доктор научил такой реакции. С тех самых пор и бьюсь я, чтобы ничего о себе не знать и не помнить, кроме имени и фамилии. Так и в формуляре значится: «О себе не помнит ничего», потому и не спрашивают. Арсена, как доктор и говорил, помиловали, меня и доктора — к расстрелу, я «умер» еще в камере, а моего спасителя — к стенке. Прощаясь, он мне сказал: «Живи вместо меня!»

Арсен много рассказывал мне о своей матери, об отце, особенно нежно о бабушке с дедом; как сейчас помню, где они жили: Сагурамойский район, село Ткварели, а быть может, память спутала, сколько лет прошло.

У меня сохранился рисунок его головы, лицо в фас. И теперь он у меня. Арсен дни и ночи запоем писал стихи на грузинском. Он читал мне их. Языка я не знаю, но по музыкальности своей они трогали и были красивы. Мы долго были вместе, и все посылки я делил с ним. Все его боялись, и он на всех наводил страх и ужас. Единственным человеком, которого он подпускал к себе, был я. Часто бежали за мной, крича: «Арсен! Арсен!» Стоило мне появиться, он покорно шел за мной. Думается мне, что игра и необходимость перешли в болезнь.

Конечно, я никогда не мог проверить истину его рассказа в лагере, тем более, что я один знал «тайну». Прощаясь, он просил меня запомнить адрес его отца и матери в Тбилиси, я его помню, но будучи в Тбилиси, я по этому адресу не пошел. В лагерях всякое расскажут, а где правда, где романтический вымысел, определить трудно. Разыскивая, можно невольно попасть в «непонятную». Я рассказывал эту историю грузинам, в частности, одному из

Чавчавадзе, они не посоветовали мне идти по адресу. Я и не пошел, а на этих страницах рассказал всю историю, как слышал.

Арсена взяли на этап, и мы расстались, обняв друг друга.

Настал день, когда по мерзлым колдобинам и подернутым льдом лужам повел меня конвоир в Воркуту на обследование, он шел рядом с автоматом, за который я держался рукой, ибо был слеп. Он вел меня, забавно предупреждая, где лужа или более серьезное препятствие. Я падал, он поднимал. Я, отпустив руку, лез в кювет, он вытаскивал меня и приговаривал:

– Куда ж ты, слепая тетеря, лезешь.

Так мы с ним в обнимку дошли до поликлиники. Я вошел в кабинет, вертухай остался у дверей.

У окна, в глубине кабинета, за столом сидела докторша, против нее сестра. Справа и слева – стеклянные шкафы, посередине стул. Войдя, выставив руку вперед, я твердым шагом направился прямо на шкаф, споткнувшись о стул, упал.

– Сестра, сестра! Помогите, он же нам все шкафы перебьет, – закричала врачиха, вскочив со стула и вместе с сестрой поднимая меня.

Меня подвели к столу, подсунула под меня стул, а я сел лицом к двери.

– Он совсем ничего не видит? – спросила врачиха у вертухая.

– Тятеря, – ответил он по-вологодски. Меня развернули. Докторша долго и внимательно смотрела на меня, я смотрел мимо нее. О! Глазное дно. О! Милость Божия!

– Так, на пальчик.

Я в другую сторону, где пальчика нет.

– Сюда, сюда, – поворачивая мою голову к пальчику, ласково говорит она.

– На кончик носа, вниз, вверх... так, хорошо. На ушко, – она вновь поворачивает мою голову на свое ушко, которое я прекрасно вижу: розовенькое, женское ушко молодой красивой врачихи. – Сколько пальцев?

– Не вижу.

– А так?

– В тумане.

– А так?

– Три, – хотя было два.

– Пигментная дегенерация сетчатки, хорео ретинит энит обоих глаз, – диктует она сестре. – Зрение ООЗ подлежит инвалидизации. Какая у вас статья?

– 58-10.

– Была бы бытовая, пошли бы домой, с этой не актируют, к сожалению, – добавила она. – Возьмите его и ведите осторожно, – обратилась она к вертухаю.

– Да я что, я и так осторожно, пойдем, Тятяра!

Он взял меня под руку, врачиха дала ему заключение и сказала:

– Передайте в санчасть.

Я прекрасно сыграл свою роль, на многие года получив инвалидность. Самое главное, что нет никому дела, вижу я или не вижу, смотрят на заключение, на формуляр, смотрят в списки инвалидов зоны, до остального дела никому нет. Так и смотрели на меня все врачи, с которыми мне приходилось работать, инвалид и, слава Богу, свой фельдшер, а чаще всего меня просто госпитализировали, так что я там, где работал, там и жил, там и питался. В то время обыкновенно при санчасти в зонах была своя кухня, свои повара и другое, отличное от общего, питание, даже с диетой. Врачи – все ээки, все свои и относятся к тебе, в зависимости от твоих личных качеств как в работе, так и в жизни. Работать приходилось много, посменно, без выходных, а когда один, то круглые сутки, засыпая от случая к случаю.

Так, работая, учился, учась работал. Где бы я ни работал, с врачами всегда был, что называется, на короткой ноге, активно работая, активно живя. Врачи видели во мне не только помощника, но часто и друга, которому можно доверять и который не продаст, не заложит, а уж выполнит все досконально. Это спасало меня больше всякой инвалидности, т.к. и они стояли за меня горой, в случае надобности.

Кто-то настучал на меня и на всю санчасть, что она держит на «койке» здорового фельдшера, выдавая его за инвалида.

В стационар пришла комиссия, якобы для проверки всех историй болезни и в соответствии с ними больных. Начальник санчасти предупредил, а он был свой, чтобы сберегли Арцыбушева, комиссия заинтересуется им.

Пришли, сели, по историй болезни вызывают больных, я в белом халате, в белой шапочке, поочередно ввожу больных, врач делает пояснения. Лежал у нас некто, разбитый параличом, ничего не говорящий, а несвязно мычавший сифилитик, которого я ввел в ординаторскую. Доктор, обращаясь к комиссии, подает им историю болезни и говорит:

– Арцыбушев, люэс три креста, паралич.

– Уведите! – сказала комиссия, посмотрев, для проформы, еще двух-трех, выкатилась не солоно хлебавши.

Доктор, получив сигнал, переписал историю болезни сифилитика на мою фамилию. Стукач был посрамлен!

Как-то лег к нам с этапа юноша Ваня Кудрин с открытой язвой желудка. Как выяснилось, военный фельдшер. Попав в плен, махнул к власовцам, чтобы не попасть в лагерь военнопленных. С власовцами – на передовую, а с передовой – к своим. Кажется, кроме ордена парень ничего не заслужил. Не тут-то было.

– В плену был?

– Да! Бежал!

– У власовцев был?

– Да, чтобы легче бегать!

Смерш, тюрьма, лагерь, измена Родине – десятка!

Ваня лежит в той же палате, в которой ночью я. Вечерами режемся в шахматы. Я проигрываю чаще и вхожу в азарт, начинаю злиться. Ванька видит, а подзуживает. Так постепенно он стал мне ненавистен, видеть его не хочу, а играть, тем более. Он видит и все понимает, но молчит.

Однажды у меня страшно разболелся глазной зуб. Зубного врача в зоне не было. Пошел в гнойную, показал, положили на стол, сделали укол в десну, наложили щипцы, тягнули и сломали зуб. К ночи щека раздулась, к утру лица не видно – жар до сорока. Абсцесс. Я в бреду, открываю глаза, Иван сидит рядом. Сколько бы я не открывал глаза, он тут неотступно, что-то колет в мышцу, дает пить.

Температура все лезет и лезет. Ни лица, ни уха – все сплошной шар. Слышу вопрос:

– Заражение крови?

– Пока еще нет, но может, пенициллина-то нет.

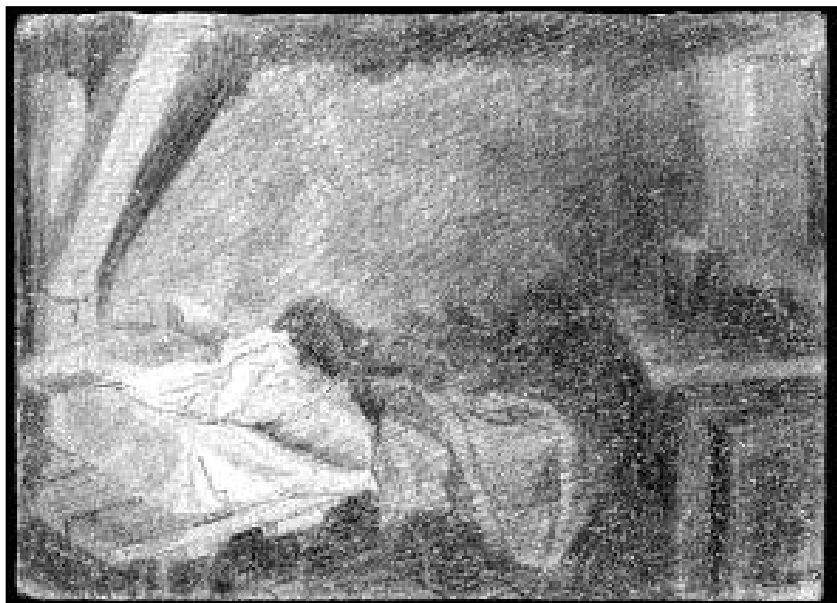
ЛАГЕРНЫЕ РИСУНКИ

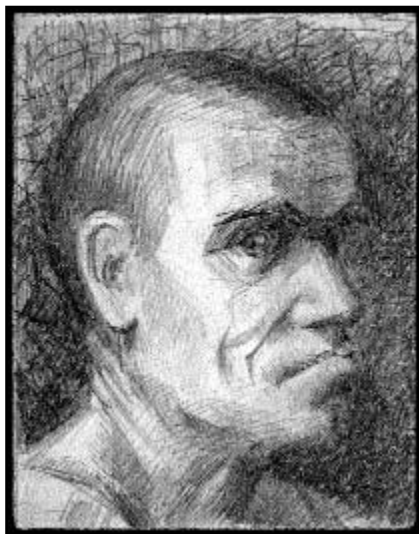


Автопортрет. Воркуталаг.

Думы.

Лагерные нары.





Бендеровец.



Литовец.

За чтением Евангелия.



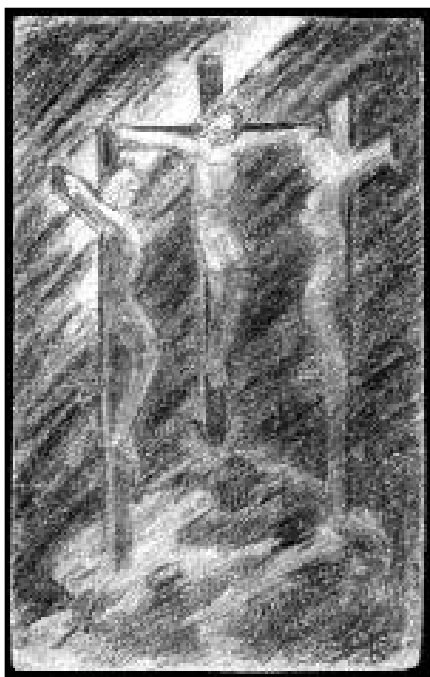
Арсен.





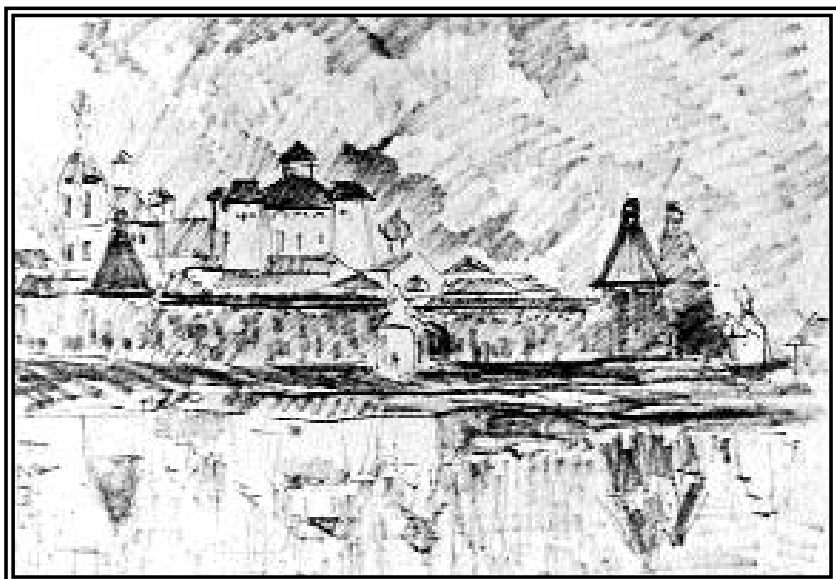


Бойчук (ректор Ивано-  
Франковской Духовной Академии).



ГОЛГОФА

Соловки.



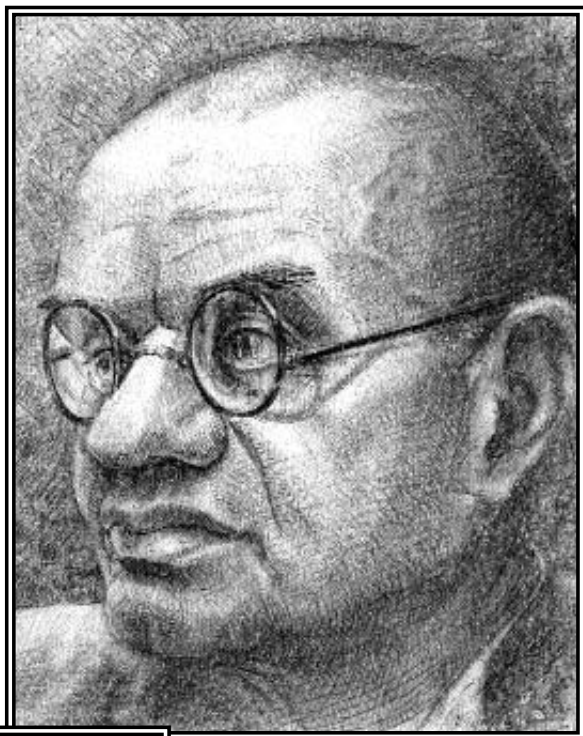


Автопортрет.  
Воркуталаг.

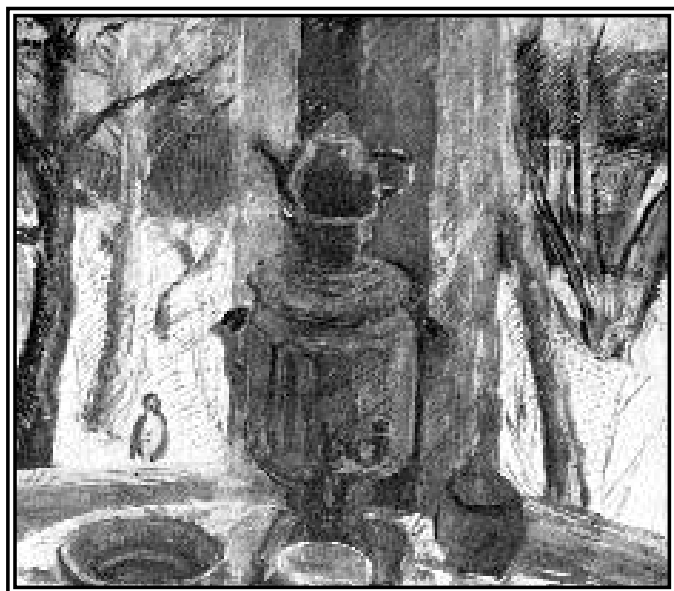


Ангел.

«Коленька» – Николай  
Сергеевич Романовский.  
Интлаг, зима 1952 года.



Северная сказка.



Синичка  
за окном.



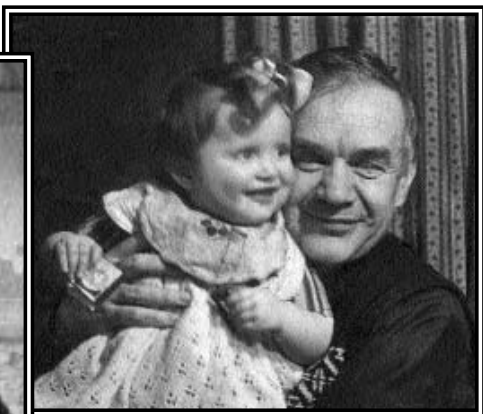
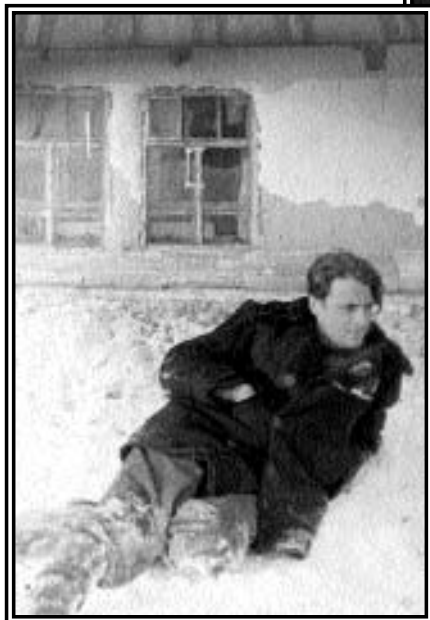
Варя и я в новом доме. Инта.



И в Инге бывает жарко.



Северная изба.



Коленька и Маришка, г. Инга.

Архитектор и строитель  
у своего детища.



Деревня Березово.

На четвертые сутки что-то прорвало и начало хлестать изо рта зеленое, зловонное, с литровую банку нахлестало. Иван неотступно рядом. Так он меня и выходил, а может и от смерти спас.

С тех пор все мое сердце было отдано ему, и дружба наша длилась до моего этапа в особо режимный, и то мы с ним продлили расставание на шесть месяцев. А дело было так: поплыли слухи о создании на Воркуте особо режимных лагерей каторжанского типа. В них собирали всю 58. Я в списках.

Я и Иван работаем фельдшерами в разных зонах, но при острой надобности пройти друг к другу можно. Я пошел к нему и рассказываю все по порядку.

— Ванюха, что делать? Как спастись от этапа?

Ванька думал, думал и придумал.

— Я тебе сейчас тройную дозу противотифозной вакцины под лопатку всажу. Легкий тиф замастырим.

Я скинул рубаху и говорю:

— Валяй!

Он и всадил. Дня так через два жар и вся тифозная картина налицо! Анализы подтвердили. ЧП по всей Воркуте. Колоть всем вакцину! поголовно! Ищут причину, берут анализы воды. Ответ из центральной лаборатории прочли, ахнули: вместо анализа воды, пришел анализ мочи.

Зону объявили закрытой инфекционной, все этапы остановили, ни туда, ни сюда. Чем активнее кололи вакцину, тем более путали всю картину, где прививочный, где настоящий. Так шесть месяцев все разбирались. Я давно выздоровел и продолжаю работать. А много месяцев до этого случая меня перевели работать в инфекционный барак. Там была сплошная лафа. Ни тебе салонов, ни тебе проверок. Я на бараке сделал надпись: «Вход строго воспрещен. Заразный корпус». Так тихо и мирно жили мы в этом корпусе под охраной грозной вывески. К нам от шмонов из зоны приносили прятать все запретное, все нелегальное. Врач приходил в барак утром и вечером, посмотрит больных, сделает назначение и нет его. Санитаров я подобрал из эстонцев, здоровые лбы, а главное, свои и исполнительные. Охра барак мой стороной огибала, на поверке за метр от форточки кричит: «Сколько вас там?». «Столько-то!» и пошел, дай Бог ноги, рысцой.

Пришло время и вольнонаемную охрану сменили войска МВД — краснопогонники. Они свирепствовали в зонах. Шмон за шмоном, продыху нет. Как-то во время шмона долбит кулачищами в дверь краснопогонник. Я в форточку:

— Что надо?

— Открывай!

— Не могу, — отвечаю, — почитай, что написано. Корпус заразный, не имею права. Заболеть можешь и заразу по зоне и в казармы разнесешь, не имею права.

— Открывай, я тебе покажу заразу, а то дверь выломаю.

Ну ладно!

— Лиля, — крикнул я санитару, — пусти этого дурака.

Пустили. Тот пошел переворачивать все вверх дном, шмон чинить. Перевернул, ничего не нашел, т.к. санитары свое дело знали хорошо. Солдатик к выходу, а у дверей два лба дорогу перекрыли. Солдатик бравый растерялся.

— Пусти, говорю, — заорал он.

— Дурень ты, — сказал я, — тебе ж русским языком говорили — барак заразный, не могу я тебя выпустить, понимаешь, ты сейчас заразный.

Парень оробел, испуг в глазах:

— А что же делать теперь?

— А теперь мы тебя обязаны продезинфицировать. Лиля, в ванну его и хорошенько хлоркой разотри.

Потащили шмонателя в ванну, раздели. И так хлоркой терли, что он визжал, как свинья. Вылетел он из ванны, горит как маков цвет и орет: «Ой, ой, жжет!».

— Жжет, — говорю, — я же тебя предупреждал, а ты еще меня сукой обзывал, двери хотел ломать. А теперь иди, и всем скажи, чтобы в этот барак ни, ни. Понял?

— Понял!

И выкатился, да бегом, бегом, видать жгло еще в нежных местах, так как уж больно забавно руки держал.

— Проучили одного дурака, другой не полезет.

И не лазили.

Тут необходимо сказать, что всю ВОХру и даже краснопогонников нельзя стричь под одну гребенку. Слов нет, что среди них



были злые и жестокие, садисты, выполняющие указания и инструкции с садистским рвением и жадной насилью, но встречались и такие, которые часто формально подходили к выполнению своих функций, с некой человечностью и даже состраданием. Краснопогонники мне сами рассказывали, как им дурят головы на политзанятиях. Нас им представляли, как злейших врагов, жизнь которых сохранена только лишь благодаря гуманности нашего социалистического общества. Им описывали наши преступления в таком виде, чтобы вызвать к нам справедливую ненависть. В их глазах все мы были извергами рода человеческого, жалость к которым не должна иметь места в сердце патриота Родины. Все мы, потенциальные смертники, а если нам оставлена жизнь, то временно. Все мы — убийцы, отравители, изменники, и они это должны постоянно помнить и не иметь с нами никаких контактов, не доверять и не входить в любые сношения.

Однажды ночью ко мне в санчасть прибежал солдат с вахты.

— Идем, — говорит, — на вахту, там солдату плохо.

— Что с ним? — спрашиваю.

— Животом корчится.

Взял я нужные лекарства и пошел с солдатом. Вхожу на вахту, а там на топчане солдатик крутится.

— Что с тобой?

— Ой, живот, ой, живот!

Распахнул я его, проверил на приступ аппендицита. Нет. Не заворот кишок. Нет, газ отходит. Прощупал я ему весь живот, спросил, что ел, тошнит ли, как на двор ходит, и пришел к выводу, что у него просто желудочные колики. Налил грелку, положил как надо и говорю:

— Я тебе сейчас капель дам выпить, и все пройдет, полежать надо.

Если бы кто видел его лицо — ужас, написанный на нем.

— Нет, нет, пусть помру, а капель от тебя пить не буду!

— Да почему ж?

— Ты меня отравишь!

— На кой хрен ты мне нужен, чтобы тебя травить, нужен ты мне очень, чтоб я руки свои марал. Вот смотри, я из этого пузырька накапаю в стакан и сам выпью при тебе, если это — отрава, то и я помру вместе с тобой. Смотри.

Я накапал и выпил, он пристально смотрел на меня и как капал, и как пил. Я накапал ему:

– Будешь пить?

– Нет, – отвечает, – боюсь.

– Ну, тогда корчись, сколько тебе угодно.

Я пошел к двери. За спиной слышу голос: «Дурак ты, да он сидит-то ни за хрен собачий! Пей, пока не ушел. Капай, доктор, капли, выпьет».

Я накапал, солдатик выпил.

Вот что значит их политзанятия и понятно, почему они свирепствуют. Таких искусственных врагов создавала система, чтобы ими прикрыть свою наготу, чтобы на них свалить свое уродство.

У меня лично многие вохровцы и краснопогонники брали письма и опускали их за зоной, минуя цензуру, приносили в зону по моей просьбе водочки или что-либо другое, когда они уезжали в отпуск, я давал им адрес Вари, и они останавливались в Москве у нее. Разный среди них был народ.

На 3 ОЛПе я, наконец, наладил связь с Варей, пошла регулярная переписка. В те времена письма были не ограничены, как в спецлагере. Писал я чуть-ли не каждый день, часто отправляя их через охровцев. За зоной они доходили значительно быстрее. В письмах я посылал свои лагерные рисунки, часть из которых сохранилась. Я наотрез отказался от Тониной помощи, наперед зная, что эта помощь идет от Ивана Ивановича. Я написал Тоне о своем твердом решении не возвращаться к ней, о чем написал и Варюшке. Вся моя дальнейшая судьба и жизнь была связана с ее судьбой и жизнью. С первых дней нашего знакомства мы оба тянулись друг к другу всеми силами, мне очень трудно было сделать решительный шаг, за меня его сделало ГБ. Теперь с каждым письмом, с каждой посылкой от Вари мы соединялись все сильнее и сильнее, на будущее смотрели, как на наше будущее. Я страшно тосковал без нее, без ее писем и каждое письмо для меня был праздник, а посылка – тем более. Каждая тряпочка, каждый кусочек сахара или конфетка были для меня реликвиями, и я любовался ими, нюхал, прижимал к щеке. Трудно описать словами то чувство, ту радость и в то же время горечь разлуки с любимой. Об этом говорили Варюхе мои письма, бесконечно длинные и наполненные горем и

радостью, любовью, надеждой, оптимизмом, поддержкой ее силе-нок на преодоление всех наших напастей. В этих письмах — моя жизнь, моя вера, мое сердце и все, что в нем жило, горело и страдало. В них была сосредоточена моя душа, посылаемая в конвертах через цензуру и помимо нее! Уничтожить эти письма, не пропустить их адресату не решалась даже лагцензура. Они все доходили, хотя размеры их часто измерялись метрами. При мне всегда жила ее фотокарточка, которую я встроил в портсигар. Я берег все, к ней относящееся, как только мог. Так шла моя жизнь, и вехами ее были письма.

Как-то в наш стационар пришла на работу молоденькая, только что окончившая мединститут, докторша. Красивая, наивная, добрая. Она попала в Воркуту по разнарядке. Общий язык с ней был найден сходу, как говорят в лагере. Она сразу же влюбилась в Ваньку Куприна, и мы все берегли эту любовь, как зеницу ока, создавая все необходимые условия и охраняя от ОХРы и всякой иной нечисти.

— Кудрин! На прием к врачу!

Иван шел с видом истязаемого больного, неохотно вставая с постели.

— Опять к врачу, да когда же это кончится — залечили напрочь!

Валечка благодарила: письмом за зону и всякими другими способами.

— Боже мой, что тут делается? — восклицала она. — Мы там ничего не знаем, сколько вас несчастных тут мучается. Боже мой! И за что? За что? Вы все такие славные ребята, там, за проволокой, таких нет. Там все уроды, задолбленные уроды. Тут только глаза мои открылись на всю эту систему. Мы ж там сидим и ничего не знаем, нам долбят: «Враги, враги!» Кто враги? Вы? — так она сокрушалась, приходя утром в стационар, в своем маленьком кабинете.

— Валечка, не сокрушайся с утра, побереги силы! Ваньку вызвать на прием?

— Да, да и как можно поскорей, как он себя чувствует?

— Без тебя в отчаянии, по утрам же весел!

— Зови, зови!

— Зову, зову, только будь осторожна, ты ж вольняшка!

– Нет, нет, я – зечка, я ваша, я всегда буду вашей!

Пылал роман, пухла история болезни, вклеивались новые листы, делались назначения. По-моему, она только одного Ваньку лечила и лечила самоотверженно, не жалея сил! А мы помогали.

– Иван, тебе доктор клизму прописал, – смеялся я, входя с клизмой в палату.

Шли дни, бежали недели, месяцы.

3 ОЛП – зона шахтная. Даешь уголь матери Родине!

Техника безопасности на шахтах была только на бумагах. Шахта выкидывала на поверхность и уголь, и трупы, и искалеченных. В то время, в 1947 году, в зоне были и мужчины, и женщины, а посему, сами понимаете, что творилось. Не все «плыли», не все доходили, были и здоровые, и крепкие. Это в основном воры «в законе», суки всех мастей, бригадиры, «придурки» и т.д. Бабы лазили по баракам, по своим хахалям, тут же при всем честном народе справляли пир плоти, загребали заслуженные пайки хлеба, да часто, взвешивая ее на ладони, орали: «Тут не триста – мене!» Секс был всенародным, были бы силенки и лишняя пайка. Масса была «коблов и сучек» – это лесбиянки. Бабы «коблы» курили, говорили басом, стриглись по-мужски. Сучки красились, виляли задом и всегда ходили со своими кавалершами. Пацанов, уголовников, мелких воришек и разной разности именовали «машками», они тоже были разобраны промеж «паханов» и другого блатного мира. Бедных «машек» в стационарах было навалом и все с сифилисом прямой кишки. Самая мучительная и самая зловонная болезнь.

Дикая вражда, вражда не на жизнь, а на смерть кипела между суками и ворами. Вор по воровскому закону не имеет права работать на тех работах, на которых он, вор, обязан заставлять другого вора работать. Иными словами, вор сам не работает и других воров не принуждает. Если суки попадают на этап с ворами и воров больше – сука убивается сходу. И наоборот. Война постоянная, война насмерть.

Прокатилась по всему Воркутлагу, по всем зонам, и не только у нас, но и по всему архипелагу, Варфоломеевская ночь! Воры резали сук. Ножами, топорами, кувалдами. На 3 ОЛПе их нарубили в эту ночь человек сорок. Залетали в бараки с топорами и командовали: «Огни под нары»! Огни – все фраера и те, кто не суки. Сук

же стаскивали с нар и рубили наотмашь. Так залетели и в наш стационар, там лежали суки. Славка, ночной фельдшер, бросился спасать лежащего и со спины повис на шее убийцы.

– Славка, пусти, Славка, пусти, худо будет.

Славка не отпускает, тогда он рубанул через голову топором Славку и снес ему край черепа, а лежащего – насмерть. Славку спас хирург, сделав сложнейшую операцию.

Навалив горы рубленых тел, пошли воры на вахту, кинули топоры и сказали:

– Всех ваших сук порубали!

Но оказалось, не всех. На следующую ночь суки рубили воров и тоже гору наворотили немалую. Спустя некоторое время собрали на этапы всех сук и всех воров крупного полета со всех лагерей архипелага, погрузили на баржи и утопили в открытом море.

В основном, в те годы лагеря были переполнены прибалтами. Масса эстонцев, литовцев и меньше латышей, но достаточно. Потом пошли эшелоны западников «бендеровцев» от мала до велика, мели всех подряд. Встретился я там со многими униатскими священниками, и среди них всеми уважаемый епископ Бойчук – ректор Ивано-Франковской духовной академии (имя его запамятовал). Он лежал в стационаре, и я с ним был близок. Как-то его вызвали к оперу, у которого он долго пробыл, а потом рассказывал мне, что ему предложили свободу, если он возглавит движение за присоединение униатской церкви к нашей патриархии. Он наотрез отказался и заявил, что готов сидеть до смерти!

У меня сохранился рисунок его портрета. Славный был он человек, лучезарный.

Врачей по зонам было много и очень хороших. В основном все они шли по «делу Горького». Сосо отравил его, а вслед за этим пересажал массу врачей. Затем щербаковцы: Щербаков опился в день победы, а врачей пересажали. Застал я там врачей по щербаковскому, кировскому и ленинградскому делам. Много было врачей литовцев, меньше латышей и эстонцев. Много было поляков. Мне было у кого учиться и с кого брать пример. Работы в санчасти было навалом и больных тоже. Часто разгорались эпидемии, которые косили лаг-народ, так что больные занимали целые бараки, и моего не хватало.

Как веревочке не виться, а кончику быть. Моя с Иваном тифозная мастырка и карантин в зоне задержала и перепутала в сроках планы ГУЛАГа. На шесть месяцев были задержаны этапы в Речлаг, так был зашифрован особорежимный, по фашистскому образцу «благоустроенный» лагерь. В него, по замыслу Лаврентия Пальча, должна быть собрана вся 58 — политическая. Режим был предусмотрен соответствующий! Номер! Он заменял фамилию, имя и отчество. Если фашисты сей номер выжигали клеймом, то наши, взяв за основу «нумерацию», как наивысшую форму унижения, изобрели наиболее «гуманный» способ, более простой, но не менее унижительный. Номер печатался на белом полотне в виде полосы длиной сорок сантиметров, шириной десять сантиметров, на которой черным по белому жирным шрифтом значился номер, а впереди него большая буква, обозначающая серию. Такая лента пришивалась на спину к любой форме одежды. Этого мало, необходимо еще заклеить лоб. Такой же номер с соответствующей серией, только меньшего размера, зек должен носить на головном уборе. И этого «гуманистам» было как-то маловато, чего-то не хватало для полной гармонии, и ради нее зек на рукав левой руки пришивалась буква «Р» на белом фоне.

Правда, как изысканно, гармонично и унижительно? Человек — номер. Нет ни Сидорова, ни Петрова, есть серийный номер и «Р» на рукаве!

Наша любимая партия всеми силами старается отмежеваться от Сталина. Это, дескать, он, а не мы вели любимый народ от победы к победе! А разве эта нумерация человеческой личности не победа? Партия не знала, что ее народ не только миллионами сидит за решеткой, но еще и пронумерован. Как же она творила и мыслила, ничего не зная? Партия — это мозг народа, так она о себе заявляет. Можно ль поверить, что мозг не командовал руками, ногами и другими членами, а жил сам по себе и творил только «призывы» к первому мая и к седьмому ноября? Не будем углубляться. Предположим, что номера выдумал и печатал миллионными тиражами Иосиф Виссарионович, с некоторой помощью Лаврентия.

Итак, пронумеровали! Теперь хорошо бы эту сволочь лишить связи с внешним миром. Лишили. Два письма в год!

А не засадить ли этих извергов за колючую проволоку, в два ряда натянутую под высоким напряжением, на манер милому сердцу Освенциму? Натянули, ток пропустили!

А как бы нам их вообще на свободу не выпускать? Да очень просто! Стоит только указать! И указали – по окончании срока наказания все на вечную ссылку!

Еще более тайных инструкций мы не знаем, но они были: «В случае надобности уничтожать!!!» Имеется в виду массово. На индивидуальное уничтожение существовала вся система. Недаром генерал Мальцев перед строем ЗЕКов в упоении властью провозгласил «призыв» к ..... мая ..... ноября. **МЫ ВАС СОБРАЛИ СЮДА НЕ РАБОТАТЬ, А МУЧИТЬСЯ!!! УРА, ТОВАРИЩИ!!!**

Интересно, был ли он членом КПСС? Судя по всему был! Генерал, начальник Варкутлага – не член? Не может быть! Такие призывы без ведома?

Валечка, молоденькая, добрая и красивая, она ужаснулась действительности, попав по разнарядке на Воркутлаг. Живя в Москве, она не знала и не предполагала, что творится, «как вольно дышит человек!» Она-то не была «членом», и, по ее словам, никогда не будет после того, что увидела, поняла и осознала, правда, с некой нашей помощью.

Номера напечатаны миллионными тиражами, буква «Р» тоже, зона под током, ОХРА отборная, режим наистрожайший, лозунги и всякие призывы: «**ДАДИМ, ВЫПОЛНИМ, ПЕРЕВЫПОЛНИМ... МАТЕРИ... ВАШЕЙ РОДИНЕ... ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ... ЧЕЛОВЕКА-НОМЕР!**» И т.д., и т.п. развешены.

Красиво, уютно, сплошняк нар в бараках, деревянные тротуары скоблят стеклышком, номера на месте, тут, там и еще вот тут! Ток пущен! Бараки забиты до отказа, бригады укомплектованы. Даешь уголек! Штаты врачей, санитаров и фельдшеров утверждены «кумом!» Без оной персоны – не дышать. Стукачей навалили из всех зон. Пересыщенный раствор, выпадают в осадок. На одного стучат трое. На вышках автоматчики, прожекторы, как солнце, овчарки натренированы на человека-номер, рвутся выслужиться и получить ордена. Под их неусыпным глазом и ухом, окруженный доблестными войсками с автоматами наготове, наш этап подошел к вахте.

ОЛП особого режима шахты № 40. Во куда занесло меня после карантина. В последний раз обнялся с Ванькой Кудриным, а сильней лагерной дружбы нет дружбы. Может быть на фронте — не знаю, а про лагерную — гарантирую. Поцеловав друг друга, со слезами на щеках мы расстались навсегда!

— Саратов, Кузнечная 5, запомнил?

— Да, да!

Запомнил и нашел улицу Кузнечная 5, но на том месте новый дом, и никто ничего сказать не мог. Времени было в обрез!

Общий барак, на работу пока не гонят, нарядчики медработников берегут, пригодятся. Санчасть забита литовцами. Главврач — Кизгайло, врачи, кроме одного, Ивана Ковыля, литовцы, фельдшеры — литовцы, санитары — литовцы, больные в основном тоже литовцы. Попробуй! Подружился с Иваном Ковалем! Молодой врач из Киева. «Иван, — говорю, — неужели никак?»

— Да что ты, сам на липучке вишу, вся власть в руках наших братьев.

— Послушай! А ты не можешь, как-то между прочим, при случае, сказать Кизгайло, что там в общих бараках фельдшер-литовец пропадает?

— Да какой же ты литовец? — смеется Иван.

— А ты скажи, твое дело сказать, остальное мое дело. Скажешь? Ты скажи ему, что фамилия фельдшера Арцыбушкавичус Аляксас Пятрас.

— Скажу!

Сижу я как-то вечером на своих нарах. Барак гудит, как улей, я в тоске пребываю, — что делать? Как быть? Правда, у меня инвалидность, но вот так кантоваться не в моем характере. Слышу я, что кто-то на весь барак орет:

— Арцыбушкавичус, Арцыбушкавичус!

Подхожу и спрашиваю:

— Чего надо?

— Ты, Арцыбушкавичус?

— Ну, я! А что хочешь?

— Тебя в санчасть доктор Кизгайло зовет!

Прихожу. Сидят Коваль и доктор Кизгайло, Иван лыбится. Кизгайло ко мне по-литовски.



– Простите, доктор, я литовского не знаю.  
– А доктор Коваль сказал, что ты литовец.  
– Я? Литовец!  
– Какой же ты литовец, коль языка не знаешь?  
– Доктор («когда я был маленьким, моя бедная мама уронила меня с пятого этажа»), – вспомнил я Игоря Ильинского.

– Доктор, дело в том, что родители мои погибли в революцию от большевиков, меня грудного взяли в детский дом в Ленинграде, там я и воспитывался без родного языка и без родины, а родители мои жили в Каунасе на Минтес Рате, вот и все, что я знаю о себе! А сейчас лагерь, сами понимаете.

– Понимаю, понимаю, – задумчиво сказал доктор, – понимаю. Он что-то обдумывал.

– А ты не побоишься пойти в открытую форму, где все смертники и там же жить?

– Не побоюсь, доктор, какая разница, где работать?

– Иди, принимай. Тридцать и еще на очереди пополнение! Ты и санитар, врачи только по утрам на обходе.

– Спасибо!

Пошел и принял. Маленькая ординаторская, топчан – тут спать, стол, стул, шкафчики с медикаментами, шприцы, градусники и все, что надо. Санитар – эстонец. Одна палата, тридцать коек, тридцать смертей и еще на очереди. Один помрет, другого принесут. У всех открытая, палочки Коха плавают в воздухе, воздух спертый, сладковатый от мокрот.

Перелистал истории болезней, больше прибалтов. Назначения – понятно! Я вошел в палату.

– Друзья мои, я ваш фельдшер, меня зовут Алексеем.

Все приняв и со всеми познакомившись, я пошел к Кизгайло и попросил у него второго санитара для подмены, одному не справиться. Он обещал.

– Вы, находясь в палате, повязку на лицо из марли надевайте, все-таки открытая!

– Хорошо, доктор, но я не боюсь.

Все мои новые пациенты знали, что они смертники, что путь им отсюда один – в тундру, но дух у них был крепкий, и я убеждался в этом каждую ночь.

Человек, как правило, умирает ночью. У Жука еще в Муроме в его труде «Мать и дитя» я прочел, что человек умирает в час своего зачатия. Поверить можно, проверить невозможно. Мои подопечные умирали ночами. Ночами принимал смерть, днем спал урывками. Повязку не одевал, мне было стыдно и неловко. Будь, что будет.

Однажды ночью страшно трудно, долго и мучительно умирал человек. Туберкулезники, как правило, умирают в полном сознании, потому смерть их тяжела, ибо сознают свой час. Смерть их тяжка тем, что она держит тело и душу умирающего в тисках агонального состояния часами, то сжимая их, то вновь отпуская. Последние жизненные силы вступают в неравную схватку со смертью. Душа не в силах покинуть тело, тело не в силах перешагнуть через роковую черту, за которой наступает покой и освобождение. Медицина тут бессильна. Ее применение только лишь усугубляет и продлевает страдание умирающего.

Мама, на руках которой многие так умирали, помогала им спокойно отойти, крестя их крестным знамением, что, по ее словам, облегчало душе несчастного мирно перейти в жизнь вечную.

В эту ночь вспомнил я рассказ мамы. Будучи бессильным помочь, облегчить, спасти умиравшего, я начал крестить его голову, лежащую на моих руках. Агония затихла, все спокойней и спокойней приближалась смерть. Тело не металось, в глазах исчез ужас. Вот она пришла и освободила! Неожиданно в полной тишине ночи, слышу я чей-то голос.

— Доктор, а доктор! Когда я буду умирать, ты и меня крести.

Так я и крестил моих смертников, помогая им освободиться.

Много раз мне приходилось бороться за человеческие жизни, там где теплилась хоть маленькая надежда. В этой палате надежды не было, а было одно желание — облегчить смертный час!

Как во всем мире, так и за колючей проволокой в два ряда, да еще под током высокого напряжения, идет борьба за власть. Литовское господство в санчасти было бескровно свергнуто. Начальник санчасти в погонах раздобыл себе в другой зоне несколько врачей, которые вскоре пришли этапом в зону. Кизгайло был снят с главных, а на его место был назначен доктор Наум Спектор, с которым я немного работал на 3 ОЛПе. В санчасти началась перетряска.

Литовских врачей и фельдшеров Спектор менял на еврейских, польских и русских. Больных, в зависимости от болезней, стали сортировать по стационарам. Открыли корпус выздоравливающих. Спектор, узнав, что я у смертников, возмущен духом.

— Ты что, с ума сошел! Тебе что, жизнь не дорога! В открытой сидеть!

— Да, Наумчик, выбора не было!

— Принимай барак выздоравливающих!

Я принял. В одной половине барака выздоравливающие, в другой — общежитие для медперсонала. Мои нары в самой глубине у стенки на втором этаже. После жизни с миллиардами палочек Коха в палате смертников я очутился в раю. У меня не умирали, а выздоравливали!

Растасовав всю санчасть, ликвидировав засилье литовское, сидят как-то в санчасти Спектор и Кизгайло. Кизгайло и говорит Спектору:

— Ну, всех литовцев разогнал, а одного повысил!

— Кого это?

— Арцыбушкавичуса!

— Да какой он литовец, он жид, такой же как я!

— Жид? Не может быть!

— Позовем и спросим!

Прибегает ко мне в стационар санитар:

— Иди, тебя Наум зовет.

Прихожу.

— Слушай, Лешк, кто ты по национальности? Кизгайло уверяет, что ты — литовец, а я говорю, что ты — жид!

— Доктор, моя национальность зависит от того, к какой нации принадлежит главврач!

— Ну, что я тебе говорил, — сказал Спектор Кизгайло, — он самый настоящий жид, а литовцем назвался потому, что ты литовец и деваться ему было некуда. Я только удивляюсь, как это ты своего литовца запихнул к смерникам, молодого парня в открытую форму?

— Да он сам согласился!

— Согласился, согласился потому, что другого же ты ему ничего не предложил?

С тех пор доктор Кизгайло со мной не здоровался.

По вечерам в нашем общежитии Спектор организовал для фельдшеров лекции и занятия по всем видам медицинской практики, что было крайне интересно и необходимо, особенно для меня.

Практически я знал и умел многое, теоретически знал мало. Моя инвалидность никого не интересовала, я о ней помалкивал, но этот козырь всегда был при мне, достаточно поднять личное дело и... посмотреть на кончик носа... на пальчик... на ушко, и не увидеть двух пальцев перед самым носом.

Время шло медленно, но неумолимо. Впереди еще было много. Срок тянется нудно и бесконечно, безнадежно и уныло, пока не перевалит за половину. Под горку легче, а пока счет ведешь годами. Удручало два письма в год. Раньше, бывало, в письмах выскажешь любимой всю тоску свою и печаль, всю силу любви, и становилось легче в беспросветной мгле полярной ночи, где все так же и днем, и ночью, средь звезд и млечного пути, бродит смертельно бледное сияние, то пропадая, то возникая вновь, напоминая предсмертную агонию, в которой жизнь борется со смертью.

Находясь в особо режимном, мы все понимали, жизнь наша может оборваться в любой момент, и все зависит от злой воли ОДНОГО! А этому ОДНОМУ в день его семидесятилетия провозглашали по соборам и храмам БЛАГОДЕНСТВИЕ И МИРНОЕ ЖИТИЕ НА МНОГАЯ ЛЕТА, МНОГАЯ ЛЕТА, МНОГАЯ ЛЕТА!!!

На трибуне «Большого» билась в истерике неистовая Ибарури, брызжа слюной, не находя слов восторга, что живет она под лучами «ЕГО солнца», освещающего мир и все человечество радостью бытия! Ее бы сюда!

На посылке человек-номер мог только расписаться на штемпеле специальной открытки, которая извещала отправителя о ее получении адресатом. Кроме Варюшкиных посылок, на которые она скребла денежки, собирая их копейками, я получал не так часто посылки от тети Кати из Самарканда всегда с сухофруктами и из Мурома от тети Маруси с луком, чесноком и разной снедью, иногда с барахлом и теплыми носками. Я использовал право расписаться на штемпеле, а открытку посылал Варюшке, чтобы дать лишний раз сигнал, что я жив. Иногда я использовал право на

письмо покойничка, умершего и не написавшего свое первое или второе. Часто эту возможность приходилось уступать кому-нибудь, остро нуждающемуся.

Вместе со мной в бараке жил некто Вася, татарин, капитан американской армии – самый что ни на есть шпион. Он это не скрывал и много интересного рассказывал мне. Мы дружили, парень он был свой, кроме того, и в лагере разведка его работала поразительно точно. Задолго до каких-либо перемен в лагере, всегда к худшему, он говорил о них, предупреждая по-дружески и по секрету. Подловили его наши в Северной Корее и сунули пять лет. Он работал санинспектором на шахте. Придет, бывало, поздно вечером, я его поджидаю с крепким чаем, сядем в раздатке, пьем и рассказывает он мне всякие новости. Среди них, что готовятся этапы на юг!

– На юг? – спросил я.

– На юг, – подтвердил он, – всех инвалидов собирать будут по зонам и этот «шлак» долой с Воркуты на юг!

Доктор Сарнот, прибывший из другой зоны, рассказал мне, что знает Романовского, который работал в их санчасти регистратором и что он инвалид; это единственное, что я узнал о Коленьке за эти годы. Главное, я узнал, что он на Воркуте и что он инвалид, чему порадовался. Инвалидов на общие не гоняют и то, слава Богу!

Когда мне Васька сказал о предполагаемом этапе инвалидов, я был уверен, что Коленька не минует его. Тут я решил всеми силами добиться, чтобы меня записали на этот этап, мне было просто необходимо видеть Коленьку, не убивать его за очную ставку, а быть рядом с ним и, быть может, помочь. Я просил, не говоря Васе своих идей, подробно разузнать об этих этапах. Прошел месяц и по зоне пошли слухи об этапе на юг. Больше того, санчасть начала комиссовку инвалидов. Все говорило о том, что Вася был прав, и его УЦРУ работало безотказно. Еще раз через него убедившись, что по всем зонам идет комиссовка инвалидов, я пошел к Спектору, прося его комиссовать и меня, т.к. хочу попасть на этап. Он страшно удивился:

– Что тебе тут плохо? Лучшего вряд ли найдешь. Живешь хорошо и живи, от добра добра не ищут!

Я настаивал, объяснив Науму причины, прося его меня воткнуть на этот этап.

— Но ты же понимаешь, что ты рвешься на свалку, в которую выбрасывают отработанный шлак. В рабочей зоне легче прожить, чем на помойке.

Я настаивал, Наумчик уступил.

О! Глазное дно! О! Милосердие Божие! Видеть и не видеть!

Я получил на комиссовке, и по совету Наума, по старому заключению вольной врачихи инвалидность второй группы и был внесен в списки на этап!

Прощаясь с милыми докторами, благодаря их за все то добро, которое я от них видел, я поблагодарил и доктора Кизгаило, которого надул.

— Простите, доктор, лагерь есть лагерь.

Когда я прощался с самым милым и самым добрым доктором, полковником Бляштейном, он сказал мне:

— Ты может быть очень верно поступаешь, что вырываешься отсюда, тут мы все ЗАЛОЖНИКИ. Храни тебя Бог!

Доктора Спектора я поцеловал и сказал:

— Не знаю даже, какая национальность меня ждет впереди!

— Наша национальность одна — **БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ** — ответил он.

Этап отошел от вахты и двинулся на Воркуту через белые снега тундры. Я перелистнул еще одну страничку жизни.

Пересылка!

Сердце не обмануло меня. Пересылка все набивалась и набивалась «отбросами производства». Подходили к вахте все новые и новые пополнения, среди которых был и Коленька. Найти в этом муравейнике нужного тебе человека, то же самое, что в стоге сена иголку. Бараков много, пойдти, обегай, а тут посчастливилось, и мы встретились. Нам обоим было, что рассказать друг другу, и для этого на пересылке было достаточно свободного времени. Первое, что спросил меня Коленька:

— Ты меня не будешь бить?

— Для этого я только и просился на этап, зная наверняка, что тебя встречу, сейчас резать буду!

Я обнял этого малого, дорогого, дорогого мне человека, давшего

мне так много в жизни, а тюрьма — ведь тоже жизнь!

— Коленька, голубчик, неужели я не понимаю или не знаю, какими клещами на Лубянке вытягивают «признания». Я сам через все это прошел и мне ли не понять и не простить, да и прощать нечего. Кто за судьбой не идет, того судьба тащит, это ж твои слова. Значит, мне через все это необходимо пройти.

Я подробно рассказал ему все, что было со мной и на Лубянке, и тут на Воркуте. Рассказал ему, как я рвался на этот этап, чтобы встретиться с ним.

— Я от доктора Сарнот узнал, что ты на Воркуте работаешь в санчасти, а главное, что ты инвалид.

Мы вместе воткнулись в один барак и нам обоим было что рассказать.

— Сапоги украли, сапоги украли! — Кто-то бегал и орал, что у него украли сапоги. Коленька был в армейских сапогах. Подбегает к нему тот тип и заявляет, что это его сапоги, тащит надзирателя:

— Вот, он украл у меня сапоги, снимай, это мои сапоги.

Вертухай смотрит на Коленьку, на сапоги в нерешительности.

— Я профессор! — заявляет Коленька. — Профессор!

— Козел ты, а не профессор! — отвечает ему вертухай.

— Это ты — козел! А я — профессор!

Вертухай, опешив, махнул рукой и отошел. Тот тип побежал по бараку искать свои сапоги. Поди найди.

— Да ты, как я вижу, блатным в лагере стал.

Начались переключки по формулярам!

— Арцыбушев!

— Я!

— Номер?

— У-102

— Статья?

— 58-10

— Срок?

— 6!

После переключки подходит ко мне маленький и тощий Некто.

— Вы Арцыбушев?

— Да! А что?

- Фамилия редкая. У вас родственника не было по имени Михаил?
- Был. Дядя! А откуда вы его знать могли?
- Да так, пришлось, – уклончиво ответил Некто!

Меня заинтересовала особенно уклончивость ответа. Коль знаком был, то почему не сказать, раз сам начал интересоваться.

Впоследствии я установил, что некто – Алиутский, в тридцатых годах был крупным чекистом, завоём какого-то спецотдела на Лубянке. В 37-м поплыл по лагерям и плавает до сих пор. Узнав его подноготную, а в лагере это не так трудно, я понял, откуда сей муж мог знать моего дядю, ими расстрелянного в 30-е.

### ВЗЯВШИЙ МЕЧ, ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ!

Потом я встречался с ним не раз и спрашивал его, откуда все же? От ответа он уклонялся, а я-то все знал, но помалкивал. Думаю, что он меня боялся, как бы я не прирезал не ровен час.

На пересылке начали формировать этап. Никто не знал, куда. Тайна, как всегда. Разные ходили слухи, кто во что горазд. Так как все мечтали о России, то и этапы мы мысленно отправляли только туда и больше никуда.

Перед этапом – строжайший шмон, догола раздевают. Меня шмонают.

- Нагнись! Больше, больше, падло!

Вертухай в задницу смотрят, нет ли там у меня оружия. Я нагнулся до отказа, вертухай заглядывает, нет ли там контрреволюции, а я ему пустил воздушок прямо в нос. Он меня ударил и потащил к столу, за которым сидело начальство.

- Это сучье падло... мне пернуло в самое лицо!

– Нечаянно, гражданин начальник, нечаянно! Он все нагнись, да нагнись, ну я и не смог удержать...

- Фамилия! – заорали «погоны». – Я тебе покажу, нечаянно!

- У– 102, Арцыбушев Алексей Петрович, 58-10.

«Погоны», раскопав мой формуляр, что-то в нем пометил. Как бы вновь за малую шалость на штрафняк не угодить!

Строят колонны, заводят в телячьи вагоны. В вагонах нет буржук. Это не на юг, на юг зимой путь далек. На дорогу выдали только пайку хлеба, для юга маловато. Куда же, куда? Ночь пути. На частых остановках краснопогонники стучат, простукивают деревянными кувалдами половицы под вагонами.



К полудню следующего дня эшелон остановился на станции «АБЕЗЬ» и встал в тупик. Неужели Абезь? Вот тебе и юг! Всего четыреста километров ниже Воркуты, да и то хорошо, все южней.

— Вылезай! Ложись!

Повалились в снег. Коленька рядом. Выгрузились. Встать! Встать! Знакомое — давай, давай! Псы на сворах, встают на задние, рвутся в бой. Длинной-предлинной змеей, черной на белом снегу, двинулась, поползла, ковыляя и спотыкаясь, колонна отработанного материала!

Бескрайние снежные просторы, холодные и пустынные, в безжизненном свете северного солнца. Белая смерть! Несчастные люди! Бедный народ!

Я сейчас, спустя сорок лет, вижу как наяву это траурное шествие по просторам тундры ни в чем неповинных, на верную смерть обреченных людей. Сколько бы им не воздвигали памятников, сколько бы не говорили слов, тем, кто не видел, не прошел — не понять, что единственным, достойным памятником им может стать только ХРАМ!

Колонна останавливалась у вахт, часами сидела в снегу, пока не просчитают, как считают скот на бойне, людей, пожираемых зоной! Снова и снова, зона за зоной, принимают ТОВАР! По формулярам, по номерам, по поголовью скота, отмученного, измызганного, отжатого в силах мышц, бесполезного, на помойку сваленного, кадра бывшего, выполнившего свой долг перед матерью-родиной на благо и счастье всего человечества!

Наконец мы с Коленькой в зоне на третьем, как заколдованном, ОЛП! Я, Коленька и доктор Белевцев, знакомый мне еще с 3-го ОЛП на Воркуте, идем искать санчасть. Коленька артачится, я настаиваю:

— Ты ж работал в ней, работай и дальше!

Пришли. Пришли как домой. Народ и до нас в зоне есть. Ведет амбулаторный прием начальница санчасти, дородная, с бюстом Венеры, с приятным лицом. Доложились, представились, шаркнули ножкой. Доктор Белевцев, фельдшер Арцыбушев, Романовский!

— Идите все втроем в стационар, его еще нет, но надо создавать! Барак напротив. Я приду позже.

Создавать, так создавать, не впервой.

Доктор Белевцев из своих подобрал завхоза, я тоже из своих санитаров, всегда эстонцев: не продадут, не выдадут, не заложат; исполнительны, беспрекословны и трудолюбивы, подгонять, тыкать носом не надо. Достаточно взгляда и доброго слова. Закипела работа, уже валят больные. Коленька температуру мерит, я клизмы ставлю, банки, делаю уколы, вливания. Коленька «калики-маргалики» по ртам раскладывает, да по-немецки и румынски с «нацменьшинством» лясы точит, а те в восторге пребывать изволят: «Я-я, я-я».

На какое-то утро заявила «дородная», неся свой мощный бюст, как свадебный пирог. Нравится ей все, что мы тут состряпали: чистота, все блестит, больные в два яруса, Коленька термометры встряхивает, да под мышки всовывает. «Битте», — говорит.

— Доктор, — говорит начальница, — как мне не жаль, но я должна Арцыбушева из санчасти отписать в общий барак.

— Почему, гражданин начальник, за что? Гражданин начальник, я без него как без рук.

— Он в черных списках!

— За что?

— Это у него надо спросить, за что? Арцыбушев, что у вас там на пересылке произошло?

— Гражданин начальник, воздушок нечаянно выпустил.

— Какой воздушок?

— Да... в нос.

— Чей нос?

— Вертухай при шмоне меня голого заставил сильно нагнуться, я нагнулся, он кричит еще давай, а сам в зад смотрит. Я — еще... а воздушок-то сверх моего желания и вышел, да ему в нос.

— И это все?

— Ну да! Все!

— Хорошо, я выясню!

На этом пока разговор кончился.

Наша начальница санчасти имела в зоне огромную власть, т.к. была женой старшего оперуполномоченного всех Абезских лагерей, а это — фигура. В каждой лагзоне обязательно есть опер или, по лагерному, кум — «крестный отец». Поле деятельности его

обширно и не ограничено. Он представитель ГБ в лагпункте. Это всевидящее око, всеслышащее ухо, судьба каждого заключенного у него в руках. Он — маршал целой армии стукачей, он наматывает новые статьи и дополнительные сроки, создавая и стряпая лагерную 58, утверждает штаты на основании своих досье всей лагобслужбы. Начальство лагеря негласно подчинено ему. Перед «кумом» все трепещут. Чуть поскользнешься, и ты в его сетях. Этот паук тут же приступает к трапезе, выбраться из его лап непокалеченным невозможно. Первое, что он делает с жертвой, запугивая ее всеми карами, завербовывает, превращает в стукача и в послушное ему орудие, обещая многие льготы и самое важное в зоне — теплое местечко. Многие, кто страха ради, кто из-за подлости, клюют на эту наживку и запутываются окончательно. Это самое страшное, ибо сей паук высасывает до отказа. Стукач — самое опасное и самое презренное существо. Стукач, по натуре своей, — мерзавец и трус, подлая душа, за миску каши предающая и закладывающая. Стукача все презирают и в то же время боятся. Но его не так-то легко раскрыть и обезвредить, т.к. за ним стоит всемогущий «кум».

Как-то в нашу санчасть на 3-ем ОЛП в Абезе с этапом пришел доктор, некто Казанцев. Работать он стал на приеме в амбулатории, размещенной в одном бараке со стационаром, в котором я работал фельдшером. До его прихода к нам у нас все было спокойно и гладко, среди нас не было явных стукачей. Стукачи из больных, известные всем, лежа в стационаре, не знали наших внутренних дел и стучать не могли, да и боялись. Мы довольно долго не могли понять, кто стучит? А кто-то явно стучал. Нам вольняшки приносили кое-что из-за зоны. Меж собой мы не таились, будучи уверенными друг в друге. Внезапный шмон и охра находят то, что найти трудно. Явно среди нас появился стукач. Кто? Все шары на Казанцева. До его прихода к нам было тихо. Стукача можно опознать по роже, так же как Иуду среди апостолов. Рожа доктора Казанцева нам казалась подозрительной, манеры его тоже, но самым отвратным в нем было его отношение к больным, бездушное и издевательское. На приемах в амбулатории он не утруждал себя даже выслушать жалобы, не то чтобы измерить давление, прощупать, простукать. От одного его вида меня колотило. Перед ним стоит старик, жалуется на сердце, а он кричит фельдшеру:

– Эдик! Дай ему термопсиса.

Сволочь! Я внутренне кипел от бессилия и от ненависти. Мы все это примечали, ненавидели и не знали, как нам от него освободиться. Явная сволочь, явный стукач, а за ним – «кум».

Я всегда стремился работать ночным. Ночью во всей больнице только я и санитар; вызываю врача в самых крайних случаях, когда сам не могу справиться. Ночами много работы и нет суеты. Перед тем, как принять смену вечером, я всегда заходил к ребятам в амбулаторию «посвистеть», что по-лагерному – потрепаться.

Принял дежурство. Всегдашние вечерние процедуры: уколы, вливания, раздача лекарства по назначению врача, ужин. Тяжелые больные, приступы, жалобы, поступление новых больных. Ночь, как все ночи. Часа в два приносят в одеяле из барака больного, кладут на топчан в ординаторской, разворачивают. На топчане в тяжелейшем состоянии тот старик, которого я видел вечером на приеме и которому Казанцев приказал дать термопсис (водичка от кашля). Сколько я ни бился, что ни делал, старик на топчане предал дух свой Богу. Отнесли его в холодную каморку до утра.

Я тут же сел и написал оперу от имени старика жалобу на доктора, не потрудившегося даже пощупать пульс больного, еле стоявшего на ногах и просившего о помощи. Все это я изложил корявым дрожащим почерком, прося у опера защиты и помощи, упомянув, что вся надежда на справедливость с его стороны, так как он на то и поставлен.

Письмо получилось взволнованное и отчаянное, взывающее к милосердию. Фамилия, имя и отчество, как положено, «серия и номер», статья и срок того старика, барак номер, дата того вечера.

В зоне всегда висит почтовый ящик, на котором написано «Оперуполномоченный». Сейчас самая трудная задача – опустить письмо в этот ящик, чтобы никто не увидел, иначе тебя сочтут за стукача, потом поди, докажи. Спасла вьюга, заполярная вьюга, ни зги не видно, метет с присвистом. Бушлат, шапку и, согнувшись в три погибели, быстрее к ящику. Запихнул в него письмо, а у самого такое ощущение, что обеими руками в теплое дерьмо влез. Сам себе омерзительен, что прикоснулся к этой сучей падали. Но как иначе поступить, как избавиться от мерзавца, как его обезвредить? Так я успокаивал себя всю ночь до утра, но камень тянул и давил душу.

Утром, как правило, придя в зону опер открывает своим ключом свой ящичек, вытаскивает из него ночной улов. Это его жизнь, пища и воздух. Стукачи по кабинетам не ходят, опер бережет свои кадры, стукачи делают свое гнусное дело тайно, через разные каналы, в том числе и через ящичек.

Прибегает утром, когда я еще не сдал дежурство, дневальный опера и спрашивает меня: «У тебя такой-то?» — и называет фамилию старика.

— У меня, а что?

— Да его «кум» вызывает!

— Скажи своему «куму», что старик в ночь сию помер от сердечного приступа, вон в чулане лежит, хошь покажу?

Дневальный убежал докладывать. Ну, думаю, что же дальше будет? Получив сигнал от старика, опер обязан реагировать. Старик-то не знает, что Казанцев — стукач. Опер вызывает к себе старика, а старик мертв! Старик в письме предупреждает опера, что он сильно болен, а мол доктору наплевать. Опер, в своем лице, олицетворяет великие принципы гуманизма, стоит на страже их осуществления. Он — наш маленький отец, он «кум», он наш «крестный, папочка!» Правда, купель, в которую он норовит окунуть, не со святой водой, а кровь со слезами, но и в крови искупать необходимо гуманно и со состраданием, во имя счастья грядущего поколения и в назидание теперешнему. Узнав о том, что старичок помер, а коль он написал, то его можно было бы в стукачи вербануть, опер расสวิрепел. Свирепость его подогрела «матушка игуменья», которая, надо сказать по совести, хоть и была женой оперуполномоченного, но терпеть не могла стукачей, а про Казанцева знала все. Казанцев был снят на общие работы без права работать врачом. Это моя единственная подлость, за которую я себя долго казнил.

Забегая вглубь времени, начав говорить о стукачах, расскажу я еще об одном. Жил в нашем бараке некто Пинчук — стукач из стукачей. Как-то меня предупредили, что Пинчук стучит на меня. Мне тогда до конца срока мало оставалось, а попасть под око опера грозило великими, непредсказуемыми последствиями. Я долго и упорно размышлял, как мне его обезвредить, что предпринять? Вечером весь барак в строю на поверке. Расходиться нельзя до сигнала. Охра ведет подсчет поголовья по несколько раз, ибо в арифмети-

ческом сложении туговаты — не сходится. Снова и снова пересчет пальчиком каждого. Стоим в строю и томимся. Внезапно меня что-то подмыло, что-то решилось внутри меня. Я вышел из строя и, подойдя к Пинчуку, в полной тишине внятно и громко сказал:

— Слушай ты, сволочь, если ты не прекратишь на меня стучать, то я убью тебя на твоих же нарах!

Пинчук побледнел. Гробовое молчание. Я встал на свое место. Меня дернул за рукав приятель и сказал:

— Ты погиб!

— Это мы еще посмотрим!

Я понимал, что пошел на страшный риск! Как выяснилось потом, спустя малое время, Пинчук бегал по зоне и умолял всех стукачей не стучать на меня. Вы настучите, а он убьет меня! Пинчука поразила моя дерзость — заявить перед всем строем! В лагере боятся дерзких, а тем более их боятся стукачи, трусы и шкурники. Я сделал верный ход, другого я не находил!

В лагерях терпеть не могли «верных рыцарей революции», славных чекистов, а их было многовато по лагерям, соратников Ягоды, Ежова, они держались особнячком, тише воды — ниже травы, т.к. знает кошка, чье мясо съела.

Лежал в палате некто Нейдман, в 37-м — начальник спецотдела ГБ. Для таких, да простит мне Господь, место у меня было самое, что ни на есть, вонючее. Утром в палате раздают завтрак — на весь барак вонь от тухлой селедки. В ординаторскую входит санитар Вавро, поляк. «Пши прошу, пане».

— Чего тебе, Вавро?

— Пана просит больной.

Вхожу в барак, все сидят в два этажа и жуют тухлую селедку, молча и сосредоточенно, словно Богу молятся.

— Кто меня спрашивал?

— Я, — отзывается Нейдман.

— Что хочешь?

— Вы знаете, какой нас селедкой кормят? — нагло заявляет он, поднимая перстом кусок селедки.

— Какой?

— Тухлой!

— Гражданин Нейдман! Эта селедка Вашего засола! В 37-м вы

ее засаливали для нас, не думая, что вам придется ее жрать! Какие у вас могут быть претензии, это у нас к вам они могут быть!

Барак смеется! Все знают, что он за птица, и никто его не жалует и нет ему места на земле, как Каину, убившему брата своего.

Мы их лечили, формально делая все нужное и необходимое, долго не держали, как многих, сострадая, спасая, поддерживая.

С общехристианских позиций — это неверно, это даже грешно. В свое оправдание могу сказать, что я не мстил, не делал заведомо обдуманых пакостей, больше того, у меня не было зла в душе против всей этой Каинской братии, я делал им то, что положено и не больше того.

Вернемся обратно в тот барак, в котором Коленька мерит температуру, доктор Белевцев делает обход, а я записываю на скобленной фанерке все его назначения. Людмила Фоминишна, она же «мать игуменья», выяснив, что никаких тяжких грехов за мной не водится, оставила благосклонно меня работать под сенью своих крыл. Крылья у нее были мощные, как и вся сама. Она, с одной стороны, была «жандарм в юбке», с другой — справедливой и не взбалмошной бабой. Она понимала юмор, но защищала и не давала в обиду тех, кого она уважала. Она была всего-навсего фельдшерницей и прислушивалась к мнению врачей, в особенности, к мнению доктора Агаси Назарыча Мазманьяна, весьма незаурядного, молоденького врача «дашнака». Его девизом была одна восточная мудрость: «Если ты не в силах отрубить руку врага, целуй ее пока!» Думаю, что Людмилины ручки он где-то тайно целовал, так как она ему покорялась.

С Агаси я начал работать, как только Людмила отправила etapом в другую зону старика Белевцева. Начальство установило, что мы с Коленькой однодельцы, а по их «гуманным законам» однодельцы не могут сидеть вместе, так что Коленька тоже уплыл в четвертый ОЛП.

Агаси принял больницу, сперва мы были вдвоем, а потом появился Юрка Голомб, поляк, он был назначен дневным фельдшером, я — ночным. Спустя много времени, мне в смену пришел литовец Ионос Жимайтис. Тогда я стал дежурить ночь через ночь. Так оно легче. Кроме Агаси старшего был доктор Якштас. Вот в таком составе и порядке мы в течение трех лет и работали.

То, что я смотался с Воркутлага, было явно неплохо. Во-первых, я южнее Воркуты, я почти у полярного круга. Из зоны видны хребты Полярного Урала, широкая река Уса течет вдалеке, — все это радует глаз.

Во-вторых, я не в Воркутлаге, а в Интлаге, а Инта — еще южнее. Абезь — это свалка вторсырья и хоть режимная, но Богом забытая. Ни шахт, ни лесоповала. Масса пожилых калек, много и молодежи, воря хватает, его везде навалом, копошатся себе за зонной, что-то строят, да могильные траншеи копают, что-то плетут, что-то вяжут, в общем жизнь инвалидная. В КВЧ, культурно-воспитательной части, хоры поют. Забавно. Стоят в полукруге бендеровцы, перед ними хормейстер. «Тигаа-тигага!» — камертончик в руках, тон к уху пробует.

— Начнем-таки с «Вечернего звона», — и запели бендеровцы, украинские националисты, русскую народную песнь. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Бом, бом! Дум действительно много. Первая у всех одна: «Как бы выжить!» Бом, бом! «Как бы пожрать!» Бом, бом! «Как бы письмецо лишнее послать!» Бом, бом! Как, как и снова как??? А бедный художник Маргулис с утра и до позднего вечера и так изо дня в день шмаляет для начальства «три богатыря», «медведей в лесу» и «детей, бегущих от грозы», что говорит об изысканном вкусе живущих, охраняющих, стерегущих и шмонающих! А вечером по центральной улице гуляют евреи, ковьяляют в чунях, руками машут:

— Вы слышали, космополитов гребут лопатой.

А там гребли и гребли в эти послевоенные годы, желая возместить, пополнить и умножить рабский труд. Приходили новые этапы с отработанным, выжитым вторсырьем. Их держали на свалке, как падаль, еле-еле дышашую. А она, как на зло, не дохла в том количестве, запланированном там сверху, в органах. Лагерные врачи прилагали свои силы, опыт и знания, чтобы выжил человек. Часто не было медикаментов, многим высылали посылками. В ординаторской иногда шаром покати — пусто.

Однажды вбегает Вавро:

— Пан, пан, человеку плохо.

Бегу. Сердечный приступ, пульс мерцает и, как ниточка, вьется. Лекарств — ни грамма, ничего, пусто, чем помочь?



– Вавро, ноги в горячую воду.

Синеет человек, дыхания нет.

– Потерпи капельку, я тебе лекарство специально припрятал, как выпьешь, все как рукой снимет.

Пока Вавро опускал ему ноги в ведро, прибежал я в ординаторскую и давай пустые бутылочки полоскать, чтобы хоть чем-то пахло, да вкус был; наполоскал, налил в стаканчик и несу, торжественно, как чашу.

– Сейчас у тебя все пройдет, и ты спокойно заснешь. Пей, это очень сильное средство.

Пьет до дна, а в глазах вера и надежда.

– Ну вот и все, сейчас все пройдет.

Держу пальцы на пульсе, а он тук, тук и в норму приходит, хотя и с переборами, но все не то, что было.

– Давай, я тебя положу повыше, ты и заснешь.

Положил. Пульс лучше, больной успокоился, больной уснул. Отошла смерть, надолго ль? А сколько было заворотов. Получит человек посылку, девать некуда, в бараке сопрут, вот он ее и уминает, трамбует в брюхе, а оно у него тощее, отвыкшее, ночью тащат в одеяле – заворот кишок. Сифонишь ведрами, пока газ не пойдет, а газу этому радуешься, как песне соловья. Раскрутил!

Ночная смена – это неотложка, это пункт первой помощи. Чего только тебе за ночь не приволокут из барачков! И кровотечения, и завороты, вывихи, приступы печеночные, сердечные, у того камень в мочеточнике застрял, у другого понос свистит. Вою ночь напролет шприцы кипят, а иногда и в амбулаторию бежишь за запасными.

Так один раз прибежал я за шприцами в амбулаторию, а санитар тем временем полы драил в приемной. Бегу не разбираясь, где мыто, где не мыто, человек умирает. Слышу мне в спину санитар:

– Ишь, разбежался, жид пархатый!

В одно мгновение я поставил шприцы на лавку и, спокойно подойдя к нему, вроде я и не слышал слов его, беру у него из рук швабру, он отдает. А я ему этой шваброй вдоль хребта раза два и протянул, молча взял шприцы с лавки и ушел. Утром сдал дежурство, гляжу, тот санитар у кабинета Людмилы стоит и ее дожидается.

– Жди! – думаю, – жди!

Дело в том, что Людмила терпеть не могла антисемитизма, и я это знал. И вообще, надо отдать ей должное, человеком она была несклочным. Однажды шла Людмила по зоне, а сзади нее молодые парни обсуждали довольно громко ее достоинства, да как бы хорошо было ее... Людмила подошла к ним и надавала по ромам с размаху, и все молча. Она могла бы посадить их в БУР, в изолятор, ее власть! Но она сама за себя постояла и на помощь никого не призвала, и за это ее уважали.

Так вот, только я глаза закрыл, бежит санитар:

– Иди, тебя начальница вызывает.

Вхожу. Стоит тот санитар, а Людмила начинает на меня орать:

– Кто вам дал право рукоприкладством заниматься, я вам покажу, я вам дам!

– Гражданин начальник, разрешите сказать!

– Говорите!

Я объясняю ей, по каким срочным обстоятельствам я вынужден был бегать за шприцами.

– А этот санитар вслед мне сказал: «Разбегался тут, жид пархатый». Когда в зоне оскорбили Вашу честь, обсуждая Вас, Вы не потащили их на вахту, не посадили в БУР, Вы надавали им оплеух, и Вас за это все уважают. Он оскорбил нацию, и я счел себя вправе поступить так же, как Вы поступили.

– Он обозвал Вас жидом?

– Да!

– Вон отсюда, – заорала она на санитаря, – я вам покажу жид! Вон!

Санитар, поджавши хвост, выкатился.

– Вы свободны, но в другой раз...

– В другой раз я сделаю то же самое.

Юрка Голомб хорошим был парнем, но с гонором. Одно было плохо – он постоянно подсовывал мне битые градусники. Принимаю от него дежурство – хватать, а там два, три битых. Градусники – дефицит. Наутро он, принимая у меня дежурство, всегда лез проверять и сваливал на меня все им же битые градусники. И мне это надоело.

Однажды я не выдержал, «сошел с нареза» и схватился с ним драться, в чем оказался более тренирован и насажал ему синяков.

В самый разгар потасовки дверь открыл доктор Якштас, но, увидя мелькающие кулаки, он прикрыл дверь и дал нам до конца выяснять отношения. Якштас поднастучал начальнице о потасовке; та, видя Юркину физиономию в синяках, плутовато спросила: «Что с Вами, Голомб?».

— На дверь налетел в потемках, гражданин начальник.

— Ходить надо осторожней, Голомб, примочку сделайте.

Этот маленький эпизод не сделал нас врагами, а наоборот, сблизил. Он понял, что со мной шутки плохи. Я — что он человек благородный, хотя и подсовывал мне битые градусники.

Мне бы не хотелось, чтобы у читателя сложилось ложное впечатление, что моя лагерная жизнь текла тихо, мирно и безмятежно, что я только тем и жил, что спасал людей.

Лагерь — это кипящий котел всех человеческих страстей, обнаженных до предела. То, что там, на свободе, живет и действует в человеке подспудно, прикрываясь маской приличия, в лагере обнажается в своей красоте или уродстве. Я не был исключением, я был частью этого котла. По своей натуре я не мог оставаться в стороне или быть в нейтралитете. Будучи быстрым на решения, я всегда был в гуще событий и остро реагировал, часто пуская в ход кулаки. Мой лагерный лексикон был далек от «будьте добры, скажите, пожалуйста». Он резко менялся от того, с кем я разговаривал, и от ситуации, в которой я находился, поэтому меня многие побаивались, а стукачи старались меня не задевать. С блатными и суками я говорил их языком, поэтому меня не трогали ни те, ни другие. Я никогда никому не мстил, но держал себя так, что все знали — в случае надобности реакция последует немедленно.

Лагерь — не только кипящий котел страстей, в котором каждый как может и как умеет борется за свою жизнь, лагерь — это кузница, в которой куется и закаляется человеческий дух, если он способен на это. Лагерь — это чистилище, в котором человеческая душа или гибнет, или возвышается. Лагерь — это сито, просеивающее и отделяющее добро от зла. Многие смотрят на меня с удивлением и недоверием, когда я уверяю, что лично для меня лагерь был необходим, что для себя я его расцениваю не только как наказание за содеянные мною грехи, но и как школу, суровую школу жизни, в которой происходит переоценка ценностей и выковывается

отношение к людям, к жизни в целом. Котел кипел, молот ковал, бушевали страсти, текла река жизни, для одного обрываясь, другому давая возможность продолжать свой начатый путь до положенного предела.

Пути Божии неисповедимы, они скрыты от нас, но только стоит им довериться, как человек начинает видеть смысл в явно кажущейся бессмыслице. Тогда в жизни человека становится все нужно и все полезно. Как для урожая необходимы и зной, и холод, и зима, и лето, так для человеческой души необходимо чередование счастья и горя, радости и печали, падения и вставания. Стоит только человеку понять эту необходимость, он перестает метаться, роптать, ненавидеть, презирать, мстить и завидовать. Человек начинает принимать все даваемое ему, как из рук Божьих, доверяясь Им и целуя Их! Тогда наступает МИР! Мир человека с Богом и с людьми! Вот за что я благодарю ту суровую школу жизни и ту наковальню, и тот молот, без них я не смог бы понять главного смысла жизни.

Это далеко не значит, что в горниле пройденных мною испытаний я очистился и стал бесстрастным, или достиг какой-то высоты духа, нет, к сожалению, не достиг, но я понял основное направление, по которому необходимо двигаться, падая и вставая, но двигаться до последнего вздоха!

Возвращаясь назад в Абезь, в тот кипящий котел, для более полной иллюстрации своего кипения в нем расскажу об одном эпизоде. Я уже упоминал выше, что со временем нам подкинули третьего фельдшера литовца Жимайтиса Ионоса, как мы все его звали Ёнас — дронас. Это был молоденький маменькин сынок, в очках и с круглой рожицей, отъявленный националист, как все литовцы в лагере, что делало бы им честь, кабы они не презирали всех русских без разбора, а тем более сидящих так же, как и они сами. Парнишка он был не плохой, но его манера защищать своих и оговаривать «чужих» мне крайне не нравилась и где-то задевала меня. В зоне среди зеков был пацан лет шестнадцати, «бендеровец», часто попадавший к нам в стационар. Я его просто-напросто жалел и всячески старался подержать его подольше, а такая возможность у нас всегда была. Кровь на анализ у одного, мочу у другого, под фамилией третьего, вот и картина болезни налицо и не

придерешься. Мы все это делали, делали и врачи, никто это и не скрывал друг от друга. И Ёнас – дронас знал, что я даю пацану возможность «покантоваться», используя его в помощь санитарам или на раздатке, на мытье посуды и на разных вспомогательных работах. Он же начал распространять промеж своих, что я имею некие виды на пацана и держу его ради и для чего-то того...

Мне было на это наплевать с высокой колокольни, но за это можно было получить новый срок, стоит только подобному слуш-ку дойти до ушей «кума». Я один раз предупредил Ёноса, предупредил еще и еще, он же еще активней трепал языком. В конце концов я взбесился и решил, что я его заколю, как собаку, и в сугроб до весны. Достав большой хлебoreзный нож, я подждал его там, откуда он должен был выйти. Была полярная ночь, пурга, ни зги не видно. Отворилась дверь, прикрыв меня, его спина передо мной. Рука занесена с тем, чтобы удар пришелся под лопатку. Но ударить я не смог, что-то или кто-то ее физически удержал, именно физически, я почувствовал эту силу, хотя вокруг не было ни души. Тогда, а все это в малые мгновения происходило, я левой рукой беру его за плечо, поворачиваю к себе и говорю:

– Я тебя несколько раз предупреждал, ты не унимался, как ты не понимаешь, что твоя трепотня грозит мне новым сроком? Вот нож, видишь? Если бы какая-то сила не удержала мою руку, лежать бы тебе до весны в этих сугробах, а я бы в это время ушел на этап, и концы в воду. Запомни, пусть это тебе будет наукой, у тебя лагерная дорога только начинается, а у меня идет к концу.

Ёнос стоял бледный, как смерть, я, наверно, не менее. Нас обоих колотил внутренний озноб. Мы молча разошлись. Я благодарил Бога, удержавшего меня и мою руку от убийства. Вот, что такое лагерь, и не всегда ты спасаешь, но и тебя в этом кромешном аду спасают чьи-то неведомые руки.

Время неумолимо шло. Я разменял последний год.

Долгое отсутствие Вариных писем волновало меня. Не было и посылок от нее. Они мне были дороги не как дополнительное питание, а как мостик, переброшенный между нами. Я продолжал писать. В своих письмах я всегда предупреждал ее, что если она свяжет свою судьбу с моей, то ей необходимо приобретать разные специальности, т.к. нас вряд ли ждет безоблачная жизнь, что

Москвы мне не видать, как собственных ушей, в лучшем случае — глухая провинция. Судя по ее прошлым письмам, ее это не пугало, и она на все была готова.

И вот письма прекратились, связь прервана. Но тюрьма и лагерь — великая школа терпения и те, кто ее окончил, научились этой премудрости.

В одно из моих ночных дежурств в зону пришел большой этап. Меня вызвали в барак осмотреть больных и в случае надобности госпитализировать наиболее тяжелых, что я и сделал. Выслушав жалобы, измерив температуру, померив давление, я забрал с собой некоторых, остальных оставил до утра, до осмотра их врачом. Я сидел в ординаторской и на каждого вновь прибывшего заполнял историю болезни, вызывая их по очереди. Сидит передо мной небольшого роста человек, венгр по национальности, я пишу с его слов все, что требуется. Вижу я, что он внимательно смотрит на меня, как бы разглядывая меня и изучая. Я спросил его:

— Чего ты так на меня смотришь?

А он мне в ответ и говорит:

— Вы совсем не медработник.

— А кто же?

— Вы — человек искусства, и к медицине вас привела необходимость.

— Откуда ты все это знаешь?

— Да по вашему лицу, по рукам, по глазам. Я вам могу и больше сказать.

— Говори, коль можешь.

— Сперва вы ответьте мне, я правильно определил вас?

— Да.

Была глубокая ночь, все, мною госпитализированные, получили свое и спали. Венгр неторопливо стал рассказывать мне мою жизнь. Он рассказал мне про Варю, не называя ее имени, описал наши отношения и добавил:

— Уже несколько месяцев, как ты ее потерял, ты ее отыщешь через шесть месяцев после освобождения. Твоя дальнейшая жизнь до гроба будет рядом с ней. В пятидесятилетнем возрасте ты заболеешь и возможно умрешь, если нет, то будешь жить до семидесяти восьми лет. Вся твоя жизнь будет протекать в искусстве и очень

разнообразно. У тебя будет вилла на юге, которая принесет тебе много радости и счастья, но и разочарования тоже. Тебе предстоят еще многие испытания и, чтобы их пройти, живи по принципу: где положили, там и ложись, где посадили, там и сиди. Короче говоря, не рыпайся — это мой вывод из его совета, чему я и стал придерживаться и не только в лагере. Надо сказать, что это очень облегчает мне жизнь и делает ее малоуязвимой.

Потом он внимательно рассматривал линии моих рук и по ним определил, что сердце мое преобладает над умом, что есть во мне некая страсть, от которой я страдаю и буду страдать всю жизнь, и преодолеть ее не смогу до конца, а то, что я увидел детскими глазами, будет вечно влечь меня и манить. Много он мне говорил в эту ночь, всего и не припомнить. Он мне сказал, что я скоро уйду этапом на юг. По-лагерному югом называет все, что южнее, пусть это будет недалеко, как в тот раз Воркута — Абезь, но все же южнее.

...Чудным летним вечером сижу я на террасе, утопающей в цветущей сирени. Я и мой приятель Витя «милый» потягиваем из рюмочек водочку и вспоминаем былое. За столом его жена, Машенька Некрасова, та самая, в которую я был тайно влюблен во дни своей юности. Шел тихий и задушевный разговор о былом, о прожитом и пережитом. В памяти всплывали картины и страшные, и смешные пройденного мною пути. Я рассказывал, они, затая дыхание, слушали. Машенька принесла испеченный ею сладкий пирог, густо посыпанный сахарной пудрой, Гришка, ее сын, шустрый на проказы, вывалял свою физиономию о пирог и собрал на нее всю пудру.

— А не слышал ли ты, Алеша, не встречал ли ты там в лагерях Басова Николая?

— Да он умер на моих руках, — ответил я Пανε Алексеевне, матери Виктора, на ее вопрос и рассказал.

Зимним вечером после поверки барак ложился спать, люди залезали на свои нары и укладывались, прикрываясь бушлатами. Из репродуктора, висящего на столбе, тихо лилась музыка, передавали оперу «Демон». В бараке погасили свет, оставив контрольную лампочку. В полумраке, не раздеваясь, прислонившись спиной к столбу, сложив руки на груди, стоял с закрытыми глазами и лицом

полным печали Басов. Тихая музыка унесла его в далекий мир прошлых лет, я долго не мог заснуть, так как и меня она будоражила, рождая образы призрачные и далекие. Так я и заснул. Среди ночи расталкивает меня дневальный и шепчет: «Басов умирает». Я мигом вскочил, засунул ноги в обувь и нагнулся над его нарами, он хрипел. Бежать в санчасть за носилками опасно, дорога каждая минута. С дневальным и еще с другими ребятами мы приподняли щит, на котором он лежал, и потащили в стационар, я сходу разбудил Агаси и все мы безнадежно старались вернуть ему жизнь: ни искусственное дыхание, ни укол в сердце, ничего не спасло — Басов умер. Мы все любили его за его тихий и мирный нрав, за безупречную порядочность и в большом, и в малом.

Через много времени встретил меня наш почтарь и говорит:

— Посмотри, тут пришла Басову открытка, прочитай и что с ней делать? В открытке тревога: «Что с тобой, почему нет писем, жив ли ты?»

— Слушай, а можешь ты отправить открытку обратно с надписью «адресат выбыл»?

— Могу.

— И она дойдет? Может лучше через вольняшек?

— А что ты хочешь?

Я взял открытку и жирно подчеркнул слова «не знаю, ЧТО и думать, жив ли ты»? Если открытка дойдет, то они поймут, что он умер, по подчеркнутым словам.

Как тесен мир, и как он и мы все связаны в нем невидимыми нитями и нельзя ни одну из них оборвать или ею пренебречь. Умирали, болели, поправлялись, выживали для того, чтобы где-то умереть. Только в невероятных, нечеловеческих условиях лагерных дорог видишь скрытые жизненные силы, заложенные в человеке. Видишь, как они мобилизуются, вступают в роковой бой и часто побеждают. Если уверяют, что любовь сильнее смерти, то я бы сказал, жажда свободы сильнее! На воле сидел человек на строжайшей диете, кушал все протертое: того нельзя, этого ни в коем случае. Попадает такой человек в тюрьму, в лагерь, на баланду из гнилой картошки, на сплошную соль в этапах, кажется конец, смерть неминуема, а он хоть бы хны.

В стационарах часто не было элементарных лекарств. Вместо



необходимой глюкозы кололи физиологический, говоря, что ко-лем глюкозу, и одна вера больного прекращала приступ, человек засыпал спокойно, приняв таблетку фитина, будучи уверенным, что я ему даю люминал.

**ДОЖИТЬ, ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО – ДОЖИТЬ!** Тот, кто целеустремлен и утвердил себя в этом, тот дойдет, **ДОЖИВЕТ!** Этим он мобилизует скрытые силы, заложенные в каждом. Стоит опустить крылья, пасть духом, ты погиб! Выживали сильные духом, а если и умирали, то достойно, принимая смерть, как жизнь вечную. Будучи свидетелем многих разных смертей, я видел как покорно, с каким всепрощеньем, с каким миром, с какой надеждой покидала измученное тело несломленная душа. Душа человека, смысл жизни которого была не эта жизнь, а вечная.

Видел я и таких, для которых эта жизнь была одной единственной, и поэтому душа его не имела крыльев и вместе с телом билась в предсмертных судорогах, цепляясь за мгновения жизни, проклиная все и всех! Вот уж поистине: «Смерть грешника люта!»

Если бы не тюрьма, не лагерь, то я бы не видел всего того, что видел, не пережил всего того, что пережил и не понял бы многого. И пусть никто не удивится и никому не покажется странным, что я благодарю Бога, давшего все видеть и понять!

**БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, ЗА ВСЕ!**

Вот почему, слушая акафист отца Григория, я плакал слезами благодарности. Кто-то поймет, а кто-то посмеется – мне это не важно.

...В ординаторской на топчане лежит человек с сильным желудочным кровотечением, я и Агаси возимся над ним.

Хлористый кальций, лед, послали за Людмилой, необходимо срочно этапировать на первый в хирургическое отделение. Пока положили на койку, из барака принесли его вещи, лагерные пожитки. Больной – западник, над ним склонился земляк.

– Прощай, пан Федько, умираю, домой напиши, что я сгинул.

Пан Федько с огромным животом от водянки стоит и качает головой, его большие карие глаза наполнены влагой.

– Возьми себе, пан, свитер.

Пан Федько вынимает из мешка завещанное.

– Возьми, пан, и исподники.

Пан достает и показывает пану Юрке завешанное.

— Возьми себе, пан Федыко, порты и носки, и усе бери. Умираю! Домой отпиши, что сгинул.

Проходит много времени, кровь остановилась, бледность лица сошла, смерть отступила. Приходит конвой. Пан Юрка все старается натянуть на себя. Пан Федыко придерживает в руках свитер.

— Свитер давай, свитер! Холодно, пан Федыко, холодно.

Пан нехотя и с тревогой в глазах подает свитер.

— Порты давай, порты! Холодно, пан, холодно!

Берет из рук удрученного пана Федыко и одевает поверх других, так и все остальное.

Пан Федыко жалобно смотрит в спину уходящего пана Юрко, увидев на постели веревочку, украдкой берет ее. В это время пан Юрко оборачивается и видит, как пан Федыко взял веревочку.

— Шнурку давай, шнурку!

Вот тебе и жизненные силы появились, и все стало нужным! Даже шнурка!

Прихожу я на вербной утром в барак после смены и гляжу: Наумчик Мигдолович, чудесный, добрейший и горбатенький, жрет сало, уплетая за обе щеки.

— Что ты делаешь, Наумчик, в еврейскую пасху сало жрешь?

— Да это нам Моисей запретил от черной свиньи сало есть, а от белой можно, попробуй, какое вкусное.

Сало было шикарное.

Я тут упомянул о Наумчике, потому что мы дальше с ним еще встретимся. Встретимся и с Яшкой Литке, парнишкой, с которым я дружил в зоне. Он работал регистратором у нас в амбулатории. Он из немцев Поволжья. Встретимся и с Яшкой Хромченко, студентом ВГИКа, и с Гариком Рэмини. Все мы были в одной зоне, и каждый помогал друг другу чем мог. Иначе в лагере не проживешь, ибо есть одна лагерная мудрость: «Сам живешь и другому дай!»

Чем ближе к освобождению, тем медленнее тянется время. Стоит только разменять последний год, как время будто останавливается, будто топчется на одном месте. Когда счет ведешь годами, то и сама жизнь течет вне времени, крутится в колесе, в каком-то бесконечном, бескрайнем безнадеежии. Все твои мысли и весь ты сосредоточены в единственном сегодняшнем дне, вчерашний,

словно не жил, завтрашний — а будет ли он? И вот ты дожил, дошел, дополз и разменял последний год, и теперь ты превращаешься в часовой механизм, в шестеренки, в колесики, в маятник и стрелки, а они словно стоят и не движутся. Месяц кажется годом, неделя — месяцем. Несмотря на кажущуюся замедленность течения времени, оно движется, и душа твоя ощущает радость грядущей свободы, ты с наслаждением зачеркиваешь день за днем, неделю за неделей. Ты начинаешь интересоваться тем, что раньше не интересовало, ты начинаешь прислушиваться к тому, что пропускал мимо ушей. Слухи! Слухи! Они волнуют сердце, будоражат мысли. Сколько же этих слухов, и все разные, непохожие, противоречивые: кто говорит, что освобождают на вечную ссылку, кто — инвалиды едут домой, кто — продлевают сроки. Из всех самых фантастических слухов логичными и более достоверными мне казались слухи о том, что инвалидов выпускают на свободу по домам. Я рассуждал, что если на вечную ссылку освобождают трудоспособных, то нетрудоспособных логично отпустить по домам, в ссылке им делать нечего, ведь они сами себя не прокормят. Для себя я остановился на этих слухах, правда, ничем не подтвержденных.

За полгода до освобождения всех «комиссуют». Трудоспособным дается категория, инвалидам подтверждают инвалидность. Мне до решающей комиссовки еще долго. Но сохранилась ли в моем деле та единственная бумажка, добытая мною на Воркуте? Стоило бы запастись заранее новой.

На первом лагпункте был глазной врач. Жалуясь на глаза, я стал просить Людмилу направить меня туда. Людмила обещала, и вскоре я ушел на первый и лег в глазную палату. Там я резко понизил зрение в той степени, чтобы обеспечить себе инвалидность на основной комиссовке. Доктор — зек, я тоже, тем более фельдшер, болезнь налицо. Полежав в глазной палате недели две, обновив «козырную карту», я вернулся к себе в зону.

Было лето 1951 года. Белые ночи! Они не белые, они светлые, мерцающе прозрачные. Все напоено, все колышется и светится непонятно откуда рождающимся светом. Вдали, на горизонте, снежные вершины полярного Урала, словно готические соборы, упираются в распахнутое небо, уходя в него сверкающими пиками. Огромное, бескрайнее небо беспредельной глубины и высоты

напоминает сказочный витраж, собранный из всех цветов радуги. И во всем этом торжестве света немая тишина, а в ней грусть и печаль. Идут дни, проходят ночи, меняет небо свои витражи, клонится солнце ближе к горизонту. Вот оно и окунулась за него в красном багрянце, расплескав свой кровавый закат над вселенной. Над головой холодное небо, а в нем звезды, такие же холодные и далекие.

Те, кому подходит срок освобождения, пройдя комиссовку, уходят этапом на пересылку. Пришла и моя очередь. Я в кабинете Людмилы. Агаси давно ушел этапом, вместо него доктор Якштас. Я много с ним работал, но дружбы не возникло, теплоты отношений тоже. Но, по моему убеждению, у меня были все данные и основания на благополучную комиссовку даже без Агаси. Я положил свою «kozyрную карту» на стол в полной уверенности, что...

Но стоило мне ее кинуть, как Якштас ее побил. Непонятно, для чего и зачем.

— Какой же ты слепой? — заявил он. — Слепые так ловко не колют в еле заметную вену. Слепые не читают сходу, не видят ртуть в термометре. Ты же все это делаешь без промаха.

Людмила явно встала в тупик. Если заключенный врач валит своего, то не ей защищать, даже если бы она и хотела. Я знал, что Людмила хорошо ко мне относилась, она ценила меня как работника и понимала, что я не так слеп, как хочу быть на решающей комиссовке. Но еще она знала то, чего никто не знал. Она знала, что инвалидов вообще не освобождают, что все они годами переживают на пересылке, и положение их безнадежное. Но, зная это, она не могла сказать. Я, не зная этого, лез в петлю. Якштас, ничего не зная, по непонятным мне мотивам побил мою «kozyрную». Людмила нашла «соломоново» решение: надо вызвать специалиста из Инты. Пусть он и решает. Спустя некоторое время в зону приехала из Инты доктор Бирман. Для обследования нужна темная комната, в которой я остался с глазу на глаз с доктором Бирман и пошел ва-банк!

— Доктор, у меня такая болезнь, что я могу по ней быть совсем слепым. Вы это сами сейчас увидите, но я вижу, и в это чудо не в состоянии поверить все специалисты, которые меня смотрели. В лагере я получил сходу инвалидность, так как на осмотре был слеп.

Все шесть лет в лагере я работал фельдшером, потому что вижу достаточно, чтобы работать. Сейчас мне нужна инвалидность, так как инвалидов отпускают домой!

Выслушав мой откровенный рассказ, она сказала одну единственную фразу:

— Так ли?

Смысла ее я тогда не понял, а более внятно врач не имела право сказать. Посмотрев мое глазное дно, мою «милость Божию», доктор, желая снять слепоту моего заблуждения о том, что инвалиды едут домой, вынесла свое «соломоново» решение. Она сказала:

— Вернувшись в Инту, я выпишу на вас наряд к себе в глазное отделение. Обследование можно провести только там, здесь нет аппаратуры, необходимой для этой цели.

Она уехала, и вскоре я пошел этапом на Инту.

По пути на одну ночь нас привели на четвертый лагпункт. Я предвкушал встречу с Коленькой, но меня ожидало разочарование: Коленьку увезли в Москву на какое-то доследование. Обо всем этом рассказал мне его лагерный друг — доктор Ушин, страшно интересный человек, глубоко и искренне верующий, какой-то пламенно-светлый пророк Иезекииль. Там же я познакомился с философом Карсавиным, братом известной балерины, он был уже тяжело болен и вскоре умер.

Снова этап, и наконец мы в Инте. Войдя в зону, я ахнул! Глаза мои открылись! Миф о преимуществе инвалидности для освобождающихся растаял, как утренний туман!

Там, в этом муравейнике, в этом проходном дворе я встретил многих, ушедших на освобождение, про которых мы думали, что они сидят у домашнего очага и о нас забыли, поэтому и не дают о себе знать. А они все безнадежно пересиживали, и, как не пытались перекомиссоваться, чтобы получить хоть самую малую, но «рабочую» группу, им это не удавалось. За зону на вечную ссылку шли трудоспособные. Бедные инвалиды, срок которых давно окончен, торчали за проволокой. Безнадежнее положения трудно придумать. Якштас меня спас! Какими мотивами он руководствовался, не важно. Бог силен зло преложить в добро, и он через Якштаса это сделал.

Я явился к доктору Бирман.

– Приехали? – радушно спросила она. – Много встретили знакомых?

– Много, очень много, доктор, я этого не ожидал.

– Хорошо, идите в санчасть, в стационар к доктору Кирьякову, я с ним говорила о Вас, пока работайте с ним.

Доктор Володя Кирьяков! Обаятельней человека я не встречал. Он принял меня, как принимает любящий брат своего потерянного брата. Сам доктор из Ясс, когда наши «освободили» Молдавию, доктор ушел в Румынию, там его и подхватили и приволокли вот сюда. Спустя много-много лет, когда я поехал в Бухарест к троюродному брату, видному румынскому художнику, в случайном разговоре выяснилось, что доктор – друг его детства и юности. Мир тесен!

Мы оба, ни я, ни доктор этого не знали, но и без того он встретил меня, тут же все рассказал и показал. Двухсекционный огромный барак, палатная система, народу уйма. Барак числится инфекционным, больные всех сортов, в общем, «ассорти». Днем в стационаре работала вольнонаемная сестра Катя, с которой доктор меня тут же познакомил. Предо мной стояла хорошо сложенная молоденькая Катя, как она назвала себя. Она прихрамывала на одну ногу, но хромота эта не портила ее. Ее карие глаза ласково и пристально, изучающе смотрели на меня.

– Он тебе нравится? – спросил доктор.

– Да! – твердо ответила Катя. – А вам?

– Мне? Но я же не женщина, – смеясь, ответил доктор.

– Ну вот что, друзья. Вам работать вместе. Катя и ты, Алеша, будете работать днем, ночной у нас есть, правда, он скоро освобождается. Принимайтесь за дело. Вы можете меж собой разделить палаты как хотите.

Катька, как я ее сходу начал звать, приходила на работу к восьми и уходила в пять. Мы очень быстро договорились, она будет приходить к девяти и уходить в четыре. Все утренние назначения я взял на себя и вечерние тоже.

– А что же мне?

– Смотреть на меня вот так, как ты смотришь.

– Этого мне мало, я бы хотела приходить в семь и уходить...

– В таком случае разделим палаты.

- Нет, будем вместе все делить пополам. Тебе много осталось?
- Пять!
- Это ерунда, они у тебя пройдут в один миг, и я тебе в этом

помогу.

Начались трудовые дни, заполненные привычной работой. Целыми днями мы кололи, вливали, ставили банки и клизмы, раздавали лекарство и промеж всего болтали.

Я через Катьку послал письмо Варе, в надежде получить весточку. В стационаре в отдельной палате лежали сифилитики. В этой сифилисной палате лежал старый матерый вор пахан. С ним у меня сразу не сложились отношения, он отметал все лекарства, приносимые мною. Я молча их забирал и уходил – вот это его больше всего бесило. Его наглый, вызывающий вид не располагал меня к уговорам и упрощениям, а он явно этого ждал. Надоели мне все эти суки, воры и паханы, надоел мне их дерзкий вид и трусливые души.

Принеся как-то лекарство в палату, я всем все раздал, все выпили, а пахан дерзко и вызывающе выплеснул на пол. Я молча пошел к двери.

– Эй ты, падло! – крикнул он мне. – Над твоей головой, видать, топор не висел?

– Висел и не один, – ответил я и вышел.

На следующее утро я вызвал пахана на внутривенное. Приготовил шприц, стал накладывать жгут, вдруг он вскочил, и в руке у него блеснул скальпель, нечаянно оставленный мной на столе. Он бросился на меня, как кошка, мне удалось схватить его руку, а поймав ее, я быстрым движением всего тела второй рукой обхватил его шею. Он попал головой в петлю моей руки, намертво прижатой к груди, захрипел, всеми силами пытаюсь вырваться из мертвой хватки, я перекинул его через спину, и он распластался на полу. Скальпель был у меня в руке.

В это время в ординаторскую вошел доктор.

– Что тут такое? Что произошло?

– Ничего, доктор, я пахану показал один прием, который он не знал. Ну, вставай, вставай! Садись, я сделаю тебе вливание и поди ляг.

Я сделал вливание, и он молча ушел.

– Что тут было?  
– Он решил поугагать меня, бросился со скальпелем на меня, а остальное Вы сами видели.

– Я его немедленно выпишу!

– Оставьте, доктор, пусть лежит.

– Да он тебе не простит, мстить будет, чего доброго, подкараулит.

– Нет, доктор, уважать будет, вот посмотрите. Все они подлые трусы. Много я их видел. Тут самое главное, чтобы Вы не подали виду, что я Вам рассказал. Вы ничего не знаете, а вот если выпишете, то не сам, так других подошлет, и могут тяпнуть. Они своего позора боятся. А тут меж собой, мы сами разберемся. Он думал меня подмять под себя, это у них самое главное. Хотел, чтобы я «шестерил» перед ним.

– Ну, смотри, тебе видней, я ничего не видел и ничего не знаю.

С этого дня пахан переменялся: он пил все лекарства и даже подстригал мою маленькую шевелюрку, которую я стал отращивать под белой шапочкой, делился воспоминаниями.

– А ты, падло, не бздиловатый конь, тертый. Расскажу я тебе, падло, как мальчишкой бежал из здешних мест. Один пахан и вор в побег собрались, тогда еще можно было бежать. Прихватили и меня. Тут на Печоре дело было. Ушли в побег. Тундра, болота. Осень была, сперва ягоды жрали, пока снег не выпал. Идем к Уралу, миную опасные места. Голод мучает и чем дальше, тем острее. Остановились, сил нет. Пахан и говорит: «Жребий кидать надо». «На что? – спросил я». «На кого падет, того и есть будем, иначе всем хана». Кинули! И жребий пал на пахана! Никогда не забуду его глаза, страшные были эти глаза. Жребий есть жребий. Зарезали старика, часть съели, остальное в мешок, так и спаслись. Во как!

Много я наслышался за эти годы, но такое впервые пришлось.

Катка утречком всегда что-нибудь да притащит из дома. То мяса кусок, вареное или жареное, то пирожков напечет и, разложив все, угощает: «Сама пекла, сама жарила, кушай, голубчик мой, кушай». А сама меня своими карими глазами обжигает, а в них омут.

Мне пришло письмо! Московский штемпель, обратного адреса нет, почерк чужой. Волнуется сердце, дрожат руки. Что-то недоброе чует сердце. Распечатал. Читаю. Что? Что? Не может быть!



В руках бумажка ходит ходуном, глаза не видят строку. «Варя замужем. Ваших писем не получает и получать не будет. Прекратите Ваши домогательства, они бесполезны! А. Мельникова».

Много раз я прочитал эти потрясающие строчки. Внутри словно что-то оборвалось и погасло! Я вышел на улицу. Дышать было трудно, горло словно стиснула петля. Полярная ночь обняла меня своим мраком, обжег холодом леденящий ветер. Внутри меня что-то оборвалось, но не оборвались мысли. Это был не нокаут, свалить меня не так-то просто. Чем острее и опасней, тем сильнее и активней сопротивление, тем азартней лезу я в схватку с противостоящими силами, это моя стихия, и в ней я черпаю силы и восторг. ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ! Я не умею отступать там, где есть хоть капля надежды победить, я вступаю в бой.

Мысли собираются в энергию, энергия рождает силу, силу духа, силу воли и силу мышц! Сейчас необходима мобилизация всех этих сил.

На протяжении всех этих тяжких лет наши жизни были связаны в одну жизнь, и я не сомневался в этом ни одной минуты. Варюшкины письма утверждали меня в том. Я много раз просил ее хорошенько все взвесить, не скрывая всей тяжести жизни, нас ожидающей впереди, и на все я получал один ответ: «С тобой мне нигде не страшно!»

Так что же произошло? Испугалась, спасовала или полюбила кого сильнее? Внутренне я отвергал и то, и другое, не исключая третьего. Истомилась, исстрадалась, встретила лучше, ближе и полюбила, решила свою жизнь вот так, как решила. Я могу это понять и принять. Но почему не сказать, почему и для чего скрывать? Этого я не мог понять, т.к. это чуждо моей натуре. Год, как прекратилась связь. Год я продолжал всеми доступными мне средствами давать о себе знать.

«Ваши письма не получает и получать не будет!»

Значит Варя, выйдя замуж, живет не дома. А мои письма получает ее мать, другого вывода я сделать не мог. Но может и еще что-то? Необходимо подтверждение, сомнения теребили душу, необходима ясность. Мне до освобождения осталось несколько месяцев. Я должен знать, как мне строить жизнь в вечной! Если я потерял Варю, что делать?

Я написал короткое письмо Володе Вейсбергу, мы все дружили в студии, и он наверняка все знает. В письме я просил сообщить мне, что с Варей! Письмо послано, Катька опустит его за зоной. Неделю туда, неделю обратно. Круговорот каждого дня жизни, с утра до вечера, требующий от меня отдачи всех сил, выключал тревожащие меня мысли, и только по вечерам они возвращались и неумолимо сверлили мозг.

Каткины глаза смотрели на меня с тревогой. Когда я ловил ее взгляд на себе, то в них я читал скрытую тревогу и вопрос: «Что с тобой?» Я не мог ответить на него, я не ответил на прямой вопрос, неожиданно мне заданный.

— Что с тобой, ты весь, как скрученная пружина. Ты получил недобрые вести?

— Да, не добрые, Катюшка, не добрые!

Я замолчал. Она тяжело вздохнула:

— Я могу тебе помочь?

— Пока нет, время поможет, время все сглаживает и лечит неизлечимое.

По делам бегая по зоне, я неожиданно наткнулся на Коленьку.

— Как ты сюда попал?

— А ты как?

— Я вчера пришел этапом из Москвы, меня и Криволицкого таскали на следствие. А ты что тут делаешь?

Я рассказал ему все подробно и потащил его к себе в стационар.

— Сейчас я тебя госпитализирую, и ты хорошенько вылежишься и придешь в себя.

— Это неплохо, а как ты это сделаешь?

— Это очень просто. Доктор свой. Моча у одного, кровь у другого, мазок у третьего, вот тебе и острый нефрит.

Я пошел к доктору, и в момент Коленька лежал в палате, вымытый, побритый, в чистом белье, на чистой простыне. Я положил его в ту палату, в которой сам спал. Вечерами мы обсуждали все мои напасти и ставили им диагнозы. Коленька был уверен, что Варя, не дождавшись меня, вышла замуж по любви и правильно поступила. Связывать свою судьбу с «каторжанином» — сомнительная затея.

А тем временем, пришла открытка от Володи в несколько строк. «Варька, сволочь, вышла замуж, я с ней не разговариваю. Володя».

— Она совсем не сволочь, — сказал Коленька, прочитав открытку, — на кой хрен, говоря лагерным языком, ты ей нужен, да еще с «пожизненной», сам посуди, на что ты ее толкал. Я думаю, что и ее родители сыграли немаловажную роль, поставь себя на их место.

— На их месте я бы поступил также, я ни ее, ни их не вправе осуждать. Любовь может и оборваться, тем более что мы физически не знали друг друга, а это связывает прочней. Мне тридцать третий идет, ей тридцать, года требуют своего. Может быть, сама жизнь ждет от меня возвращения к Тоне, там же сын? За эти годы многое улеглось, многое стерлось из памяти, многое изменилось во мне самом, на многое выработан иммунитет, многое родилось заново. Скажу тебе откровенно, я не мыслю жизни без семьи. Для меня семья это центр, вокруг которого есть смысл жизни, но для этого необходима любовь, дающая импульс. К Тоне у меня нет ни привязанности, ни любви, а раньше было просто отвращение. Там есть сын, может ли он связать?

— Не знаю, не знаю. И так, и не так, у тебя есть склонность к иллюзиям. Ты мир видишь через себя и оцениваешь его своими ценностями, а они у всех разные. Ты не с каждым можешь сойтись, и не каждый сможет сойтись с тобой. Тебе необходим человек, который не только любил, он и смог бы понять и, мало того, оценить твои душевные качества. Для большинства они не приемлемы, так как ты человек с «вывертами», и эти «выверты» в тебе не каждый сможет принять и полюбить всего тебя таким, каков ты есть. Большинство привыкло к шаблону, чтобы все было, как у всех, тебя же в это прокрустово ложе не воткнешь, а отсюда и все остальное. В тебе нет матерого эгоизма, ты легко берешь и легко отдаешь, ты смотришь на жизнь своими глазами, а глаза у всех разные. Тебе в жизни необходим человек, смотрящий с тобой одинаково или стремящийся смотреть и чувствовать так же, для этого кроме любви должно быть родство душ. Бабы все одинаковы, не в теле дело, важна душа и гармония, без нее — небо в овчинку. Из тебя лаской можно веревки плести, мне ль не знать этого, ты не терпишь наси-

лия в любой форме его проявления, но и не всякую веревку из тебя вить можно, а только ту, которая плетется добрыми, любящими руками, способными на жертвы, во имя той самой гармонии духа! Разочарование неминуемо, если нет гармонии. Фальши быть не может, это как в музыке. Ты и Тоня два разных полюса, мне кажется вы — не совместимы, и это было видно с самого начала. С Варей, по твоим словам, была эта гармония. Невесты все хороши, но жизнь вещь суровая, только прожив ее, можно подводить итог, молодость этого не знает и не берет в расчет, там действуют другие силы, страсть, влечение плоти, это все гармония тела, а не духа, поэтому часто и путают одно с другим, принимая одно за другое, а дальше что? Дальше неминуемое разобщение, если нет и не было главного, связующего в единое целое. «И будут два во плоть едину», — как говорит Христос. Тут подразумевается не смертная наша плоть, а плоть духовная, а для этого не достаточно общей постели и общих идей, тут необходима взаимно действующая сила жертвенной любви. Недаром брак приравнивается к мученичеству. Но, как ты знаешь, мученики на мучения шли с радостью, ибо ими двигала любовь, ради которой они шли на смерть, во имя этой высшей любви. Так же и в браке нет мучения, если есть любовь высшая, не только плотская, которая приходит и уходит, и остается пепел. Вот мне и кажется, что ты не должен сильно огорчаться потерей Вари, кто знает, как бы у вас сложилась жизнь. Одно дело там всякие фанатерии, восторги и воздушные замки, другое — реальная жизнь с таким человеком, как ты. Ты — орешек, который разгрызть трудно. Примитивная бабенка не для тебя. Плоть для тебя имеет огромную притягательную силу, но тебе этого мало, тебе нужна родная душа, которая смогла бы привязать тебя к себе, и если она не может этого сделать, то ты бросишься в поиски и не успокоишься, пока не найдешь! Сразу же найти невозможно, это лотерея! Я знаю, что освободившись, ты попрешь во все тяжкие, не имея точки опоры, потеряв то, на что надеялся. Мне трудно тебе что-либо посоветовать. Жизнь подскажет, Бог поможет. Для тебя сейчас самое главное выйти на свободу, ты не пропадешь. У тебя есть хватка, есть опыт и незаурядная энергия. Только не торопись, не вяжи себя ни с кем, чтобы не обжечься. За зоной бабенок много, держи ухо востро. Вон как на тебя Катя смотрит, того и гляди съест.

– А! Ты заметил?  
– Да она вся дрожит от желания, что ты, не видишь?  
– Я на ней отыграюсь, дай выйти.  
– Отыграться можно, но не связываться, смотри, чтобы не подловила тебя какая!

– А что мне сейчас терять? Я один, за зоной ни души, на Варьке крест, а подловить меня не так легко, только душу отвести и иметь рядом живую душу, теплую, сострадательную и безотказную. На первое время, а там видно будет.

– А ты уверен, что в ссылку на Инту выйдешь, не загнали б куда дальше в тундру?

– Катька говорит, всех тут оставляют и на шахты гонят, прямо с комендатуры по шахтам распределяют. Хошь не хошь, ты туда, а ты сюда. Посмотрим, я об этом пока не думаю, все равно на шахту я не пойду. Может, удастся художником куда-либо воткнуться.

– А в больницу?

– Куда там, я ж лагерный лепила, а там нужен диплом, это тебе не лагерь. Знаешь, куда клизму воткнуть, ну и фельдшер. У меня опыт огромный, всю дорогу словно у Склифосовского проработал, чего только не приходилось делать, а диплома нет и весь опыт твой – до лампочки. Да я работы не боюсь, была бы шея, хомут найдется, меня это не волнует. Устал я от этого лагерного бардака, от людей устал, от этого человеческого муравейника, от горя, от смертей, от сук блатных и всяких сявок. Хочется покоя, хоть примитивного, но своего угла, в который можно залезть и быть самим собой, я уж не говорю о семье, об очаге, ради и для которого есть смысл жить, чтобы в нем царил мир, мой мир, мною созданный, вот этими руками. Истосковался я, Коленька, по всему этому. Я прекрасно понимаю, что не голая баба мне нужна, а душа человеческая, теплая и ласковая, но где ее найти, вот в чем вопрос, а искать надо, иначе гибель. Дело не в том, что я сопьюсь, я этого не боюсь, дело в том, что без любящей души рядом я жить не в силах. Я, по натуре своей, страшно привязчивый, а привязывает меня изначально тело и страсть, и только потом я начинаю видеть дальше и глубже, а там все пусто, окромя влечения плоти, и это похмелье ужасно. Это что-то вроде мухи, попавшей лапками в мед. Вот почему для меня трудна потеря Вари. Там лапки мои в мед не попали.

Любовь росла и развивалась помимо этой липучки. Я пошел на это сознательно, окунуться мне ничего не стоило, и меня даже спросили «почему», и я ответил, что не развязав одного узла, я не имею право завязывать другой; это правда, но правда и то, что я должен был убедиться в ней самой, в ее сущности, в ее душе и качестве этой души. На Тоне я так обжегся, что повторять эксперимент не желал, слишком дорога плата. Все эти шесть лет меня убедили в том, что достоинства ее высоки и бесспорны, ты сам посуди, ждать пять лет «каторжанина», я же ничего от нее не скрывал, наоборот, сгушал краски, рисуя картины, нас с ней ожидающие, и на все ответ был один. Я буду ждать. Это не фанатерии, это не воздушные замки, я их не строил ни для себя, ни для нее. Слишком высока была ставка. Я знал свои силы, я все оценивал и взвешивал. Я не морочил человеку голову. Мне необходима была ее решимость, и она должна была быть добровольной, а движущей силой — любовь. Теперь сам видишь. Я у разбитого корыта, а свобода, пусть на цепи, уже маячит. Я не воздушные замки строил, а дом, а он взял и рухнул и малость меня придавил, не на смерть, но пришиб сильно. Надо начинать все сызнова, от нуля. За зоной ни кола, ни двора, но не в этом дело, нет импульса! Хребет сломался! Кабы не вечная, не пожизненная, срок есть срок, он кончается, можно перекантаться, как я в лагере, а тут навечно, как на наших делах на Лубянке «хранить вечно». Тут мне необходимо жизнь строить и нигде больше. Рассчитывать, что Сталин подойдет и что-то изменится. Он, сука, вечно будет жить, а подойдет и не скажут. Какой-нибудь Геловани вместо него на трибуне стоять будет, а от его имени партия над народом издеваться будет, или, чего доброго, Лаврентий власть схватит. Хрен редьки не слаще. Моя совесть перед Варей чиста, я все до капли ей выкладывал, может, это под конец ее и смутило, стоит ли овчинка выделки, менять шило на мыло. Там Москва, а тут — тундра. А мужик везде один, как и баба, но кабы только в этом было дело. Баб тут навалом. Вот Катька, ее хоть сейчас клади, а на хрен они мне все нужны, так, душу отвести, а дальше-то что? Тут, Коленька, «Во плоть едину» найти трудновато, разве что повезет!

Так беседовали мы с Коленькой в часы досуга или лежа в палате, или в ординаторской, а тем временем я рисовал его, и рисунок

этот висит сейчас передо мной. Глядя на него, я вспоминаю наши беседы на пересылке и мысленно ухожу в глубину времени, и в памяти встает оно ожившим и в чувствах, и в мыслях, словно все это было вчера. Никто из нас в то время не знал и не мог знать, что каждого ожидает впереди. Знал это один Бог и, как ни странно, кое-что пронюхал мой «хиромант», еще там в Абезе. «Ты потерял любимую и найдешь ее через шесть месяцев после освобождения». В те дни я не вспомнил этих слов, а если бы даже и вспомнил, то посмеялся бы над ними. Ищи — свищи!

Время шло, не останавливая свой бег. Коленька, отлежавшись в палате, ушел этапом в Абезь. Рос мой чубчик под белой шапочкой, который тщательно подстригал и холил пахан из сифилисной палаты.

Милый доктор по утрам обходил палаты, а я за ним записывал на фанерной доске назначения: кому, что и по сколько.

Катка гасила свет в ординаторской, чтобы поцеловаться, взволнованной грудью прижимаясь ко мне. Незнание манила, свобода волновала, но не страшила меня, хотелось скорей скинуть, спороть, сжечь проклятый номер и вместо Зэка У-102 стать «ссылным навечно»!

Та же цепь, но подлинней, там хоть свет не надо гасить, там зона, но без проволоки, меченная комендатурой, наподобие собак, мечущих свои владения. Там, быть может, будет своя каморка без глазка и вертухая, без вламывающейся охры, без шмона, без «Навуходоносоров», их ушей и глаз. Правда, этой мерзости везде навалом, и там, и тут, а там, пожалуй, больше, это — глаза и уши системы.

Впереди маячила хоть какая-то, но все же свобода, в сравнении с тем, что есть. Ох и надерусь я в первый же день, за все шесть лет. Это тебе не экстракт крушины, которым меня угощала аптекарша в Абезе, прежде чем позволить опустить письмо в свой «почтовый» ящик. Все, что было — прошло, а впереди все туманно. Я подходил к финишу.

За неделю до него меня забрала к себе доктор Бирман.

— Здравствуй, доктор!

— Здравствуй! Садитесь. Напомните мне, какую Вы просили у меня группу инвалидности, я что-то не припомню?

– ТФТ!

– ТФТ не дам – это шахта. Я Вам даю ЛФТ. Это не инвалидность и не шахта. С ней Вы всегда устроитесь на работу по душе. Вы художник?

– Да, доктор, был.

– Почему был? Сейчас проверим Ваши способности. Прошу Вас нарисовать для меня вот эти схемы. Вы их хорошо видите?

– На ЛФТ, доктор.

– Этого вполне достаточно. Вот и рисуйте.

Я вышел из ее кабинета с рулонами бумаги и всем необходимым, чтобы изобразить глазное дно и все палочки и колбочки.

Только я вышел, как в барак ворвалась ОХРа, один с машинкой для стрижки волос. Хвать меня за шапочку, а под ней чубчик.

Я рванулся в кабинет.

– Доктор, доктор. Вы по моей болезни разрешили носить мне волосы, а они хотят остричь.

Машинка стояла в дверях.

– Оставьте его в покое, я ему разрешила, по болезни, для него это лекарство.

Машинка нервно затикала в руке и выкатилась.

– Спасибо, доктор! Эти шакалы...

– Тсс! Вы еще не на свободе!

Теперь я нагло ходил без шапочки, чубчик рос на воле, до которой мне оставалось несколько дней. Как мучительны эти дни, все напряжено до предела. Освободят или не освободят?

Многим в день освобождения вместо свободы давали расписаться в новом сроке без суда и следствия.

Не ждет ли меня такая участь? Освободят или добавят? Мысль жгла, мысль била, как ножом под лопатку. Только движение, туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно, как маятник, успокаивало и рождало молитву, как крик, как вопль. Туда и обратно! Туда и обратно! Господи, мой Господи! Неужели мне этого мало? Неужели, Господи, нужно еще и еще? Хватит, Господи, хватит, я очень устал! Господи, Мой Господи! Помоги мне, помоги! Я больше не в силах, Господи, дай отдохнуть! Выпусти меня, выпусти! Может Ты хочешь, Господи, чтобы я вернулся к Тоне? Может, Ты ради этого отнял у меня все? Ты ждешь от меня этого? В душе моей



к ней нет вражды, но нет и привязанности! Может ради сына, Ты ждешь от меня этого? Я готов, Господи, готов, если это необходимо! Ты один все видишь и знаешь, и только Ты видишь сердце мое во всех глубинах его порока и покаяния. Помогите! Помогите! Если можно, если нужно!

Так, от стенки до стенки ходил я в то утро 16 мая 1952 года. Напряжение с каждой минутой все росло и росло! Черный, фанерный лагерный чемодан стоял в стороне. На нем бушлат с номером, все ждало, когда придут, когда скажут и поведут.

Куда? Что скажут? На освобождение! Или быть может... как многих? Часы остановились! Нет, нет, движется время! И снова остановилось! Всю ночь я не сомкнул глаз, все просил и просил МИЛОСЕРДИЯ! Глаза смотрят на дорогу, в барак неотступно, в упор. Все тело – сердце! Оно трепещет в каждой клетке.

Идет! Идет!

С чем?

Свобода или новый срок?

Поднимается на ступеньки! Свобода или по новой?

Отворяется дверь, сердце бьется в горле!

– Арцыбушев?

– Да!

– На освобождение!

Отступило сердце, разжались тиски, ослабли ноги. Не слыша ничего, не замечая стоящих вокруг, как в полусне, одеваю бушлат. Нет мыслей, нет чувств, нет и радости. Не то сон, не то бред! Протягиваю руки, кого-то обнимаю, почему-то слезы на глазах, а в горле ком. Счастливо тебе, счастливо!

– И вам, и вам! Дожить и выйти! Дожить! Дожить!..

Дверь захлопнулась. Толпа на вахте. Черные силуэты на майском снегу. Черные чемоданы у ног. В стороне скорбные лица, грустные глаза. Нет в сердце радости, не освобождение, а похороны, больно смотреть, словно в чем-то виновен, словно в чем-то не прав!

Переключка! Я...Я...Я... Ни статьи, ни срока, ни номера!

На вахте последний шмон! Шарят руки, ищут руки, шмонают, трясут!

Выпускают по одному, смотря на особые приметы, изучая их на прощание. Вижу в руке свой формуляр. Наискось написано.

«Дерзок, скользок на ноги!» Это предупреждение конвою на этапах: «Осторожно, может бежать!»

Вахта позади. Там за проволокой в два ряда черные силуэты, несчастные силуэты бедных инвалидов, безысходная судьба. И мне бы неминуемо быть среди них и так провожать уходящих!

**МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ, МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ!** Открыли мне двери, открыли!

Крытая машина без «кекса к чаю». Кидают черные чемоданы, лезут без окрика, нет автоматов, нет и собак. Лейтенант с папками вместо них. Тронулись, двинулась машина, набирая скорость, понеслась!

Кругом, вдали и близко, как огромные братские могилы, черные отвалы Интинских шахт, они тлеют и горят, как вечный огонь, как вечная память умершим по всем лагерям. Гудят паровозы, идут эшелоны с углем, дымятся трубы серых жилищ, снега, снега и тундра, и мелкий чахлый лес!

Тут мне жить не год, не два, а вечно.

Неужели вечно и неизбежно его зло?

Машина остановилась. Вылезай!

Бревенчатое, серое, дачное с вывеской **КОМЕНДАТУРА**, а над ним во весь фасад, на красном кумаче, аршинными буквами начертано:

**СПАСИБО СТАЛИНУ ЗА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!**

Из одной вышел, в другую входил, по деревянным скользким ступенькам. Комната. Портрет усатого. Три закрытых окошечка, как в кассу. Ни лавок, ни стульев. Сели на чемоданы. Сидим, ждем. Мутант смотрит со стены, а на другой, я только что заметил, вездесущий «призрак» коммунизма. Рыцарь революции, железный, негнибаемый Феликс. Он смотрит на меня тем же пронзительным взглядом, сверля кишки, и словно говорит: «Я не забыл тебя, я все помню, я все храню вечно, и ты тут у меня навечно. Ты, я знаю, скользок на ноги и нагл, и дерзок, поэтому ты сейчас распишешься мне, что я посажу тебя на двадцать лет каторжных работ, если ты посмеешь бежать или выйти за обозначенную мной черту».

— Распишитесь, — сказал комендант, — что вы предупреждены.

Я расписался. Мне вручили, как вручают орден, но без руко-

тряски, голубенькую бумажку, на которой кроме моей фамилии, имени и отчества стоял жирный штамп: «Сослан на вечно».

— Я сейчас напишу вам направление на шахту, пойдете работать, там вам укажут общежитие.

— Товарищ (уже не гражданин). Товарищ комендант, я художник, разрешите мне самому подыскать себе место.

Комендант перестал писать, положил ручку и внимательно посмотрел на меня.

— Хорошо, идите в Дом культуры, спросите там директора Соколова, если его не будет, спросите Калакутскую, скажите, что я вас прислал.

— Спасибо!

Я рванулся к двери.

— Пойдите, пойдите! Как устроитесь, тут же ко мне.

Я побежал по деревянным мосткам, стуча каблуками. Первым, на кого я наткнулся, была Людмила Фоминишна, «мать игуменья».

— Здравствуйте, Людмила Фоминишна, — заорал я, чуть не кинувшись на ее «свадебный» пирог.

— Освободились?

— Да! Да! Спасибо! Да!

(Хоть и звали мы ее «фашисткой», но она имела доброту.)

— Я рада за вас, — улыбнулась она, видя мой оголтелый вид и шапку в руках, и упавший чемодан, и отрошенные вихры.

Я помчался дальше. Вот он, Дворец культуры. Как положено быть дворцу: белые колонны, а во весь фасад, на красном кумаче: «Коммунизм неизбежен». «Неужели?» — подумал и вошел в еще одну неизбежность.

Соколова не было, была Калакутская. Толстая, маленькая, мощная, с лицом сатира, но добродушная. Небольшой кабинет, ковер на полу, стол с настольной лампой и на стене один против другого. Один начал, другой гениально продолжил, и на ковре — жертва. Я подробно все изъяснил, с очаровательной улыбкой, стремясь пленить лицо и грудь «сатира», а главное, то, что там внутри. Судя по выражению ее лица, мне это удастся. В нем есть интерес.

— Нам необходим художник. Тот, что есть, увольняется, но у

нас нет штатной единицы. Я могу вас оформить дворником, а работать будете художником. Ну там изредка и подметете.

— Меня такое сочетание вполне устраивает, — твердо отчеканил я. — Кисть — та же метла, а метла все равно, что кисть. А есть где у вас приткнуться? А то я ведь только номер спорол.

— Там за сценой винтовая лестница на колосники и в маленькую комнату, где сейчас пока Вася Киль, но он сегодня вам ее освободит. Там и работать будете, что помельче, а крупное на сцене.

Когда я «сатиру» рассказал, что я артист, тут ее грудь заходила ходуном.

— А я — режиссер самодеятельного театра! Кого вы играли на сцене?

— Гришку Незнамова. «О, эти сувениры жгут мне грудь!»

Я входил в роль. Калакутская трепетала.

— Вы можете и не подметать.

— Да если нужно и подмету, не велика беда. Меня комендант просил прийти к нему, если я оформлюсь.

— Я ему позвоню. Идите наверх, скажете Килью, что вы вместо него, пусть он сдаст вам все: кисти, краски, ну там все.

— Спасибо!.. «А какво бедному ребенку, оставленному под забором?!»

А у меня комната с большим окном, с диваном, огромным столом, кистями и красками, далеко и высоко, за кулисами, за занавесью.

Занавес!!! Трагедия окончена!

И все-то у нас на века и навечно! Ленин вечно живой и даже живее всех живых! Мы все навечно строим и создаем, ломаем, губим и калечим. Так мне чего же горевать, не я один, коль вечно все!

Инта, так Инта! И в Инте есть ресторан. Столики и салфеточки. «Аленушка» на стене пригорюнилась, так вечно и сидит, как посадили у ручья. Официант с салфеткой на руке, в белом кителе при параде! Спрашивает у меня и у моего «однобандника», высокого эстонца Фрида Каска, которого я случайно встретил, выйдя из Дворца:

— Что приказать изволите?

— Кило водки, два бифштекса, два бокала и ситро!

– Что еще будем есть и пить?  
– Сегодня пир! Сегодня праздник! Сегодня мы живее всех живых!

- За тех, кто в море, за тех, кто там!
- За тех, чьи кости в тундре, пусть живые выпьют!
- Со святыми упокой, Господи, души их невинные!
- За тех, кто любит!
- За тех, кто с нами будет!

Мы пили, ели, говорили, вспоминали, плакали и шутили. Так сидели мы дотемна, не пьянея от выпитой водки, и снова пили, снова ели и вспоминали лагерные годы. Уже ночью мы поднялись ко мне на хоры, захватив про запас. Поздно заснув, во сне я почему-то летал над каким-то поселком и никак не мог опуститься, а внизу мне кто-то кричал: «Каторга! Каторга!»

Утром начался мой первый рабочий день. Калакутская, посмотрев на меня с неким удивлением, что я на своих ногах, а не на четвереньках, повела и представила меня директору.

– Это наш новый художник!  
– Очень приятно, – сказал он, встав за столом. – Вы мне нарисуете картину?

– Я нарисую вам полярный Урал, – опередил я его, боясь, что он попросит меня написать «трех богатырей», «медведей в лесу» или «детей, бегущих от грозы».

– Это чудно! Буду ждать. А пока вам надо написать рекламу – анонс.

Он подал мне бумажку, на которой было написано: Эрио Эскондидо!

Бодро взявшись за кисти я, спустя время, водрузил на фасаде дворца такую Эскондиду, которая сразу же подняла меня на ту высоту, на которой летал ночью и вместо «Каторга, каторга», я услышал «здорово». Необходимо было бежать к Каску, чтобы не кружилась голова.

По дороге я забежал на почту, взял бланк и с трудом вывел: «Освободился, сослан навечно». Тут я положил ручку и... долго-долго сидел молча в глубоком раздумье. Много, много переворачивалось во мне, как в бетономешалке. Остановив это месиво, я добавил: «Если хочешь, приезжай»... И написал адрес Тони. Вече-

ром, взяв бутылочку, сев на автобус, я приехал к пересылке. Там за зоной, на бугорке, стоял барак, а в нем — Катька!

Утром в коридоре я встретил охровца, который что-то припоминал, глядя на меня, и спросил:

— Ну, как?

— Неплохо, — ответил я и уехал во дворец.

И закрутилось, завертелось и покатилося. Пропадай, моя телега, все четыре колеса.

А во дворце на сцене полковники и жены их, в панбархате с декольте, изображают страсти, негу и любовь.

Калакутская кричит:

— Полковник, больше сострадания! Жалости, жалости! Тут плакать надо!

Полковник бурчит ей в ответ:

— Не умею я ни плакать, ни сострадать.

— Но вы попробуйте, попробуйте, вы ж не у себя в кабинете, это ж сцена, игра. Вспомните что-либо печальное, что-нибудь ... такое!

Загривок его покраснел, и он завыл в голос.

«Мы вас собрали сюда не работать, а мучиться,» — вспомнилось мне.

А полковник все выл и выл, как волк на луну.

— Вот так, сейчас лучше, лучше, лучше.

Дамы и господа репетировали «Сердце не камень».

Бедный, бедный Островский, знал бы он, что пьесу его будут играть полковники, не умеющие плакать, но зато умеющие стрелять без промаха в затылок. А дамы их бренчат на фортепьянах, в шелках и панбархатах выносят помойные ведра и там, на площадке, подолгу с себе подобными обсуждают туалеты, блестя на солнце золотыми перстнями, кольцами и кулонами. На головах у всех «бабеты». Крик моды. Из-под них просматриваются комки капроновых чулок. Все это «высшее общество», это интинский «бомонд». С ними я еще сыграю злую шутку, но позже, не сейчас. Пока я только знакомлюсь с кем это мне вечно жить и встречать неизбежный коммунизм.

Инта раскинулась по тундре районами под номерами шахт. У каждой шахты большие поселки, все они далеко друг от друга и

от центра тоже. Бегают маленькие автобусы «душегубки». Центр поселка — длинная улица, деревянные дома в три этажа, серые и унылые. В конце улицы стадион и за ним спортзал — хозяйство Каска, он там завод.

В самом центре — Шахтоуправление, ГБ, МВД и тому подобное. Напротив — я и мой дворец. Есть несколько второстепенных улиц, улочек, тупичков и всяких «шанхаев» на задворках, там простой люд в бушлатах, на спинах многих не засаленная, невыцветшая полоса 40 x 15 — след от былой славы. Вдали ТЭЦ дымит своими трубами. Сбоку от центральной улицы — площадь, на ней здание комендатуры и «рынок» — два длинных прилавка с лавками. На нем пусто и безлюдно. За поселком, среди тундры, одна одиношенька стоит больница, за ней в балке речка, заросшая ивами. Кругом всего этого раздолья тундра, болота и мелкие леса. Над всем этим не моргающее все лето солнце.

Я в назначенный день, день не той встречи, о которой мечтал, а той, о которой не предвидел, пошел в комендатуру и по телеграмме получил пропуск на станцию.

Деревянные, обшарпанные вагончики дотащили меня до железной дороги Москва-Воркута. Скоро поезд. «Бетономешалку» я постарался утихомирить и совсем выключил. Подошел поезд, шипя и свистя. Я пошел к вагону, обозначенному в телеграмме. Из вагона все вышли, никого нет. Я пошел вдоль поезда... и вдруг.. услышал голос, меня окрикивающий. Ее голос. В душе у меня все оборвалось и поплыло. «Бетономешалка» заработала с дикой скоростью, выплескивая все с самого дна. Они сошли на ту сторону, и с той стороны шел голос, перевернувший все мое нутро. Поезд прошел своим последним вагоном мимо меня, и я увидел то, чего видеть не мог. Рядом стоял рыжий мальчишка. Незнакомый, далекий, но мой сын. Я подошел, взял его на руки, поцеловал, а Тоне протянул руку. Мы взяли вещи и пошли к вагончику. Сели. Язык не знает, что сказать. В сердце полное отторжение. Что-то да, что-то нет; немногословное ледяное «да» и «нет»!

Вот мои антресоли! Устраивайтесь. Сейчас я принесу чайник, я ем в столовой, хозяйства нет пока. Распаковали вещи, приехали мои масляные краски, можно Соколову написать полярный Урал. Какие-то вещи, давно мною забытые, и ворох претензий. Пьем

чай, а «бормашина» все сверлит и сверлит, словно все за раз запломбировать хочет.

– Ближе к делу, выключи «бор». Я тут навечно, пожизненно. Ради Сашки я согласен, но для этого ты должна переехать сюда.

– Я не перееду, мы останемся мужем и женой, ты тут, а я там.

– Значит я тут по бабам, а ты там...?

– Против этого я не возражаю!

– Я тоже. Но мне нужна семья, я пожизненно, ты это понимаешь?

– Ну и живи себе, я же сказала – я не против. Мы муж и жена, только ты тут, а я там. Это тебя устраивает?

– Устраивает! Но только так.

Я сел за стол, написал и подал ей.

– Что это?

– Читай!

– Заявление о разводе?! Ты его от меня ни в жизнь не получишь!

Мы пили молча чай с московской колбасой!!!

Вечером я пошел ночевать в спортзал, и там распили мы нечто. Во сне я не летал, а падал. За эти три дня работали две «бетонешалки». Все выяснили, все определили. Она там, я тут. Заявление она разодрала в порошок, а я думал о Катьке. Да тут и ближе навалом, хоть пруд пруди и все голодные, как шакалы. Но я понимал, что это гибель!

Поезд Воркута – Москва показал свой хвост. Бежит вагончик переваливается. Предшахтная. Приехали. В те дни, когда была Тоня, я на улице встретил Женьку Рейтор. Освободился, главу негде приклонить. Шмоток почти нет. Я привел его на антресоли, там была Тоня. Напоили, накормили, малость приодели. Я уходил и приходил, оставлял их. Я совсем забыл ее привычку, иметь за мной сторонний глаз и конечно уши. Для этой цели она вербонула моего «друга», я бы не сказал, что он когда-либо там был мне другом. Он помог там мне, я тут немножко ему, вот и все. Я не знал его качеств. Узнал потом. А пока «дружок» писал в Москву докладные о моем житие-бытие. Деньги на первое время у меня были. Передал с Тоней Иван Иванович, прислали «родившие меня тетушки». Так я их окрестил за их заботы. От всякой Тониной



опеки я отказался. Про «глаза и уши» я в то время еще не подозревал и взял его в соавторы.

Малость прихворнул «великий князь всея Инты» полковник Халилов. В Инте он жил в шикарном особняке с древонасаждениями, овчарками, бегающими по проволокам вдоль «правительственного» забора. Царь и бог, гроза, всем грозам гроза. Все трепетали, завидев его папаху. Приболел. Лежит в отдельной палате среди персидских ковров и «шахерезады» рядом. Смотрит в окно батюшка наш государь, а вокруг все так пусто, все так грустно и сердцу, и уму. Позвать ко мне «Тяпкина-Ляпкина». Позвать ко мне Купленника! Явился начальник жилищного управления: «Слушаюсь! Слушаюсь! Будет сделано, товарищ полковник! Слушаюсь!». А фантазия императора так соизволила решить. Трех богатырей перед окнами не поставишь, Аленушку не посадишь. Поставить в ряд на постаментах лицом к окнам: Павлова, Мечникова, Пирогова и Сеченова. В скульптурном изваянии. Изваять барельеф 4х4 м великого вождя и учителя! Установить наклонно под 45 градусов, а под ним клумба из иван-чая!!!

«Найти ваятелей и чтоб в момент...» – «Слушаюсь! Слушаюсь!» – Побежали гонцы, разбежались в поисках, ищут, ищут, с ног сбились.

– Да ты! Да вы, ваших мать! Не там ищите! Бегом во дворец! Там у нас художник есть!

Прибежали, запыхались на винтовой, влезли на антресоли.

– Можешь?! Выручай, озолотим!

Кто на золото не падок? А я тем более! Голь перекатная. У собаки и то будка есть, а у меня ни кола, ни двора, а жить-то вечно, вроде Ильича!

– Выручу! Давайте их лики в профиль, фас и три четверти. Изваяю! Так и быть. А где ваять?

– В детском саду, на зимней террасе!

– А из чего ваять?

– Что прикажете, то и будет.

– Самосвал синей глины. Пишите, пишите. Гипсу десять мешков, записали? Алебастру столько же! Бочка тавота! Корыта, лопаты и тазы! Пока все, а дальше, что понадобится!

И помчались вниз по винтовой бодренькой рысцой:

– Озолотим, озолотим, вот те крест.

– Его на вас нет и не было. Везите все, завтра начну ваять!

Побежал искать соавтора, разыскал в грустном виде.

– Слушай, работа есть! Болванов лепить и лить, нет, одного болвана, а остальные – мудрецы!

Закипела работа. Лепим, лепим день и ночь. Бюсты, бюсты, волосы и бороды, все кучерявые, со взглядом из-под бровей, все умные, лбы в обхват. И «усатый» на полу, иногда мочусь на него, чтобы не сохла быстро глина. Встречно предложили фонтан, чтобы струя била вверх, радугой многоцветной. Кипит работа, формуем и льем.

На вечерней заре, с овчаркой на поводке идет и входит некто. Собака, на нас ученая, сразу на дыбы.

– Фу, пока не трогать! Фу! Кому сказал!

В нашу творческую мастерскую, вслед за овчаркой вошло «всевидящее око». Двумя черными точками под нависшими бровями, в мгновение все было насквозь просверлено и изучено. Бездушные, холодные и жестокие две точки, два «зеркала человеческой души» просветили наши внутренности до ануса, ум и сердце до неведомых глубин. Все существо стоящего против нас «существа» говорило о том, что оно презирает чужую жизнь и смерть во имя счастья всего человечества. Это был рыцарь без страха и сомнений, это был начальник КГБ Интлага полковник Жолтиков.

Так он нам представился, не протянув руки. Его две черные точки продолжали нас изучать, как изучает ученый под микроскопом зловредный вирус.

– Лепите и льете? – спросил полковник, бросив взгляд на всюду стоящих «мудрецов».

– Пока лепим и формуем, – ответил я, в свое время изучая сей зловредный микроб, несущий в себе ненависть и неизбежность того самого, что начертано на кумачовых полотнищах аршинными буквами.

Полковник стоял, я бесцеремонно сел и закурил, предложив ему сделать то же.

– Вам известно, что вы не имеете права лить без присутствия представителя от органов?

– Нет, полковник, а почему?

– Мало ли что можно заложить в литье.

– А что именно? – полюбопытствовал я, прекрасно понимая, что он имеет в виду.

Два черных зеркальца обожгли меня, как обжигает пуля. Они не посмотрели, а стрельнули автоматной очередью. Он понял, что я издеваюсь.

– Я не обязан вам все объяснять. А вы обязаны выполнять то, что я сказал.

Еще раз его глаза выстрелили.

– За что вы осуждены?

– За язык, товарищ полковник! Всего-навсего за язык!

– Язык – это мысль, а мысль – это сущность.

– Тогда я за сущность!

Пока шел наш диалог, и я много раз был расстрелян, собака полковника тщательно обнюхивала мудрецов, стоящих повсюду. Обнюхав барельеф «корифея», от которого пахло мочой, она, по своей кобелиной сущности, подняв ногу, писнула на него, очень метко. Полковник смутился и резко дернул поводок. «Фу», – крикнул он, оборвав окриком неоконченное.

– Да оставьте его, пусть уж до конца, все равно мочить, глина быстро сохнет.

Я был пригвожден к стене его взглядом.

– Ну, мне пора! Я оторвал вас от работы. Когда начнете лить, сообщите.

– Да не торопитесь, товарищ полковник, мы очень рады.

Полковник обернулся ко мне и, посмотрев в упор, процедил:

– Знаем мы вашу радость!

Резко повернулся и вышел.

На усах «корифея» подсыхала собачья моча.

Отформовав, мы приступили к отливке. Тип, присланный следить за тем, чтобы мы, Боже упаси, не вложили в «мудрецов» антисоветской пропаганды и агитации, зорко следил за каждым нашим движением. Чтобы ускорить процесс, мы во чрево их заталкивали пустые бутылки, консервные банки, в общем все, что можно было впихнуть.

Действуя по законам социалистического государства, в основе которого заложено три основных принципа: Мат! Блат! И туфта! –

нам удалось не только уложиться в установленные Государем всея Инты сроки, но и порадовать страну их опережением. Мудрецы стояли, гордо подняв свои мощные головы и смотрели в светлое будущее своими гипсовыми глазами, перед ними, под сорок градусов наклона, утопая в иван-чае, не лежал и не висел, а торжественно возникал «корифей». И он, и все «мудрецы», дабы не раскиснуть быстро под Интинским осенним дождем, были густо и неоднократно покрашены масляной краской. Сестры в белоснежных халатах, в умилении преданных сердец, все тащили и тащили ворахами иван-чай и украшали ими любимые черты. Все ждали полковника Халилова на открытие мемориала. Мы же, по наивности своей, ждали обещанного «золота».

Когда дело все же коснулось гонорара за доблестный труд, долго соображая, что-то подсчитывая на счетах, нам вывели «баснословную» сумму. Наш творческий труд, горение наших сердец были приравнены, согласно тарифам, к работе печников, сложивших печку.

Я вошел в кабинет начальника жилищного управления. Майор Купленик восседал в кресле.

— Товарищ майор, здесь допущена маленькая ошибка. Дело в том, что скульптура — это не печка, а если и печка, то мы сложили не одну, а пять.

Он посмотрел на меня так, словно видит впервые.

— О чем речь! Какая печка или печки?

— Дело в том, что по вашему заказу и по распоряжению полковника мы, я и Рейтор, в течение двух месяцев и день, и ночь лепили, формовали и отливали то, что сейчас украшает ваш город, в частности, больницу. Вами эта огромная работа и наш творческий труд оценены и приравнены к труду печника, сложившего одну печь.

— Ну и что? А что вы еще хотите?

— Мы хотим, чтобы его оценили не как печку, а как творческий.

— Всякий труд, в том числе и печка, — творческий, вы что думаете, мы тут не творим? Мы только тем и заняты, что создаем.

— Это совершенно справедливо, но вы получаете за свое творчество, и ваше созидание оценивается иначе, чем, скажем, сложить печку.

– Мы не имеем права платить вам больше того, что заплатили, и так рассчитали вас по высшей категории.

– Да, но в таком случае надо платить за пять печек.

– Если все сделанное вами посчитать в объеме, то это и будет одна печка. Вы все получили сполна, нам ваших денег не надо.

Он посмотрел на меня своими творческими глазами, напоминающими глаза тухлого судака, и по ним я понял, что разговор окончен.

– Товарищ майор! Мне негде жить, а жить мне вечно, не могли бы вы выделить из вашего жилого фонда каморку? Ко мне должна приехать жена с ребенком.

Он снова посмотрел на меня, и в глазах его было удивление моей наглости.

– Вас, таких, тысячи.

– Да, но среди тысячи вы нашли только двоих, могущих выполнить приказ полковника. И как нам известно, вы от него получили благодарность за наш труд. Стоило бы и вам нас поблагодарить.

Купленник вертел в руках карандаш с отрешенным видом.

– Вам ничего не стоит дать какое-либо непригодное помещение из нежилого фонда. Я же не прошу у вас квартиры.

Майор в нетерпении бросил карандаш, а потом, подумав, снова взял.

– Вы знаете старую баню?

– Нет, не знаю, а где она?

– Там, за базаром у ручья.

– И что там?

– Там чердак. На чердаке ржавые баки. Вы их можете выкинуть и своими силами превратить часть чердака под жилье, на двоих вам хватит.

– Спасибо вам, товарищ майор! Спасибо! А откуда взять необходимый материал? Доски, кирпич и все остальное?

– Со склада. Я дам указание. Все! Идите!

– Еще раз большое вам спасибо.

– Постойте. Напишите заявление и в нем укажите причину просьбы. Ну, там, жена приезжает и тому подобное.

Выйдя от него, я тут же состряпал нужное заявление по всей

форме, со многими безвыходными положениями, для разрешения которых прошу чердак, обязуясь его в свободное от работы время из предоставленного мне казенного материала переоборудовать себе под жилье.

Написанное я положил на стол «благодетеля». Прочитав, он наискось, как положено «созидателю» бесклассового социалистического общества, начертал: «Не возражаю». Мощный росчерк пера с брызгами подтвердил принятое решение.

Окрыленный сей маленькой победой, мысленно выкидывая ржавые баки, строя, прибывая, заколачивая и складывая печку, я помчался к Рейтору сообщить ему, что стоит приложить усилие и у меня, и у него будет жилье. И каково было мое удивление, когда он наотрез отказался от этой затеи. «Ну и хрен с тобой, — подумал я. Не хочешь, не надо, а для себя я сделаю».

Обследовав обстоятельно всю старую баню, пустую, с выбитыми стеклами, я залез на чердак. Это был мезонин, в нем был пол, стены и даже потолок, два огромных бака, ржавых и помятых, стояли посередине. Разметив глазом пространство, я разыскал в нем очертание своей небольшой комнаты с маленькой кухонькой. Вот она, вот комнатка метров в десять, больше и не надо. Большая часть мезонина еще оставалась для желающих, коль дурак Женька не хочет. Это его дело.

Закипела работа. Подставлены бревна — баки съехали по ним. Подсобили «вечники». Обиваются дранкой стены, складывается своими руками печь. Вставляются рамы, натягиваются провода от столба, загорается лампочка. Топится печь, сушатся оштукатуренные стены. Все эти работы я делал в светлые ночи, интинские ночи.

Днем, после творческого подъема, при сложении одной печки в виде «мудрецов», я вернулся к обыденной работе во дворце. Первое, что я сделал, написал вдохновенный пейзаж «Полярный Урал». В нем я поведал миру о своей тоске по свободе. Снежные вершины, как готические соборы, как мольба, как вопль сердца, уносились ввысь, в бездонное небо, они были светлые, как души, покинувшие землю. То были души невинные, души замученные, в страданиях очищенные. А внизу, на земле — одинокое деревце, ветрами к земле пригнутое, скрученное и искалеченное.

Это была моя первая работа за много-много лет, и я ее подарил директору, как и обещал. Он был хорошим человеком и все понял, о чем я говорил в ритмах и цвете.

Был сентябрь на дворе, надвигалась зима. В моей комнатке было тепло и уютно. В нее я недавно перебрался из дворца. Я не чаял, как бы скорей из него выбраться. И днем, и ночью я постоянно на глазах, в гуще «созидательной» деятельности творцов АР-ХИПЕЛАГА. В зале то слет, то конференция. Одно мероприятие за другим. Кругом квадратные плечи в погонах, сытые красные рожи, жирные загривки, сверлящие точки, ощупывающие с ненавистью и презрением. При неминуемых встречах, а деваться было некуда, я чувствовал на себе их гадливый взор, подозрительный и настороженный. На своем лице я никогда не умел носить маску, нужную по обстоятельствам, потому оно выражало то, чего они стоили. Это было крайне опасно не для них, а для меня. Я их презирал, и весь мой вид свидетельствовал об этом. Надо было сматываться и чем скорей, тем лучше. Что я и сделал, ради чего и вкалывал день и ночь.

Идя как-то на свой милый сердцу чердак, я встретил одного малого, с которым вместе сидел.

— А, привет!

— Привет!

— Как ты?

— А ты как?

У него лучше, чем у меня, он едет домой в Краснодар.

Мысли о Варе меня не оставляли. Весь этот бабский хоровод, кроме осадка и опустошения ничего в себе не нес. Причала не было. Лодка плыла, зачерпывая мутную воду. Это не моя стихия, и часто я, уткнувшись в подушку, ревел не так, как полковник на сцене, а настоящими человеческими слезами. Необходимо пристанище, а где его взять? Лагерные бабы, пусть и молоденькие, все они прожженные насквозь, прожгла их сама жизнь, и винить их не за что. Но строить с ними то, что требовала и искала душа, бесполезно. Не выстроишь. Потребности наших душ были разными, и под одеялом их не найти.

Часто в минуты тоскливых раздумий я вспоминал Варю. Ее образ для меня всегда оставался светлым, и его не замарали обсто-

яательства, нас разлучившие. Я, пройдя жестокую школу жизни, многое научился понимать, а главное, прощать, а это наука. Я все постарался простить Тоне, а было, что прощать, но жить с ней я бы не смог. Часто в жизни бывает так, что простив, надо отойти подальше, по пророку Давиду. Уйди от зла и сотворишь благо. Зло нейтрализуется, когда с ним не соприкасаешься. Прости и отыди, как можно дальше.

Но я от Вари не видел зла или не успел увидеть, так как вместе мы не были. В памяти сохранился кроткий светлый образ, манящий к себе своей чистотой. Порой мне казалось, что жизнь ее не сложилась, что в том, кто с ней сейчас, она не нашла того, что искала. Сомнения мучили меня, одолевая все сильнее и сильнее. Но как узнать, как убедиться? Писать бесполезно, я прикован цепью как пес к будке, короткая проволока для видимости свободы.

– Послушай, Иван! Когда ты едешь в Краснодар?

– Скорей всего завтра, ночь перекантуюсь в поселке и на поезд.

– Кантуй у меня, места хватит.

– О! Как здорово, у тебя есть Хавира?

– Есть! Пойдем, зайдем в магазинчик, прихватим, что надо и айда.

Вот мы и сидим. Трещит затопленная печь. Бутылочка на столе. «За тех, кто в море! Кто там!» Уста жуют, голова мыслит.

– Иван, а не сделаешь ли ты мне одну огромную услугу? Ты едешь через Москву, не смог бы ты зайти по одному адресу, тут же у вокзала, у Курского, с которого тебе ехать домой?

– Конечно, какой разговор? Зайду, давай, что передать.

– Я тебе напишу коротенькую записку. Но ты по адресу должен прийти рано утром, слышишь, рано, часов в семь, не поздней.

– Хорошо, мне что стоит, я же на вокзале буду ночевать. Пиши.

Я сел и написал. «Варюшка! Мне все известно. Я ни в чем тебя не виню. Если ты вышла по любви и нашла то, что искала, то рад за тебя, если же нет, то во мне ничего не изменилось, каким я был, таким и остался. У меня ни кола, ни двора, будешь ты – будет все. Я освободился, нахожусь в ссылке навечно. Коми АССР пос. Инта. До востребования».

Я запечатал конверт и написал адрес.



Подсев к Ивану, я нарисовал ему вокзал, площадь и дом с подъездом:

– Смотри, сюда ты войдешь, поднимешься на четвертый этаж, вот дверь. Позвонишь и спросишь Варю Мельникову. Письмо передашь только ей из рук в руки, никому больше. Не сможешь – разорви и выкини. Вот ее фотография, возьми с собой, чтобы не спутать, по ней определишь.

Дело сделано, самое важное, но которое меня неотступно мучило. Сейчас можно и нужно выпить за успех.

– Выпьем, Ванюшка!

– Выпьем, Лешка!

Мы чокнулись, выпили до дна всю бутылку и спокойно легли спать.

Рассчитав по времени, я забежал на почту, нет ли чего?

– Арцыбушеву что-нибудь есть?

Девушка в окошечке улыбается, перебирает пальчиками кипу писем.

– Пока пишут!

Они все меня на почте знали и улыбались, завидя меня. Вечером я снова прибежал. Еще не сунув нос в окошечко, я услышал щелчок за ним: «Есть тебе! Есть! Телеграмма!»

Взяв ее, я прочитал: «Письмо получила. Пиши до востребования почта № подробно письмом. Варя». По моей роже девушка поняла, что телеграмма была сногшибательной! Оно так и было!

Ворох мыслей, ворох чувств. Писать – не опишешь, рассказать – не расскажешь. У меня на пятках выросли крылья, но ждала меня беда, беда непредвиденная и как снег на голову упавшая.

Прихожу я с работы домой. Дверь открыта, а уходя, я ее запер, и ключ в руке. В комнате мужчина, женщина и ребенок. Мои вещи аккуратно собраны, стоят и лежат на кухне. Я остановился в недоумении, ничего не понимая. Вся честная компания ест за столом.

– Кто вы? И как сюда попали? – еле выговаривая слова, спросил я.

– Простите нас, Христа ради, что без вас нас сюда поселил майор Купленик. Он сам дверь топором открыл, мы тут ни при чем. Это вы тут жили?

– Да я тут и живу. Эту комнату я своими руками выстроил. Тут чердак был.

– Мы ведь ничего не знаем, нас майор сюда привел и поселил. Мы его спрашиваем, а вещи эти чьи, а он их сгреб и бросил на пол. Это мы уж их сложили. Вы нас простите, у нас ребенок, деваться было некуда. Мы протестовали, просили дать нам другое помещение, а он и говорит: «Эта сволочь пусть идет, куда хочет, он обманул меня. Он сказал, что к нему жена с ребенком едут, а она и не собирается ехать. Мне, говорит, его друг об этом рассказал. Сволочь такая, надул. Ему, как придет, скажите, чтобы ко мне явился, я ему матку выверну наизнанку». Мы-то что, мы вас сами жалеем, садитесь чайку с нами.

Ни к какому Купленнику я не пошел, их простой бесхитростный рассказ, их смущение и сочувствие, понимание, что они невольно являются причиной моей беды, позволили понять мне сущность дела, к которому они не имели ни малейшего отношения.

Я получил удар в спину от человека, которого я, в сущности, мало знал. В лагере я встретился с ним чисто случайно в зоне, мне незнакомой. Тогда он помог мне воткнуть Жимайтиса в санчасть; встретив его в поселке, я протянул ему руку и для меня это было естественно, так как без этого и в лагере, и в ссылке прожить невозможно. Помогаете ты, помогают тебе и часто люди совсем незнакомые. Там свои законы милосердия. Преследуя свои корыстные цели, Рейтор, не задумываясь, всадил мне нож в спину, наступив Купленнику, что я его обманул. Он знал, что никакая жена ко мне не едет. Ему необходимо было натравить на меня майора, чтобы таким путем получить от него хорошее жилище для себя. За это он получил не только хорошую комнату, но и приличную работу. Тогда я у майора выторговал этот чердак, и он его нам отдал на двоих. Рейтера это не устраивало, и он пошел на подлость, лишив меня крыши над головой и теплого угла перед самой зимой. Теперь всего этого у меня нет. Идти и выяснять отношения бесправному ссыльному – это значит быть битому и лишний раз растоптанному бездушным сапогом, я это хорошо понимал, тем более что я не мог доказать «сапогу», что ко мне едет жена. Я был безоружным. Бить морду подлецу бессмысленно, его этим не вразумишь. Подлец – всегда подлец!

Мне ничего не оставалось делать, как смириться, проглотить и отойти подальше, по пророку Давиду. Уйди ото зла и сотвори благо. Якштас в свое время, подложив мне свинью на комиссовке, фактически спас меня от инвалидности, с которой я бы сидел еще годами, как те несчастные. Конечно, было тяжело и обидно за вложенный труд и деньги, за силу и энергию, вложенные мной в этот угол, теплый и уютный, из которого меня так жестоко вышибли.

Возвращаться на антресоли за кулисы дворца я не хотел. Больше всего мне хотелось вообще смотаться с этой работы, чтобы быть подальше от вершителей судеб.

Сама жизнь научила меня спокойно принимать удары судьбы и видеть в них необходимость, часто жестокую и на первый взгляд не имеющую смысла. Так и в этот раз – подлый удар в спину, лишивший меня крова, я принял как должную необходимость, в дальнейшем сыгравшую огромную роль в последующие годы ссылки.

Последнюю ночь я переночевал на уже не моей кухоньке и рано утром отправился на поиски своей судьбы, работы и крова. Эти поиски привели меня в паровозное депо на Предшахтной, расположенное в нескольких километрах от центрального поселка.

– Не нужен ли вам кто-нибудь? – спросил я начальника депо, войдя в контору.

Начальник паровозного депо Наумчик Высотский, или просто Наумчик, как все его звали, такой же вечноссылный «троцкист», внимательно посмотрел на меня.

– Мне нужен сторож, ночной сторож, оклад 360 рублей (по деньгам на 1988 год – 36 рублей (примеч. автора).

– А жить есть где?

– На старой водокачке. Вон там, – он кивнул головой в сторону водокачки. – Там уже один живет, тоже сторож. Ты тоже на цепи? – спросил Наумчик.

– Как и все тут.

– А как твоя фамилия?

– Арцыбушев Алексей!

– А отчество? – допытывался он.

- Петрович, – ответил я.
- То, что ты Алексей, я могу поверить, но то, что ты Петрович – не верю. Ты аид? (иудей – прим. ред.)
- Нет, я русский.
- Не может этого быть, не верю.
- А какой мне смысл врать?
- Нет, ты все же аид, ну ладно, в сторожа пойдешь?
- Пойду, у меня нет выбора.
- Пиши заявление.

Он подал мне лист бумаги, я написал. Наумчик прочитал, что-то начиркал на нем и положил в стол.

– Сторожить будешь посменно: ночь ты, ночь Гулям. Отвечашь за все, что в депо, за подъездные пути ответа не несешь. Понял? Спать можешь, закрыв ворота, паровозы никто не украдет. Заступишь на работу с завтрашней ночи, а сейчас иди на водокачку. Посмотри, где жить будешь, а то может и не понравится.

Он вывел меня на двор и показал водокачку, стоявшую метрах в трехсот на развилке путей.

– Будь здоров, Петрович, если Петрович.

Добродушная физиономия Наумчика смотрела на меня и на ней было написано: какого хрена ты скрываешь от меня, что ты аид, я ж это вижу.

Я пошел по путям. Около депо лепилось несколько домиков. Большая парокотельная дымила своими трубами. Горы шлака и угля. На подъездных путях паровозы и паровозики «кукушки». Кто под паром, кто на ремонте, кругом копошились чумазые люди, кто с чем у своих паровозов. Справа лесок – сосна и ель, слева – тундра и болота, вдали отвалы шахт и терриконники. Впереди, за развилкой дорог, стеной встал приполярный лес. Гудки паровозов пронзали уши. Серая, унылая, как все вокруг, бревенчатая изба, рядом пескосушилка. Я по ступенькам вошел и открыл дверь в мое новое пристанище. На железной койке у окна лежал человек. Посередине стояли бездействующие насосы. Деревянный стол у кровати. В углу, у входа, жарко пылающая печь. Человек встал и сел на койку, протянул мне руку и сказал: «Гулям», а затем добавил: «Мансур».

– А я – Алексей, буду с тобой вот тут жить и сторожить.

Мрачное и удручающее впечатление произвело на меня мое новое жилище. Закопченные, грязные бревенчатые стены, зашарпанный пол, закопченная облупленная печь. Обшарил я все это своим грустным взором и нашел место, чтобы поставить свою койку. Гулямчик оказался славным малым, добродушным узбеком, приблизительно одних со мною лет, хотя выглядел намного старше. Мы сели друг против друга, и каждый из нас вкратце рассказал свои грустные истории. Мы всласть пили зеленый чай, прихлебывая его из железных кружек, текла беседа двух человеческих душ, неожиданно оказавшихся на старой водокачке, окна которой смотрели на болота, подернутые первым хрупким льдом, на темные ели вдаль и хмурое осеннее небо. Вот здесь, среди застывших в своем бессилии насосов, закопченных стен, должна продолжаться, вернее, вновь начаться моя «вечная жизнь». Одна будка, одна цепь и две жизни, случайно встретившиеся в непонятном водовороте человеческих судеб. Но жизнь научила в плохом искать лучшее, не унывать, не падать духом, не плакать об утраченном, на все смотреть с юмором и смеяться там, где хотелось бы плакать. Сама жизнь открывает пути, судьба ведет по ним, знай себе, иди! И я пошел на уже не мой чердак, откуда был изгнан, как Адам из рая в «преисподнюю». Пошел за своим барахлом, чтобы оттащить его в свое новое, убогое жилище, и в нем, быть может, новый друг на меня не отточит нож за голенище.

Слова, написанные мною Варюшке, оказались близки к истине: ни кола, ни двора! Был маленький, с таким трудом и усилиями вбитый мною колышек, который теперь сломан жестокостью жизни, равнодушно и холодно человеком таким же, как я, ссыльным, на одной цепи привязанным, ради своей корысти и личного благополучия. Трясется и тархтит мой скарб на одолженной мною тачке, на «машине» ОСО, две ручки, одно колесо, все дальше и дальше от центрального поселка, от их «всевидящего глаза, от их всеслышающих ушей», ближе к тундре, ближе к чахлому лесу, где стоит одиноко старая водокачка. Там, на ней, волею судеб, определено было мне жить и, лежа на кровати в своем углу, затаив дыхание, читать первое письмо за два года, полученное от Варюшки.

«Любимый мой, наконец-то ты нашелся, я думала, что ты давно погиб, в чем меня уверяли все, т.к. связь с тобой прервалась

больше двух лет назад. Я долго ждала в надежде и жила только ею, но время шло, надежды гасли. В отчаянии я исполнила волю своих родителей и вышла замуж за человека, которого я никогда не любила. Для меня ты словно воскрес и вся моя любовь, мое сердце и душа с тобой, мой единственно любимый».

Память моя сохранила только смысл письма, а не точный его текст. Водокачка стала раем. Мертвая тундра — цветущим садом. Варюшка нашлась! Варюшка любит! Ее душа и сердце тут, она со мной, моя Варюшка, рядом!

Полетели письма до востребования, туда и обратно, а в них любовь, надежда, радость, в них сливаются сердца, в них готовится побег.

10 октября 1952 года мне стукнуло тридцать три года. Вечером на водокачке бал. Бал без дам, но с мыслями и надеждой на то, что они у нас у всех рано или поздно будут. Собираются званые гости, ставятся на еловый стол бутылки, «бокалы» — железные кружки, «вилки» — руки, закуски на газете. Стукнулись кружки, расплескалась влага. За тех, кто в море! За тех, кто там! До дна! Читает Яшка Хромченко взхлеб свои стихи, одной своей рукой и ест, и пьет мой Каск, мой Фрид. Гулямчик уж пьян, но пьет еще, я тоже пьян, но меньше всех, больше пьяно сердце от любви, от писем, лежащих на груди. Эти письма читали все, вызывая зависть и восторг, о намеченном побеге тоже знали и пили за успех. Бутылки пусты все, а Гуляму явно мало: «Лешенькэ, налей еще!» — «Нет, Гулямчик, пусто все — ночь уж на дворе». — «Лешенькэ, я пить хочу.» — «Нет, Гулям, пусто все, ни капли нет, смотри!»

Не унимается Гулям, глаза блестят, скрипит зубами, шапку на голову, бушлат на плечи: «Я пошел, все ждите, я водки принесу». За дверь и был таков. Еще долго сидели мы, смеялись, пели и шутили, а затем и разошлись. Я лег, а заснуть не в силах. Ночь темна, ни зги не видно за окном, гремят с углем составы, трясутся стены, горит огонь в печи, а Гуляма нет и нет. Путь на Предшахтную, куда он пошел, только по шпалам, иного нет. Гулямчика я не в силах был удержать, он был сильно пьян, а душа требовала еще. В сердце постепенно вкрадывался страх, как бы не было беды, снуют составы взад и вперед, не попал бы под колеса.

Под самое утро задремал, но уши прислушивались и не дремали. Вдруг они уловили слабый звук. Вот он повторился откуда-то

издалека. Ближе, прислушиваюсь. «Алешеньке, Лешеньке!» Я вскочил с кровати и бросился на улицу. В отдалении стояла обнаженная фигура, еле различимая в серости последнего часа ночи. Я к фигуре. «Лешеньке! Лешеньке!» Слабо, дрожа всем телом, взывала она. На дворе шел снег. Я схватил Мансура за руки.

— Что с тобой? Что с тобой?

— Тундрум умирал. Тундрум, — стуча зубами, дрожа всем телом, ответил он.

Я буквально на плечах втащил его в дом. Мансур был гол, мокрые кальсоны болтались на одной ноге. Я достал из заначки бутылку спирта, растер им все его дрожащее тело жесткой мочалкой докрасна, налил кружку почти неразбавленного и влил ему в глотку.

— Тундрум умирал! Тундрум!

Закутав его всем, чем мог, прошуровав печку и засыпав в нее ведро угля, я налил себе и выпил. Мансур крепко спал, рассветало. Когда стало светлей, я пошел по шпалам в сторону Предшахтной. Затянутые тонким льдом кюветы зияли проломами, обозначая скорбный путь бедного Гулямчика, он соображал, что по шпалам смерть.

А, вот лежат мокрые брюки, есть улов. Вот ремень. Дальше — рубаха, еще дальше — пиджак, все насквозь мокрое. В кармане — деньги, документы. А вот бушлат и дальше шапка, вроде весь гардероб на месте. Плавая по кюветам, Гулям скидывал с себя намокшую одежду и, может быть, благодаря этому добрался до водокачки. Я принес весь улов и развесил его сушить у жаркой печи. Так «тундрум» умирал Мансур Гулям Бей Взады Оглы! Так я его прозвал, и имя это вошло в летопись тех лет.

На побег нужны деньги. Чтобы похитить красавицу, нужен хороший конь и верные люди. В поисках звонкого металла я пришел в ресторан. Там все так же скорбно, неподвижно и грустно сидела у ручья Аленушка. Мне удалось уговорить и логически доказать директору ресторана, товарищу Кронштейну, что сия Аленушка наводит своим видом грусть и печаль на людей, пришедших в его заведение повеселиться. Сам вид ее не располагает к веселью. Он согласился со мной и сказал:

— О чем спорить, Вы таки правы! А что дальше?

— А дальше, было бы желание, были бы деньги. Я — маэстро и могу вам в этом помочь.

– Ну, деньги-то ми, наверное, таки найдем, а дальше что?

– Посмотрите, сколько свободных стен. Вот тут натюрморт с цветами, положим розы или сирень. Вот там, посмотрите, раз, два, три, три метра, полтора высотой пейзаж Поленова «У пруда». Прекрасная, лирическая вещь. А вот там, вот тут...

Я водил его от стены к стене, вкручивая ему мозги о том, как это все красиво, уютно, камерно. Что может быть красивей живописного пятна в хорошей раме. Таким образом, я убедил его и укалякал на пять картин. У Кронштейна разгорелись глазки, я их зажег, обещая ему большие дивиденды, в виде благодарности от самого полковника, напомнив ему, как полковник отблагодарил майора Купленика за «мудрецов», не упоминая, конечно, как Купленик отблагодарил меня.

– Хорошо! Пойдем таки в Инторг, там и порешим, я только таки за!

Пошли и порешили. Пять картин – шестьсот рублей. Заключение трудосоглашение. Я уже таки был бит на изваяниях, которые все вместе взятые в объеме равнялись печке. Закипела работа. Подрамники, рамы и холст – их. Краски, кисти и труд – мой. Подрамники сколочены, холсты натянуты, как барабаны звенят загрунтованные. Мольберт – давно умолкнувшие насосы. Палитра в руках, краски выдавлены. Засвистели кисти, замахали руки. Бегают крысы меж ног, давлю их валенком и в печь. Ночами за столом Наумчика пишу письма. Скоро будут деньги. Скоро вышлю. А там только их и ждут, все на мази, все самое нужное снесено к подруге, в тайну посвященную.

Несу, ташу, везу в ресторан к Кронштейну готовую продукцию, а он их на просвет смотреть желает, его не проведешь, ему не важен сюжет, ни колорит, ни мазок упругой кисти, смотреть желает только на просвет, нет ли дырок на холстах, промеж мазков.

– Дыги, дыги, их же надо шпиклевать!

Кричит, брызжа слюной Кронштейн, и никаких гвоздей. О! Сколько нужно было красноречия, сколько доводов и лекций по искусству. Уперся на своем «Дыги, их же надо шпиклевать». Пригласили начальника всего Интснаба. Деловито осмотрел, понимающе пощупал, поколупал ногтем и решил:

– Шпаклевать не надо! Принять и оплатить согласно договору.



Я у заветной кассы. Раз, два, четыре, пять, вышел зайчик погулять. А шестую заказчику «на лапу» — таков закон.

Бегом, бегом на почту. Дайте бланк, примите деньги. А заодно письмишко тетушкам, а в нем огромная просьба, прислать одеяло двуспальное, дескать, холодно ужасно. Бедному жениться, ночь коротка. Нет второй подушки, кровать узка. Нужно отгородиться от Гуляма... Многое, что нужно и нету ни хрена. Шныряют крысы по ночам, пол метут хвостами, валенком наповал, за хвост и в печь. Зима, уж вьюга, снег метет, воем, свищет за окном, сугробы наметая, печь горит и ночь, и день. Сижу я за столом и читаю телеграмму: «Встречай двадцать первого поезд номер и вагон». Прошло шесть месяцев и пять дней с тех пор, как вышел я на вахту на «вечную жизнь», потеряв Варюшку навсегда. И вспомнился мне Абезь, и та ночь, и мой милый хиромант. Он не ошибся. Он был прав!

Комендатура, окошечко. В окошечко телеграмма, из окошечка пропуск на станцию.

Сегодня 21 ноября. Михайлов день. «Небесных воинств архистратизи, молим Вас, присно недостойнии...» Полярная ночь, светлая ночь, светлее всех ночей. Блещут звезды, торжественно мерцают, от края и до края светится, колыхаясь таинственными всполохами, голубое сияние, то пронзая небосвод, то исчезая, то загораясь ярким светом в вышине. Волнуется, светится полярная ночь, дивная, светлая ночь. Волнуется сердце, трепещет душа, все наполняется светлой радостью, радостью сегодняшнего дня. Вымыт зашарпанный пол. Печка обмазана свежей глиной, жарко топится интинским углем. Еловый стол выскоблен стеклышком добела. Занавесками отгорожено пространство от завистливых глаз, а за нею рай, мой, наш общий рай. Вместо железной кровати «тахта», щит, сколоченный из досок, а на нем тюфяки, набитые опилками. Вместо персидского ковра, пестрая тряпочка на стене и новенькое, малинового цвета, простеганное ватное одеяло, как и просил, двуспальное, на широкой «тахте». Рядом с ней убогая тумбочка с салфеткой на ней. Все готово, все в ожидании похищенной красавицы, которая мчится на железном коне. Пора! Пора встречать. Бегом — по шпалам на Предшахтную, подмышками валенки на всякий случай. На дворе мороз.

Бегут вагончики, колыхаются, на стыках бьют колесами, повторяя одни и те же слова: еду, еду, еду. Едет! Едет! Едет!

Из далекого пространства необъятной тундры доносится свист паровоза, вот показались три светлые точки, ближе, ближе, простучали мимо колеса, взметая снежную пыль. Заскрипели, выбрасывая искры, тормоза. Остановились вагоны, белые от морозного инея, открылись двери. Глаза смотрят, сердце стучит. Вот она, Варюшка! Радость, надежда моя. Сияют очи, сияет небо, сердце через край, бьется, стучит и волнуется. Двое среди белых снегов застыли в долгом поцелуе, и слезы на глазах.

Дожил! Дождался! Отстрадал! Отмучился! Нашел потерянное! Обнял! В снежном сугробе передо мной моя любовь, моя мечта и надежда, стоит в осенних, столичных туфельках, небольшой чемоданчик у ног. Ноги всунуты в валенки, снова восторг. Смотрим и насмотреться не можем, и чувство такое, что вместе мы были всегда, что не было разлуки и тех мучительных лет, все ушло в небытие, исчезло, сгинуло, прошло, как сон, как миг один.

— Варюшка, радость моя! Все, что было — на том крест. Его вообще не было.

Стучат колеса на стыках рельс, и прислушавшись, слышим: приехала, приехала, приехала, приехала, и дальше все сильнее и отчетливее стучат колеса на стыках. Приехала, приехала, приехала. Под эту непрестанную песнь, наперебой, не вникая в слова, идут рассказы. То она, то я, рассказы, которые рассказать не в силах, на которые нужно время и спокойное сердце и успокоенная страсть. Сейчас мы оба не в силах вникнуть в слова, в их значение, и во все пережитое нами за эти годы. Для этого нужны недели, месяцы и успокоенные крылья, обнявшие друг друга в ночной тишине, и слова, слова, а в них вся жизнь, и прошлая печаль, и радость сегодняшнего дня. Вот уж, действительно, с милым рай в шалаше! С милым рай и на водокачке. Гулямчик, встретив нас на пороге, многозначительно сказал: «Алешенькэ! Я пошел!»

Мы остались вдвоем. Полыхала печь, полыхали сердца, трепетали крылья. О, миг блаженства! О, счастье! О, радость! Перевернулись небеса, упали звезды. Мы, я и она, во плоть едину слились на века!

Бегали крысы по углам, пол метя хвостами.

– Кто там? – очнувшись, спросила Варя.

Я сейчас приложил все свои усилия, весь свой бесхитростный талант, чтобы поведать вам о днях тех, давно ушедших, но безгранично счастливых. Началась суровая жизнь в сплошной ночи, в занесенной снегами водокачке. Гулямчик, я и Варюшка, которую на Инте прозвали «декабристкой». Она спокойно и мужественно приняла суровую действительность жизни. На следующий день мы послали телеграмму ее маме, моей теще. «Я с Алешей, поселок Инта Коми АССР почта до востребования». Весть о победе «декабристки» быстро облетела весь поселок. На Варюшку смотрели, как на чудо, как на нечто сверхъестественное. На водокачку приходили все освободившиеся к тому времени мои лагерные друзья. Мы собирались шумной веселой компанией, пили спирт, ели то, что Бог послал и то, кто что принес. Варька пела своим сопрано «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить». Яшка все так же вздохнул читал свои стихи, Каск одной рукой и пил, и ел. Появлялись новые друзья. У комендатуры я подцепил бездомного Агаси, притащил его на водокачку, на которой он и остался, притащив еще своего приятеля Гайка. Теремок был набит до отказа, но было весело, шумно и интернационально. Я зашел на почту, нет ли чего там для нас. В то время я и Варюшка «были притчей во языцах». Ее побег будоражил умы, сердца и сильнее всего кончики языков. Девушка на «до востребовании» не только не улыбнулась, но засияла, впялив в меня свои томные очи. В них горело любопытство и скрывалась некая тайна.

– Слушай, посмотри, какая пришла телеграмма, мы ее прятали, чтобы тебе показать.

Она таинственно протягивает мне бланк и не спускает с меня своего горящего взора, пока я ее читал. «Начальнику милиции поселка Инта. Прошу Вас привлечь к судебной ответственности за многоженство ссыльного Арцыбушева Алексея Петровича. Антонина Емельяновна Арцыбушева. Москва».

Прочитал я сие мерзкое требование и протянул бланк девушке. Она, высунувшись в окошечко, горячо зашептала:

– Что будем делать с этой подлючкой?

– Да передай ее по адресу. Кто и за что меня может судить?

Мало ли кто ко мне может приехать, мало ли с кем я могу спать? Я же не женился!

— Ну конечно, ну ясно, она же не пожелала разделить с тобой судьбу, а теперь «к суду», накось, выкуси!

И в клочья разорвала бланк. Глаза и уши, оставленные Тоней следить за мной, работали славно. Не ясна корысть. Стукач всегда преследует ее.

Александра Ипполитовна мгновенно среагировала на телеграмму и посланное вслед письмо. Она, это делает ей честь, поняла, что все меры, принятые ею, не принесли желаемого. А меры те были суровые, за которые невозможно судить. Получаемыми от меня письмами Варюшка делилась с матерью. Та понимала по рассказанному, что меня ждет дальше в моей «каторжной» жизни, и что ждет ее дочь. Надо было принимать решительные меры, уговоры бесполезны. Редкие мои письма Варюшка перестала получать. Нет писем. Нет и снова нет. А письма шли и приходили, и уплывали через унитаза, разодранные в клочья. Я пишу за всех умерших, пишу, опуская их в трепещущую грудь вольнонаемной аптекарши, а они плывут себе и плывут, мытые струей, исчезая бесследно в сточных водах, вместе с дерьмом, а с ними плывут две жизни, две судьбы, наперекор ее силе. Идут в тоске, в недоумении месяцы, слагаясь в год, в другой. Уговоры уже не те, что были раньше. Перестань метаться, перестань ждать! Он наверняка погиб. Чем объяснить молчанье? Нечем больше. Одна и та же мысль, одни слова. Вероятнее всего, погиб! Сжимается сердце, хоть еще ждет, хоть на что-то надеется, но иссякают силы, наступает безразличие. «Ямщик, не гони лошадей, мне некого больше любить». Жизнь подбрасывает парня, помогает, ищет, получает отпор, но с каждым днем слабеют силы, а с ним и отпор. Я не люблю тебя, я другого любила и люблю. Но его же нет, он давно погиб! Что жить? Что...? Дома все твердят одно. Пора решать свою судьбу. Есть человек, он помогает настойчивей и настойчивей. Все как в темном омуте, и вдруг открытие, подтверждение смутных предчувствий, давно живущих в душе.

...«Моя мать — не твоя, Борис Иванович — не твой отец! Ты — подкидыш, найденный, в газету завернутый. Тебя взяли, пожалели, вскормили и вырастили, моя мать — не твоя, и ты обязана,

слышишь, обязана успокоить их старость, на добро ответить покорностью. Ждать тебе больше некого, он погиб. Надо на этом успокоиться, поставить крест и выйти замуж, благо, есть за кого», – сопротивление сломлено, вопрос поставлен ребром ее старшей сестрой. «Ты не должна, а обязана». Что ответить, что сказать? Тайна открыта. Жестоко, как сама жизнь! Предчувствия не обманули. Я – круглая сирота и те, кого я считала родителями, благодетели. Алеша ушел из жизни, он исчез и быть может погиб, как многие. ЗАГС, скромный стол, бутылка вина, поцелуи, пожелания. Чужой человек вместо любимого открывает ворота жизни. Выкидыш! Судьбою неумолимой все предусмотрено, все предугадано, только мы этого не знаем и слава Богу! Узнали бы, и погасла жизнь.

Рано, очень рано, позвонил кто-то в дверь. Варя, накинув халатик, открыла. В дверях незнакомый человек, ее фотокарточка у него в руке.

– Это вы! Вам письмо от...

Дверь захлопнулась. Сердце выскакивает, накинут крючок в туалете. Конверт разорван. Дрожат руки, глаза пробегают строки знакомого почерка. Жив! Нашелся! Жив! В ссылке навечно! Ни кола, ни двора! Будешь ты – будет все!

Сейчас она лежит рядом, обнимает рукой и шепчет:

– Без тебя я не жила, без тебя я мертва. Без тебя я труп.

Уходит в тот день, последний, из дома. Варя оставляет две записки, одну – матери, другую – мужу, смысл их один, ушла.

Перрон, поезд Москва–Воркута. Подруга на стекле окна губной помадой рисует сердце, их уже разделяет стекло и красное сердце на нем. Поезд тронулся, а впереди жизнь!

Муж ее бросился на поиски. Где искать, свет велик, где тот, умыкнувший его жену? Где найти? Находит среди бумажек адрес: г. Муром, Арцыбушева Мария Петровна. На поезд и к ним в Муром. А там переполох, он требует, он грозит расправой, чтобы успокоить, дали адрес: Коми АССР Инта. Он в дверь, а мне письмо. Трепещут «родившие меня тетушки»: «Алешечка, да как же так, ты влез в беду, ты содейал прелюбодеяние и нас в него втянул, знали бы мы, не стегали бы двуспальное...»

О милые мои, родные, это он у меня увел, а теперь я вернул свое. И это сразу же поняла Александра Ипполитовна. Суженого

на коне не объедешь. Смирилась, простила и стала посылать посылками необходимые Варюшке вещи. А «соблазнителя» вытуривать из дома. Поняв свое поражение, он и сам вскоре ушел, написав мне грозное письмо, на которое я ответил, что не я бежал от него, а его жена, которая не скрывала свою любовь ко мне, ты ж, голубчик, понадеявшись на свои силы, не смог заставить ее полюбить себя больше и сильнее. С меня-то какой спрос?

На этом и затихли все бури, улеглись страсти. Меня не судил народный суд, а Варьку все любили.

«У меня ни кола, ни двора, будешь ты, будет все!»

Писал я эти строчки не для красного словца. Когда я их писал, у меня был свой, хоть и маленький, но свой угол, вернее, комната и кухонька на чердаке старой бани. Это была точка отсчета, с которой можно было начинать свое движение. С потерей ее, я, а затем и Варюшка, оказались на водокачке. Необходимо было, поставив кол, строить двор. Как, где, из чего, я уж не говорю на что? Бедному жениться, ночь коротка. Слава Богу, на Инте ночи длятся месяцами, а посему, главное — не унывать, но кроме этого думать и думать. Как строить — понятно, руками, вот этими, других нет и не будет. А вот из чего? Инта — это полное отсутствие лесоматериала, да и не только досок, бревен, но и каждый гвоздь — проблема. Ночи, вечные ночи. Одну ночь эти мысли волнуют меня, лежа на столе Наумчика в депо, следующую, лежа с Варюшкой за занавесками, преградой для глаз, но не для ушей. О эти уши! Они-то и подгоняли меня больше всех. Мозг сверлила одна единственная мысль: «Из чего строить дом?» Варюшка мирно спит, а мои глаза напряженно смотрят в потолок, там ища ответа.

— Ты чего не спишь? — проснувшись среди ночи, спросила Варька.

— Дом строю. Спи.

И все же однажды ночью озарило. Ба! Эврика. Неужели нашел выход? Ящики! Ящики! Ящики! И доска, и гвоздь. Шесть одинаковых щитов, в каждом по восемь досочек, в каждой доске два гвоздя. Тут пошла уже высшая математика. Ясно, что найден материал и гвоздь впридачу. Нижний венец из старых шпал. Стойки, а их надо очень много, крепежный лес. Его эшелонами гонят на шахты. Из него же верхняя обвязка и стропила. А там — ящики и

триста раз, а то и больше, ящики. Я видел их горы на базе Интторга. Брать самые большие. Бегом на базу. Тары уйма. Нахожу я среди всего этого раздолья ящики, обитые фанерой изнутри. Эврика! Еще и фанера впридачу. Гофрированные, картонные коробки из-под папирос, это же прекрасный утеплитель. Обить им хату изнутри. Шлаку у депо — горы. Им засыпать промеж щитов. Оштукатурить снаружи, печь, и я уже вижу дым идет из трубы. Так я строил ночами, поочередно, то на столе в депо, то в объятиях Варюхи, в них он строился быстрее, а дым валил из трубы до самых небес, от чего Варюшка как-то сказала мне на ушко:

— Я забеременела.

От этого дым повалил еще сильнее. Под всполохи северного сияния, при свете звезд вонзалось острие кирки в девственную утробу вечной мерзлоты. Отступя метров шестьдесят от водокачки, углубившись в «сады Черномора», где сосны и ели дремали, окутанные снегами и морозным инеем, я закладывал свой, наш дом, в чем помогали мне мои лагерные друзья. Сейчас, ночью, я больше не спал и не сторожил, а воровал все, что согдится мне на стройплощадке, все в депо знали, что я строюсь. Наумчик показывал те места, где под снегом могли быть бревна. Ночами и «днями» я закапывал, таскал и возил. Я продал свой новенький костюм, пальто и на эти деньги купил триста ящиков, обитых внутри фанерой, ящики из-под трикотажа. Каждый надо было аккуратно разнять на щиты, вытащить все гвозди, каждый выправить. Щиты рассортировать по одинаковым размерам и отдельно их сложить. Когда я на водокачке объявил о том, что я немедленно начинаю строить дом, ко мне в компанию напросился Гайк. Я отказать не смог, хотя меня это мало устраивало, одному хоть тяжелей, но спокойней. И я был прав.

Дальнейшая жизнь убедила меня в этом. Гайк больше надеялся на мои руки, чем на свои. Впоследствии пришлось твердо поделить стройматериал и поставить вопрос — это твое, это — мое, при надобности я тебе помогу, но за тебя строить не буду. Это всегда ведет к осложнениям, а их и без того уйма.

Гайк поджидал «дэвочку», которая должна выйти на свободу к весне, я же поджидал ребенка к осени, и строить дом для его «дэвочки» я наотрез отказался. Строй сам. Вкопал в мерзлоту

«стулья», толстые столбы, подняв их на метр от земли. На них положили из старых шпал нижний венец. В середине декабря посадил я Варюшку на поезд, и свистнул паровоз. Укатила Варя в Москву на то время, пока я буду строить дом. Чем скорей я его построю, тем скорей она вернется, и мы снова будем вместе. Тут не до Гайкиной «дэвочки!»

Вязать каркас пришлось просить и нанимать знавших это дело людей. Был на Предшахтной кировский мужичок Глебов, малость кривоватый, нога колесом, прихватил он паренька, и мы втроем в два дня связали каркас. В «садах Черномора» над снегом высился скелет будущего очага, радуя сердце и веселя глаз. Целыми днями и ночами я, как ломовая лошадь, таскал, возил, колотил, засыпал шлаком стены. За ночь метели заметали, скрыв под снежными сугробами место, где строился дом. Часами приходилось разгребать снег, чтобы отыскать, сориентироваться и начать работу. Случайно, по привычке взятый в рот гвоздь, мгновенно прилипал к языку, и отодрать его было нелегко. Кровоточили губы. Машинисты, кочегары и весь знакомый и незнакомый народ, кто чем старались помочь. Как-то сижу я в своем снежном котловане, строю, пилю, прибиваю. Слышу, идет по путям на шахту тяжелый состав, паровоз настойчиво гудит: «Ту...Ту...Ту...» Выглянул я из снежной ямы и вижу, летят, втыкаясь в снег, как свечи, бревна крепящего леса. Скидывают, скидывают. Человек строится, помощь нужна. И не знаешь, кого благодарить! Такой на севере закон: суровая жизнь, суровый народ, хлебнувший лиха сполна, а заглянешь в сердце — и жалость в нем, и доброта, и сострадание. Сам через все прошел, знает, одному не под силу, подмога нужна. Так помощь и шла. Бог весть откуда и от кого. Придешь на стройку, а там к стене плита чугунная привалена. Дверца к печке, заслонка. Тот, кто принес, не объявится. Спасибо никому не нужно. Лишнее отдал, да и все. Хасан печку сложил, копейки не взял, а печка что нужно — с духовкой, на две комнаты, с плитой в шесть оборотов. Не было кирпича, у многих спрашивал, сказали, посмотрим и приволокли платформу под самый дом. Разгружай быстрее, чтобы не видели. Так за мизерную плату состряпал мне Глебыч, кировский мужичок, две оконные рамы, дверь входную, стол, табуретки. Правда, все они были малость кривоваты, но дело не в том. В долг



сварганил мне один мужичок две широкие тахты на пружинах, по всем правилам, да еще научил меня, как их делать, как веревками переплет вязать, так до сих пор вспоминаю, когда старую мебель перетягивать приходится. Строился дом хоть и тяжело, хоть и лихо было на сорокаградусном морозе, но стены уж забраны, шлаком засыпаны, потолок подбит, рамы вставлены. Не дует ветер, не заметает метель. Вот уж и печка затопилась, из трубы струится дым. Гайк Мыкыртычеч был славный малый, в то время ему было под полсотни лет. Ожидал он свою «дэвочку», соблазнявшую его своей красотой, по его словам, давно еще, в лагере где-то. Сам он строить или не мог, или не хотел, думал на мне проехаться. Я ему твердо отвечал нет, строй сам, я помогу. Моя половина растет как на дрожжах, потому что строю и день, и ночь, хотя была еще сплошная ночь.

Так Гайк однажды разошелся в своем армянском темпераменте, что бросившись к дому, заорал:

— Сейчас шанхай шпичком поджигай!

Пришлось дать ему мощный апперкот и посчитать над ним: раз, два, три. Гайк поднялся, потрогал челюсть и сказал:

— На мэсте.

Взял топор и начал строить себе дом, а я ему помогать. Дело пошло и у него. Девочкам дом строить надо. К сожалению, мне не раз приходилось кулаками приводить Гайка в чувства. Таков был Гайк. Но как ни странно, вражды между нами не было.

Внезапно грянул гром! Грозные тучи нового террора нависли над многострадальной страной. Все притихло, затаившись в ужасе, в ожидании новых страданий, неминуемых, неизбежных. Пища вампира — кровь. На костях и на крови создавался, строился коммунизм с его сверкающими высотами.

Все для народа! Все во имя народа. Народ трепетал, народ и славил. Одних уничтожали, другие требовали уничтожения. Одни сидели за колючей, другие стерегли, изощряясь в своей злобе. Брат предавал брата, дети — родителей, жены — мужей, мужья — своих жен. Так строилось светлое будущее всего человечества, для успешного его осуществления требовалась новая кровь, новые жертвы. На сей раз «изверги рода человеческого — врачи». Через мощные репродукторы мир был оповещен об их злодеяниях.

Газеты наполнены проклятиями. Летучие митинги на заводах требовали смерти: «Кровь их на нас и на детях наших!»

В лагерях ужесточался режим. Комендатура усиливала надзор над ссыльными. Хищные глаза искали жертв. Полковники потеряли свой мирный сон. Разбуженные по тревоге, они с неистовством принялись раскручивать колеса всех своих адских машин. По лагерям пошли этапы невесть куда. Каждый день приносит все новые и новые подробности об их, врачах, коварных замыслах. Они подняли свои грязные кровавые руки на жизнь вождя! Левитан трагически сообщает миру о новых признаниях. Следствие продолжается.

Что нас ждет? Снова лагерь? Спрашиваем мы друг друга. Опускаются руки. Мой очаг, моя надежда, в нем уж топится печь, и дымок струится в небо. В нем все наполнено любовью, надеждой, каждый вбитый гвоздь — свидетельство тому. Опускаются руки, слабеет надежда. Впереди мрак.

Свою судьбу никто не знает. Сейчас, когда уж прожита жизнь, и ты ее видишь, всю досконально, от края и до края. Видишь промахи, ошибки, порою страшные, непоправимые. «Человек — кузнец своего счастья», но кует он только сегодняшний день, не зная завтрашнего.

Так строил я свой очаг в те суровые дни, когда «людоед» предвкушал свой кровавый пир. Строил с молитвой «Да минует меня чаша сия». «Хватит человеку заботы сегодняшнего дня, не пекитесь о завтрашнем». А заботы сегодняшнего дня искали доски на пол. Ящичные были тонки и ненадежны. Доски достать в Инте то же самое, что клад найти. Я все ночи напролет, когда сторожил депо, рыскал в разных поисках пригодного. Вышел я в одну из таких ночей на промысел. На путях стояли два пульмана. Я приоткрыл тяжелую дверь, в раздвинутую шелку увидел и ахнул. Нары в два этажа. Доски, доски, сороковка. Это пол, пол, которого нет, и без которого обойтись невозможно. Я сбегал в депо, притащил лом, гвоздодер и приступил к полезному труду на благо родины. На дворе пурга, метель. Я скидывал доску за доской, раскладывая их, стеля, как пол, на снегу недалеко от вагонов. Носить в дом было опасно. Я курочил вагоны, подготовленные под этап. Найдут — каторга!

Снег, пурга заметали их, нанося сугробы. Так я демонтировал два пульмана. За короткое время сугробы снега скрыли мое преступление, похоронив его в своем белом чреве. Убедившись в своей неповинности и в сохранности клада, я заснул на столе мертвым сном человека, достойно потрудившегося. Разбудил меня толчок в плечо. Предо мной стоял Наумчик.

— Вставай! Пойдем!

По его лицу я понял важность события. До депо мы молча шли, Наумчик впереди, я за ним. Шагнув за ворота, сердце мое екнуло. У раскуроченных мною вагонов сплошные папахи над квадратными плечами, сверкающие погонами. Собаки на поводках. Пульманы настезь открыты, собаки нюхают своими мордами полы.

— Стой тут, — скомандовал Наумчик, остановив меня на приличном расстоянии от собак и полковников.

— Вот сторож, — сказал он, указывая на меня. — Но он не отвечает за пути и все, что на них. Он сторожит только контору и депо внутри. Вам необходимо было поставить меня, начальника депо, в известность о том, что вы ставите на подъездных путях, тогда я обязал бы сторожа следить за ними. Вы это не потрудились сделать. А поэтому вы ни с меня, ни со сторожа не имеете основания требовать отвечать за вашу оплошность. Доски многим нужны, они здесь на вес золота, нашлись люди на брошенные вами вагоны и, конечно, воспользовались.

Полковники смотрели на меня, я невинными глазами смотрел на них. Монолог Наумчика был обезоруживающим.

— Сторож может идти? — спросил Наумчик.

— Пусть идет на х.., — рявкнул полковник.

Долго еще они лаялись промеж себя густым матом северного фольклора, уминая снег, под которым покоились их доски. Сегодня намеченный этап не состоялся. «Кукушечка» подцепила два пульмана, свистнула приветливо, выпустив лишний пар, и потащила их на ДОК. Махая руками, сотрясая воздух «бедной мамой», разошлись папахи по своим кабинетам заниматься излюбленным «творчеством». На сегодня я им испортил настроение.

Я сидел в конторке, внутри еще что-то пульсировало, наверно, каторга. Вошел Наумчик. Пристально взглянув на меня, спросил:

— Это ты раскурочил?

– Я, Наумчик!

– Я так и знал, молодец!

Наумчик понял все, и потому, боясь собак, остановил меня на расстоянии. Он спас меня от неминуемой тюрьмы.

– А где ты их умудрился спрятать?

– Они, эти гады, стояли на них. Пурга все замела.

– Ты шел на страшный риск, хорошо, что так все обошлось.

Смотри, вытаскивай их осторожно, чтоб ни-ни, никто не знал и не видел. А ты еще говоришь, что не айд!

– Русский вор не хуже любого айда, только он больше по мелочам разменивается.

Ложится доска к доске, стягивается клином, чтобы плотней, застилается пол. Что ни доска, то год тюрьмы, а сколько их этих досок, этих неотсиженных лет. Чтобы скрыть их подальше от любопытных глаз, застелил я их фанерными листами, покрасил суриком и спокойно вздохнул.

А скорбный голос Левитана несет миру новую, страшную, грустную весть: «Пульс слабый». Отец родной, друг народов, вождь мирового пролетариата – дышит на ладан! Неужто невечный? Может и подойдет, скотина? Натаилось сердце в разных чаяниях. В одних тревога, в других надежда. Кого больше? Об извергах ни слова, утихла жажда крови. Надвигается всенародная беда.

Пятое марта 1953 года. Весна! Короткий, но день, меняет непроглядную интинскую ночь. Я сижу на крыше и крою ее рубероидом. По путям идет машинист, завидев меня, кричит:

– Слезай, Леха! Сталин подох!

Я кубарем скатился с крыши, прямо в сугроб. По шпалам в депо. Навстречу Наумчик, глаза в слезах. «Сталин умер», – скорбно лепечет он.

– Не умер, а подох, Наумчик! А ты что, глаза под краном что ли намочил?

Гудит народ, как растревоженный улей, у всех прискорбные лица. Бойтся человек чужого глаза, радость сердца скорбью лица прикрывает, так оно надежней. Льются скорбные симфонии, фуги Баха, грусть Шопена. Рыдают репродукторы, надрывая сердца. В скорби затихла тундра, потухло небо, льется горе всенародное, ушел из жизни людоед. Да как же без него, да что же будет?

Кто нас теперь стрелять и вешать будет? Трудно, туго русскому без палки, спина привыкла быть согбенной! Человек приучен быть рабом.

Все на траурный митинг, все на погребенье «корифея всех наук». В трауре знамена! В трауре «любимые черты». Папахи сняты с головы. Их мыслящие лбы напряжены печалью. Их красные загривки бледны сегодня. Палачи хоронят палача. Плачут жены, слезами омывая собольи меха. Плачет тот полковник, что плакать не умел, льются слезы, сморкаются носы, а Левитан народу сообщает, что саркофаг поставлен на лафет. Крики, стоны, обмороки у дам, восковую куклу на лафете вносят в мавзолей. Теперь там их двое, один начал, другой продолжил. Две святыни всенародные под стеклянным колпаком. На трибуне, затянутой черным крепом, свиные рожи всех мастей, исполнители умершей воли, палачи из палачей. Халилов, грозный князь всея Инты, подходит к микрофону. Дрожащим голосом орет: «Товарищи, мы понесли, — голос прерывается слезой, рыдают дамы, трут полковники платками красные носы. — Товарищи, мы понесли невосполнимую утрату (будем надеяться). Закатилось солнце (чтоб оно и не восходило во все. «Закатилось...» Это их закатилось солнце! Сволочи!) Но в эти скорбные дни мы еще тесней должны сплотиться вокруг.. Чтобы в этот скорбный час доказать всему миру, что мы верные продолжатели им начертанных идей! Дело Сталина не умрет. Оно для нас «живее всех живых»! Пусть запомнят враги, что свой меч мы крепко держим, и он в надежных руках!

Прикрыли лысины и плечи серые папахи, сморкнулись и ушли по кабинетам точить мечи.

Все это слушал я, стоя за колонной в позе горя неутешного, вздрагивая плечами, иногда время от времени сморкаясь, не поднимая своего лица, ибо оно светилось радостью и надеждой, смутной, хрупкой, но надеждой. Надежды полковников и мои были разными. Они пошли оттачивать мечи, ибо это был их хлеб, особеняки, собольи шубы, жирные дамы в них, вся сила власти над народом. Власть его — топтать...

А я пошел точить топор, чтобы строить свой дом и, быть может, не во «веки веков», как того хотели сплотившиеся вокруг.. Скоро, очень скоро их отточенные мечи не усекли главу «врагам

народа», и они вышли на свободу, а еще спустя немного, голова Лаврентия легла на блюдо. Там, на севере, мы больше всего боялись, что на его главу наденут корону самодержца и помажут на царство. Этого, к счастью, не случилось. Берию обскакали, короны надели другие.

Очень скоро на вокзале я встретил Варюшку, в ее недрах новая жизнь подросла заметно. Новенький дом стоял в «садах Черномора». Жарко натоплена печь, занавески на окнах, широкая тахта, стены оклеены обоями под персидские ковры. Стол под скатертью, а на нем все нужное, чтобы обмыть очаг. Пока я тут строил дом, Варюшка посылками слала все нужное для уюта и необходимое для жизни, в том числе и гвозди. Пир горой. Все идите к нам. У нас сегодня праздник. Мы снова вместе, и у нас свой дом! Звенят стаканы, руки с ними подняты к потолку! «За тех, кто в море! За тех, кто там! За тех, кто здесь, за тех, кто с нами! За тех, кто в беде с тобою рядом!»

К приезду Варюшки в окошко, не по-северному большое и высокое, светит солнце. Отступила полярная ночь, погасли огни северных сияний. Улеглись метели, спрессовался снег. Апрельское солнышко освещает стены дома, ложится на пол большим квадратом. За окном «сады Черномора» стоят в весеннем пробуждении. Мощные кристаллы сосулук, как сталактиты, искрятся всеми цветами радуги, спускаются с крыши, упираясь в сугробы снега. Светло, тепло и чисто. Большая комната со столом и абажуром над ним, широкая тахта под покрывалом, рядом тумбочка с приемником, а в нем «голоса», «голоса», сквозь рев глушилок слышны. Умер «кровавый прокурор» Вышинский! Достойный ученик своего учителя. Некролог, потрясающий количеством невинных жертв. Над тахтой пейзаж собственной кисти: течет речка Инта среди серебристых ив. Встроенный шкаф в ногах тахты, а в нем на вешалках и на полках висят и разложены необходимые вещи. Большое «зеркало» белой печи с духовкой. На кухне плита, постоянно горящая. Вечный огонь и вечное тепло. Около нее дверь в маленькую комнату с одним окном, в него видно вдаль стоящее депо с паровозами на путях, котельной, домик Наумчика, чья молодая жена в панбархате, чтобы не отставать от моды, выносит помойное ведро. Скоро она сбежит от него к молодому в надежде на парчу.

Гулямчик покинул водокачку, найдя себе молодую бабенку Соньку с пацаном, и поселился со своей молдаванкой в домике возле депо.

К Гайку, наконец, приехала красавица «Вэра»! Молоденькая, держи ухо, Гайк, остро. Понимая это, Гайк даже сортирчик выстроил под самым окном. Мы все организовали «ленинский субботник» и таскали бревнышки, дабы помочь Гайку отстроить свой «шанхай» к ее приезду. Гайк сидит на крыше и оттуда кричит:

– Вэра. Вэра!

– Что, Гайк Мыкыртычеч? – кричит она из дома.

– Дай мнэ одын гвозд!

– А где он?

– Под кроватью, в ныжнем чимаданэ!

– Какой? – кричит девочка из комнаты.

– Нэ большой, нэ маленький... срэдный!

Этот диалог свидетельствует о том, сколь ценен гвоздь.

Маленькая комнатка в нашем доме предназначалась для временно бездомных. Расписавшись в комендатуре о грозящих тебе двадцати годах каторжных работ, ты не знаешь, где приклонить свою голову на некоторое время, пока не очухаешься, не осмотришься. Здесь необходима помощь тех, кто уже осел. Яшка Хромченко осел в общежитии, это не малина: что барак в лагере, что общежитие – один муравейник. К Яшке хотела приехать мать, а где ее устроить? Яшка пришел ко мне. Милости просим, комнатка к твоим услугам. Анна Яковлевна не заставила себя долго ждать. Милая московская дама. Яшка от нас уходит только на ночь. Анна Яковлевна каждый день грозитя напечь пирогов и нас угостить. Время идет, тесто не ставится, мы терпеливо ждем обещанного. Она жила своим хозяйством и Яшку кормила в комнатке. Надо сказать, что материально мы жили весьма скудно. На 360 рублей, 36 нашенскими, не разгонишься. Пирожков, ох как не мешало бы, тем более, что каждый день о них вспоминала сама Анна Яковлевна. Накануне ее отъезда в доме сперва запахло всеми ароматами сдобного теста, а к вечеру у нас текли слюнки от душистых пирожков, горячих и пышных, исчезнувших в ее сумке. Наутро мы все пошли проводить гостью на Предшахтную. Я загодя разнюхал, по струившемуся аромату, сумку с дорожными пирогами и взялся ее

нести. Остальные вещи распределились между провожающими. По дороге я отстал. Очень быстро все пирожки перекечевали ко мне за пазуху. Помахали мы ручками и вернулись в дом. На столе лежали обещанные пирожки.

— Откуда это!?! — воскликнула Варюшка.

— Это Анна Яковлевна нас угостила, кушай на здоровье.

— Да нет, да неправда, она их в сумку уложила. Откуда они у тебя оказались?

Пришлось каяться, уплетая долгожданное. Вкусны ж они были!

Перед отъездом Анна Яковлевна долго думала, что нам подарить. Выбор ее пал на корыто, вещь весьма нужная. Появилось у нас корыто, но ненадолго. Скоро Яшка женился на чудесных волосах, о которых он писал стихи, слагал поэмы и захлеб читал нам, восторгаясь ее волосами. О ней пока мы только знали, что она вольняшка, комсомолка и в придачу еще и доктор. Все это промеж прочего, если бы вы видели, какие волосы! В первую брачную ночь легли эти волосы своей пышной копной на тумбочку у изголовья новобрачных. У бедного Яшки отвисла челюсть. Волосы на голове его комсомолки были, что называется, невзрачные. Во чреве плод! Когда он появится на Божий свет, его надобно холить и лелеять, а следовательно и купать. Пришел к нам как-то Яшка, чешет затылок и говорит:

— Тут мама у вас корыто для меня оставила, где оно?

— Вот оно, Яшенька, вот возьми его, а то оно нам мешает, вешать негде.

Пирого и корыто — мелочи жизни, мама без пирогов добралась до Москвы, а мы себе купили свое корыто. Дружба не в корыте, Яшка оставался Яшкой, и мы любили его поэмы о волосах, которые он продолжал читать, заикаясь от восторга и присвистывая. Скоро и мы увидели Яшкину страсть. Шиньоны ее были шикарные.

Кредиторы стучались в дверь! О нищета, нищета! Но долги необходимо отдавать, вот проблема: где раздобыть презренный металл? Снова углубленное раздумье. Где? Лучше всего находить ответ на эти вопросы, лежа на спине, глядя в потолок. Но, умоляю Вас, не думайте, что это так просто — лег и нашел! Необходимо время и фантазия, некая склонность к авантюре, без этих компонентов



лежи, не лежи —ничего не вылежишь. Я залег с надеждой и упованием. Крутились колесики то в одну сторону, то в другую, перебирая идеи. Тут у тебя большое сходство с наседкой, сиди, в данном случае лежи, пока не снесешь яичко, пусть идею, мысль яркую, в которой бы, как в яичке, был зародыш. Курочка, снеся яичко, кудахчет.

— Варюшка, сколько у нас наличных в кармане?

— А сколько тебе нужно?

— Нужна десятка, есть?

— Надо посчитать, а на что она тебе?

— Нужна позарез.

Десятка в кармане. Ноги шагают в поселок. По дороге встречаю Наумчика Мигдоловича.

— Ты куда, Наумчик, путь держишь?

— А ты куда?

— В аптеку.

— А что тебе там надо?

— Две сотни презервативов.

— Так много? А в одни руки дадут?

— Вот я и сам боюсь, что не дадут. На Инте этот товар в дефиците.

— А почему именно двести?

— Наумчик, ты же знаешь, я человек запасливый. Пойдем вместе, ты сотню и я сотню.

— Пойдем, это забавно.

Приходим, спрашиваем: «Есть?»— «Есть».

— Будьте так добры, сотенку!

— Так много?— удивилась девушка.

Наумчик сует ей деньги и говорит:

— И мне заодно столько же.

Та смотрит с недоумением то на меня, то на Наумчика.

— А мы с ним в командировку едем, — лукаво улыбаясь, сказал Наумчик.

Две упаковки в кармане.

— А сейчас ты куда с этим товаром?

— Цветную тушь куплю и домой.

— Ты их еще и красишь? Для чего?

– Так оно веселей! Заходи.

Я пришел домой и начал изучать алхимию. Макну – высушу. Красятся! А я боялся, что к резине не пристанет тушь. Очень скоро все было покрашено в красный, зеленый голубой и синий цвета. Сильно поднатужившись, я выдувал из первоначальной формы огромные воздушные шары. Вырезав из резинки пятиконечную звездочку, я начал на надутых шарах разведенной бронзой штамповать золотые звезды. Получалось шикарно, то что надо.

Все это время Варюшка в недоумении наблюдала за мной, а потом спросила:

– А дальше что?

– Дальше – пять рублей штука!

В один из теплых весенних дней, в воскресенье, когда по «Бродвею» толпами туда и обратно величественно и плавно шествует интинский бомонд в шелках и бархате, с декольте, детки их все в бантах, а полковники без папах и грудь в орденах надута, как у петухов, я вышел на «Бродвей» с гирляндой крашенных презервативов. У шаров давка! «Мне! Мне! Мамочка, шарики! Мамочка, папочка, шарики, шарики!» Пятерки не успевал совать по карманам, миг раскупили всю гирлянду. Не плачьте, дети, не тоскуйте, мамы, дяденька сейчас придет. У Каска в билиардной идет накачка, трудная работа. Снова ажиотаж, «бабеты» рвутся в бой, как за мануфактурой, того гляди царапаться будут. Осталась последняя гирлянда. Толпу прорезал милиционер. Откуда он взялся? Дети тянут руки: «Мне, мне».

– Почем торгуешь? – спросил блюститель порядка.

– Пять, с тебя дешевле!

– Откуда приехал?

– Беда в том, что уехать не могу.

– Развязывай свои шары и пойдем. Я тебе покажу, как детскими сосками торговать.

Я с гирляндой пошел в милицию. Слава Богу, каждый раз прибегая к Каску за новой партией, деньги я оставлял у него.

– Я тебе сказал, развязывай!

Я зажег спичку и после пах, пах, пах – шарики лохмотьями бессильно повисли.

– Что ты сделал? Я ж сказал, развязывай и уходи.

Развязать я не мог, иначе открыл бы секрет «яичка», которое снес, как курочка, лежа на тахте.

В «садах Черномора» веселье и смех. Стаканы налиты, подняты. В этот славный вечер много собралось друзей в нашем уютном домике. Все прибежали поздравить «курочку», снесшую голубые, красные, синие и зеленые шарики с золотыми звездочками, которые медленно, но верно, принимали первоначально заложенную в них форму. Это у всех вызывало веселье и смех, каждый вспоминал торжественное шествие «бомонда» в тот теплый весенний день.

Много лет спустя меня неоднократно просили рассказать об этом забавном случае, когда мы с друзьями вспоминали «дела давно минувших дней».

Дни сменялись днями, недели неделями, так пробежало короткое полярное лето. Приближалось время появления на свет Божий новой жизни, зачатой на водокачке, под шорох крысиных лапок и завывания ветра за окном. В середине сентября Варюшка уехала в Москву, а я вновь остался один. По дому было много неоконченных работ, необходимо до холодов утеплить еще неутепленное и прибить неприбитое, чтобы зима не застала врасплох. Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Так и я, потеряв комнатку на чердаке старой бани, благодаря человеческой подлости, не мог себе и вообразить, что через год у меня будет вот этот домик, стоящий вдалеке от суетного мира, в «садах Черномора», в три раза больше, чем та, отнятая. Скоро, очень скоро нас будет трое в нем, а дальше, быть может, и больше. Больше всего удручала меня моя нищенская зарплата. На эти гроши одному не прожить, а как же втроем? Тоненьким ручейком текла помощь от «родивших меня тетушек», но можно ли на нее рассчитывать? Пока в этом отношении никаких перспектив не было, я все так же сторожил депо, правда, имея к основному окладу 20% надбавки северных, но это не решало вопроса, т.к., к примеру, мясо можно было купить только на рынке, не килограммами, а целой тушей оленя, которая стоила семьсот, а то и больше, рублей. Все овощи и фрукты были только привозными, а цена на них рыночная, для меня недоступная. Все эти вопросы, естественно, меня мучили, торговать шариками я больше не мог, так как всем было ясно их происхождение. Ясно, что это была разовая авантюра, так

легко сшедшая мне с рук. Долги меня больше не мучили, с ними я разделался, ну а дальше что? Наумчик знал мое тяжелое положение и обещал мне при первой возможности помочь, но пока ничего не было, и мне ничего не оставалось, как терпеливо ждать.

В конце сентября в моем доме появился Яшка Латке, мой приятель по Абезю. У парня ни кола, ни двора, как у всех только что освободившихся. Необходимо время осмотреться, устроиться, найти постоянную крышу над головой, т.к. над каждым из нас висела «вечная». Мне крайне посчастливилось за полтора года ссылки решить все главные проблемы ссылки жизни. Наголодавшись по жизни, Яшка начал сходу решать не самые главные свои проблемы, как крыша и хлеб, а имея все это у меня, завел любовные шашни с Вэрочкой, Гайкиной «дэвочком». «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня, я огня не боюсь». Грозный старый муж потерял покой, сперва подозрения, затем улики за уликами. Пошла в ход шуровка вдоль хребта Вэрочки. Та орет: «Спасите!». Гайк орет: «Нэ подходы, убью!» Свалки, драки, крики, визги. Яшка прибегает с рассеченной головой, кровь как из поросенка. Гайк подкараулил и саданул ломиком. Гайк кричит: «Шанхай шпичком подожду». А я жду Варюшку с младенцем, который вот-вот должен родиться.

Пятого октября 1953 года родилась рыжеволосая Маринка, так ее окрестила Варя, а месяц спустя я их встречал на станции. К тому времени Яшка еще жил у меня, т.к. не мог же я его выкинуть в никуда. Драмы то утихали, то разгорались с новой силой.

А в это самое время Наумчик меня обрадовал. В парокотельной освобождается место кочегара.

— Пиши заявление и иди с ним к Певзнеру.

Заявление написано, а в нем сплошные слезы. Жить не на что, грудной ребенок, семья попросту голодает. Прошу перевести меня на работу кочегаром. Большой кабинет начальника транспортно-отдела комбината Инта — Уголь. Вожди пролетариата все в ряд, под ними — маленький «батька Махно», еле видный за огромным столом.

— Что надо? — враждебно глядя на меня, заорал Певзнер.

— Да, вот заявление.

— Короче! Я не могу со всяким рабочим дольше минуты говорить.

Я пытаюсь объяснять, как можно короче суть дела, о тяжелом положении семьи, о ребенке...

— Меня ваши дети не интересуют. Мне наплевать на то, что вам не на что жить, я не собираюсь вас никуда переводить. Слышите? Можете искать себе другое место, я вас увольняю!

Я стоял, и каждый мускул мой дрожал не от страха, а от желания задушить эту лохматую мразь.

— В таком случае напишите на моем заявлении вашу резолюцию!

Я подал ему бумажку. Росчерком пера в углу наискось он написал: «Отказать!» — и расписался. Я, не помня себя от неистовства, выхватил из его руки свое заявление и поднес кулак к его роже.

— Ну, сволочь... — дальше мощное ругательство, начинающееся с буквы «е..» — Это заявление будет лежать на столе Хрущева!

Мою решимость я подтвердил таким пушечным ударом двери, что зазвенели стекла и покосились вожжи пролетариата на стене.

Вся переписка ссыльных шла через цензуру, зная это, я попросил Варюшку срочно поехать на станцию и опустить мое письмо Хрущеву прямо в почтовый вагон скорого поезда Воркута — Москва, что она и сделала. Содержание моего письма было коротким. Вот его текст: «Уважаемый Никита Сергеевич! Направляю Вам мое заявление на имя начальника транспортного отдела комбината Инта — Уголь тов. Певзнера, у которого не нашлось двух минут прочитать его, о чем свидетельствует наложенная им резолюция. Надеюсь, что у Вас найдутся эти две минуты, и Ваша резолюция будет более человеческой. С уважением Арцыбушев Алексей Петрович, вечно ссыльный, пос. Инта Коми АССР транспортный отдел, паровозное депо».

О своем письме Хрущеву я никому не сказал, а терпеливо стал ждать результата, который не заставил себя долго ждать. Недели две спустя Наумчик меня спросил:

— Ты что-то куда-то писал?

— А что? — спросил я.

— Да так! Там в отделе секретарь парторганизации тобой интересовался. Спрашивал, кто ты и что ты.

— И что ты ему сказал?

— Сказал, как есть. Кому ты маханул жалобу?

— Хрущеву!

– Они там получили что-то из ЦК, жди, придут к тебе целой комиссией.

– Я их встречу с пирогами.

К вечеру заявили человека три с вопросом:

– А ну, покажите, как вы живете. Да у вас тепло! Уютно! А это кто?

– Это мой товарищ, недавно освободившийся, ему пока жить негде, вот я его и приютил на время. А вы, собственно говоря, для чего ко мне пришли? Температуру мерить, уют проверять, что вам надо?

– Посмотреть, как вы живете!

– Как живу или что ем? Смотрите.

Я высыпал на стол из посылочного ящика сухари, вылил овсяный отвар из Маришкиной бутылки.

– Смотрите! Попробуйте!

Обшарив все углы своим пронизательным взором, «комиссия» выкатилась.

Дня через два меня срочно вызвали в транспортный отдел, за мной прибежал Наумчик:

– Беги скорей, тебя там комиссия ждет.

Я не побежал, а пошел, пусть теперь они побегают. Я уже знал, что из ЦК им пришла бумага, на которую необходимо срочно отвечать.

Пришел. Сверхъестественная вежливость. «Садитесь, Алексей Петрович». За столом несколько человек, над столом все те же «вожди».

– Вы писали в ЦК, Алексей Петрович?

– Не в ЦК, а Хрущеву!

– Нам пришла бумага из ЦК, познакомьтесь.

Секретарь протягивает мне, как у нас водится, конвертик, к конвертику бумажка к бумажке – все на скрепочке. Сперва мой конверт, затем цековский. Мое заявление Певзнеру с резолюцией «отказать», мое письмо Хрущеву и бумага из «промышленного отдела ЦК», в которой предписывается секретарю парторганизация Комбината Инта – Уголь тов. такому-то немедленно разобраться и сообщить в ЦК. Ознакомить т. Арцыбушева А.П. с материалом обследования. Вслед за этим секретарь подает мне составленный ими материал обследования.

– Прочитайте и подпишитесь!

Внимательно прочитав заключение комиссии, я протянул его секретарю и твердо сказал:

– Такой документ я подписывать не буду.

– Почему это не будете?

– По той простой причине, что все, что вы пишете, ложь.

С первых же слов вы стараетесь подчеркнуть, что я вечноссылный, осужденный за антисоветскую деятельность, что к данному вопросу не имеет ни малейшего отношения. В своем письме Хрущеву я сам говорю, кто я. Я не лишен никаких прав, я член профсоюза, я имею право выбирать и быть выбранным. Я имею все права, которыми обладаете вы, за исключением свободного передвижения. Дальше вы пишете, что я живу в доме, построенном при вашем содействии и помощи. Покажите мне документы хоть на один гвоздь или доску, полученную мною от вас, от транспортного отдела. Дальше вы пишете, что я соержу жильца в своем доме, с которого беру плату. Вы можете это доказать? Не сможете, потому что это ложь! Вы лжете, указывая в своей бумаге, что я в настоящее время учусь на курсах машиниста парокотельной и по окончании курсов буду трудоустроен по специальности. Ни на каких курсах я не учусь, и вы это прекрасно знаете. Единственно, на что у вас хватило совести, в конце всей вашей лжи, констатировать: материальное положение семьи тяжелое. Я ничего подписывать не буду, пока вы не соизволите ответить по существу дела. А существо дела мною предельно изложено в моем заявлении на имя Певзнера, которое он не потрудился прочесть, что я попросил сделать за него Хрущева. ЦК требует от вас рассмотреть и ответить по существу поставленного мною вопроса. Резолюция Певзнера была бесчеловечной и хамской, и вы это должны подтвердить.

– Певзнер погорячился, может же человек погорячиться?

– Не имеет права, я совсем не жажду его крови и мести, я требую справедливости, на которую и у вас нет мужества. Я могу быть свободным?

– Нет, давайте вместе составим нужную бумагу.

– Составлять бумаги – ваше дело, но я подпишу только ту, которая будет соответствовать действительному положению дел. Я подожду, а вы составляйте.

Я вышел. Минут через двадцать меня пригласили снова в кабинет. Новая бумага лежала на столе. В ней говорилось о том, что комиссией в составе (перечисление членов комиссии) было обследовано материальное положение семьи Арцыбушева, которое соответствует его заявлению от такого-то числа на имя начальника транспортного отдела комбината Инта — Уголь, в соответствии с чем т. Арцыбушев в ближайшее время будет трудоустроен машинистом парокотельной депо.

— Что вы имеете ввиду «ближайшее время»?

— Ну, несколько дней, пока все оформим.

Я подписал бумагу, пожал руки честным членам комиссии и вышел.

Проходит неделя, вторая — тишина. В котельной нет кочегара, а меня нет в котельной. Наумчик жмет плечами. Отдел кадров молчит. Я сторожу депо. Мне все это надоело, и я махнул в комбинат Инта — Уголь прямо к секретарю комбината. Все те же вожди мирового пролетариата выглядывают из своих мощных бород и грив, постепенно лысея и бреясь. Под ними секретарь, перед секретарем положенное мною письмо на имя нового вождя, совсем лысого, ведущего всех нас к коммунизму. Глазами пробежав мое новое письмо Хрущеву, секретарь вскочил, как ужаленный. В своем вторичном письме я писал, что несмотря на указания ЦК, я до сих пор не трудоустроен, и что парторганизация комбината просто-напросто отписалась, обманув ЦК, что я обеспечен материально.

— Вы до сих пор не трудоустроены?!

— Как видите. Я пришел предупредить вас, что я вновь вынужден беспокоить Хрущева. Сегодня же это письмо мною будет отослано.

Он схватил трубку.

— Отдел кадров?...

Как не лопнула мембрана! Как она выдержала бурю матерной ругани маленького вождя интинского пролетариата? Красный, как рак, он орал в трубку:

— Какие восемьсот? Я вам покажу восемьсот! Тысяча двести! Слышишь? Тысяча двести! Плюс все северные. Сколько вы тут у нас лет? — обратился он ко мне.



– Если с лагерем, то шесть с половиной, в ссылке полтора.  
– Плюс тридцать процентов северных! 1560 с завтрашнего дня, понял?

Маленький вождь бросил трубку.

– Вы слышали? Немедленно идите в отдел кадров, получите приказ на руки, в случае чего — звоните. Я здесь и сижу, чтоб защищать интересы рабочего класса!

Портреты вождей смотрели на меня со стены, добродушно ухмыляясь.

– Я в этом глубоко уверен, поэтому и пришел к вам, прежде чем отослать это письмо.

– Ради Бога, не пишите больше никуда, тут же ко мне, по всем вопросам ко мне. Вам могут мстить за то, ваше первое, только ко мне и больше ни к кому.

(Хрущев из золотой рамы шептал мне: «Мы им покажем Кузькину мать».)

Он разорвал в клочки мое второе письмо и бросил его в корзину. «Мы будем защищать ваши интересы. Мы, партия! И я для этого поставлен!»

(Ленин хихикнул, Маркс нахмурил брови, Энгельс покачал головой).

– Неужели? Как приятно это слышать!

Рука партии пожала руку вечноссылному пролетариату.

На следующий день, голый по пояс, я шуровал целые сутки поочередно два Шуховских котла, открывал вентили, пуская пар по разным системам труб. Манометры показывали давление пара в котлах, моим напарником был Хасан, сложивший мне замечательную печку. Котлы гудели, насосы качали, прибежал Наумчик и спрашивал: «Ну, как?»

– Порядок, Наумчик. Работа пыльная, но денежная.

Через каждые шесть месяцев десять процентов надбавки. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей. Шея тоньше, но зато длинней!

Скоро в сенях домика висела оленья туша, а на кухне стояли мешки с российской картошкой, а в бочке квасилась капуста. Певзнер, завидя Варю по дорогам Инты, останавливал свою машину и подвозил ее, по-джентльменски открывая дверцу. Мне никто не

мстил, ибо я хорошо усвоил закон Севера: «Отстояв свое право, не показывай виду, что ты победил». Я и не показывал; без подхалимства, без согбенной спины, с достоинством и уважением я встречал Певзнера, никогда не показывая ему вида, что между нами бегали кошки, туда и обратно, из ЦК. Он что-то понял и всем видом своим старался это показать.

Я шуровал свод котла, Певзнер мылся в душе, Варюшка жарила бифштексы. Яшку, к сожалению, мне пришлось попросить покинуть мой дом, т.к. в один прекрасный вечер Гайк перебил все стекла в моей хате. Не бить же мне его окна! Яшка ушел и увел с собой Гайкину «дэвочку». Я вставил стекла, а Гайк привел вместо Вэры Сусанну, по годам и нраву более спокойную, уравновешенную и скромную. Бури утихли, страсти улеглись. Воцарился мир! Маришка росла и крепла духом на сорокаградусном морозе, в «садах Черномора», закутанная, лежа в большом ящике, оставшемся от строительства дома.

Гайк справлял свой медовый месяц так же бурно, как бил стекла. Жизнь текла, топились печи и день, и ночь, хотя давно уже была сплошная ночь. Мерцали звезды, сияло небо всполохами сияний, и в небеса нестигаемо струился дым, как жертва Авеля из всех интинских труб.

Нелегко труд кочегара, особенно в зимнее время. За сутки приходилось перелопатить тонны угля. С платформы в лоток, из лотка в котлы, там мороз, тут несусветная жара. Все вручную, все лопатой. Самое тяжкое — чистка котлов. Угар от раскаленного шлака, жар открытых топок, неподъемная тяжесть носилок, а их много, и тащить их на гора. Вьются ноги жгутом, руки вытянуты до отказа, до предела, каждый шаг отдается в висках, каждый вздох — последний. Если ночью один прикорнет малость, другой — шурует за двоих. Все внимание приковано к стрелкам манометров, ни поднять — сорвет клапаны, ни опустить, упустишь — беда, трудно, очень трудно снова поднять, потом изойдешь, замотает лопата. И так целые сутки. Глаз на манометре, другой — на водомерном стекле. Подкачаешь воду в котлы, пар упал, стрелка вниз ползет. Уголь лопатой, словно сено косишь, а совковая не в подъем. Свалили смену, слава Богу, в душ скорей. Черные потоки, словно кровь по телу, бегут от самых плеч до пят. Вздыхает тело облегченно,

двое суток впереди любви и покоя. Спать, спать, спать! В маленькой комнатке тахта, а на ней распластанное тело, усталое, но счастливое. Ошейник от цепи не тер и не давил мне шею, у меня было все: дом, рядом со мной любимая жена, к которой кроме любви и нежности я ничего не питал. Это было то существо, которое я обожал и ради и для которого я не жалел ни себя, ни своих сил. Всю самую грязную, самую черную и тяжелую работу я делал с любовью, стараясь облегчить всячески для Варюшки трудную жизнь крайнего севера. Я помнил, как клятву, как заповедь, те слова, написанные мною ей в моей первой записке: «Будешь ты — будет все». Теперь я шел по жизни уверенно, тяжелая работа не смущала меня, она давала радость двух суток быть дома, быть рядом. Она давала средства к жизни в пять раз больше, чем это было в начале нашей жизни. Миром моей души, моего сердца и самой жизни была Варька, поэтому я не ощущал цепей, и меня ничто ни тянуло, ни манило. Ни юг, ни Москва для меня не являлись больше приманкой. Меня манил мой домик в «садах Черномора», который для меня был всем. На редкость покладистый, кроткий, порой беспомощный характер Варюшки вселял в меня уверенность в необходимости решать все вопросы, все трудности жизни самому и за себя, и за нее. Я не встречал сопротивления, оппозиции, часто создающие в семье размолвки и отчуждения. В решениях сложных проблем жизни мне приходилось доказывать необходимость того или другого решения. Существовала гармония, столь необходимая в жизни семьи, дающая крылья, а не ломающая их. Я всеми силами старался в первую очередь и во главу угла доставить счастье и полноту радости общения, учитывая ее слабые силенки, зная, что моих достаточно и хватит на многих. Я старался быть той стеной, за которой можно ей жить, любить и быть счастливой. Мы при всем этом не замыкались в кругу своего дома и счастья в нем, а широко делились всем, что было и на столе, и в сердцах. В нашем доме часто собирались наши общие друзья, поженившиеся и родившие своих детей. Все это не давало остыть страсти любви, влечению сердца, а укрепляло и создавало душевный покой и мир внутри и вокруг нас. Сейчас, спустя тридцать пять лет, пройдя суровую школу нелегкой жизни, о которой я буду писать, вплоть до сегодняшнего дня, я часто задаю себе один вопрос: «Где мы все это

растеряли?» На этот вопрос мне неминуемо придется отвечать, и моя главная задача быть объективным, честным и бесстрастным. Виновных найти всегда легче, найти вину в себе значительно трудней, но я должен это сделать, как бы ни трудно мне разобраться в самом себе и в моих дальнейших отношениях с Варей.

До этого пока очень далеко, и мы греемся у нашего очага, и ничто не омрачает наши души: ни мороз, ни вьюга за окном, ни полярная ночь. Это были самые счастливые годы нашей жизни. «Будешь ты и будет все». Зеленая елочка пахнет свежей хвоей. Мороз расшил свои узоры по стеклу, на сказку ль он похож иль на далекую весну? Мне с тобой везде весна, мне с тобой и в осень мило!

Новый год, 1954! «За тех, кто в море! За тех, кто там!» Это первое, за что мы пили даже в новогоднюю ночь. «За тех, кто в тюрьмах. За тех, кто в лагерях. За тех, кто в горе с нами. За тех, кто тут».

Полно друзей и грудных детей. Они мирно сопят с Маришкой рядом, а мы все живем своей неповторимой жизнью в эту новогоднюю ночь, радуясь тому, что есть. В апреле этого года должен освободиться Коленька. Как мчится время, промелькнуло Рождество, Крещение, замели по самую крышу домик февральские вьюги. Вьется дым не из трубы, а из вершины огромного сугроба, в котором лопатой прорезаны амбразуры окон, из которых льется теплый свет, озаряя сугробы светлыми бликами, маня к себе теплом и уютom, любовью и покоем. Растет, аукается, смеется, тянет ручки навстречу Маришка. Лепечет: «Бля, бля, бля», — светлеет небо на востоке, начало дня. Все ярче, все шире, а вот и заря всплеснула светом и ушла в закат. Двадцать третьего апреля я пошел в управление Интлага. Навожу справки: «Куда освобожден Романовский Николай Сергеевич?»

— В Печоры, на вечную.

— К кому можно обратиться и говорить о переводе его в Инту на вечное поселение?

— А кто вы и почему хлопчете?

— Я его приемный сын, сам на поселении, у меня свой дом. Романовский — человек слабого здоровья, одному в ссылке тяжело, вот и хочу взять к себе хоть на иждивение, как лучше!

– Пишите заявление, разберем.

Написал, подал.

– Придите через несколько дней.

Пришел.

– Ваше ходатайство удовлетворено. Все нужные документы перешлем в комендатуру Печоры.

– Разрешите мне самому за ним поехать с вашими бумагами и привезти его сюда.

– Хорошо, поезжайте.

Выдали пропуск на пять дней, выдали документы на перевод в Инту. Печоры километров на двести южнее Инты. Приехал и сразу в комендатуру. Комендант просмотрел все бумаги и объяснил, где мне найти Романовского. Маленькая гостиница, комната номер, а в ней Коленька.

– Откуда ты взялся? – воскликнул Коленька, вскакивая с постели.

– За тобой приехал. Выхлопотал тебя к себе на Инту. У меня там свой дом, жена и дочь Маришка.

– Батюшки, разбогател! А жена кто?

– Варюшка, тебе знакомая цыганка.

Все и обо всем была рассказано в одно мгновение, вчерне, впопыхах, о том, что у него будет своя комната, своя Маришка, свой дом, а в нем любимая жена, но моя.

– А ты меня бить не будешь? – неожиданно спросил Коленька.

– Обязательно буду, утром и вечером.

В комендатуре все нужные документы на перевод были оформлены так же быстро, как я рассказал Коленьке о своей жизни за эти годы, даже о шариках не забыл рассказать, все в одну кучу, потом разберемся, время хватит, жить-то вечно.

В поезде Москва – Воркута разговор пошел более обстоятельный, шаг за шагом. Дома нас ждала и поджидала Варюшка. Они обнялись, как старые друзья. Коленька поцеловал Маришку в темечко и сказал:

– У нее головка солнышком пахнет.

За праздничным столом вся семья в сборе. За тех, кто в море! За тех, кто там! Разговоры, разговоры без конца и края.

Утомленный, но радостный, лежит Коленька на тахте в малень-

кой комнате. В нашем полку прибыло. В нашем доме поселилось солнышко. Душа этого человека всегда была светлой, доброй и мирной. Гармония сердец не нарушилась, а стала еще гармоничней.

Скоро, очень скоро Коленька приобрел среди интинского бомонда славу нарасхват. Одни «бабеты» разучивали с ним этюды Шопена, другие изучали «пуркуа живупри» или «вашпудль ляйт». Сто рублей за урок. Бомонд нищал, мы богатели.

Летом, используя свой опыт строительства домов из ящичков, я маханул пристройку к дому, чем увеличил кухню и добавил еще одну комнату для Коленьки, подальше от ночей безумных, ночей бессонных, от Маришкиного плача, от засидевшихся гостей.

Напряженно гудели насосы, вздрагивали на предельных точках стрелки манометров. Шипел пар, ища выхода. Сегодня вечером мы с Хасаном приняли смену. Завтра седьмое ноября. На верстаке живописный натюрморт. На газете праздничная закуска. Под верстаком то, что надо закусить, предварительно крякнув, т.к. на севере пьют неразбавленный. Скоро полночь. Мы уже крякнули ни в чью честь, ибо не видели в этом смысла. Сейчас мы жевали вареную оленину, посматривая на стрелки манометров. По всему телу приятно разливалась теплота. В котельную вошел Гулямчик, уже давно работающий, как и я, кочегаром котельной.

— Привет, Лешинькэ! Привет, Хасанчик!

— Привет, привет. Иди к нам, хочешь?

Я вспрыгнул на верстак, уступая место на лавке Гулямчику, который явно был навеселе и неспроста заглянул к нам в котельную.

— Расскажи-ка нам, Мансур, как ты «тундром умирал», — сказал Хасан, наливая стаканы. — Как ты в эту пору голый плавал по кюветам?

— Умирал, не умер, плавал, не выплыл. Выпьем за Великую!

— А мы за нее не пьем, она великая для них, — Хасан мотнул головой, — для нас она тюрьма да ссылка, чего за нее-то пить? Это то же самое, что пить за веревку, на которой тебя вешать собираются.

Внутренний и внешний жар все больше и сильнее развозил Гуляма. По опыту своей совместной жизни с ним на водокачке я знал, что он от выпитого звереет и становится непредсказуем. Теперь, сидя на верстаке, я внимательно смотрел на него. В его гла-

зах зажигались недобрые огоньки, и у меня рождалось предчувствие чего-то нехорошего.

– Лешенькэ, чего ты так смотришь? Лешенькэ, а хочешь...

Глаза его не гасли, а разгорались чем-то зловещим, и это зловещее в нем искало выхода. Он вызывающе встал против меня. Хасан, ничего не замечая, шурувал котлы, я сидел на верстаке, упершись ногами в лавку. Мансур неожиданно взял с верстака большой, остро заточенный, самодельный нож.

– Лешенькэ! Хочешь, я сейчас тебя ударю?

– Бей, – спокойно ответил я, – только сперва скажи за что, за тундру, в которой умирал, иль еще за что?

Жизненный опыт мне подсказывал, что удар может быть неожиданный и ни за что. Все мое тело превратилось в туго сжатую пружину. Мансур стоял против меня с ножом в руке и скрипел зубами. Я сидел на верстаке выше его, не спуская глаз с ножа, упершись ногами в лавку. Рывком всего тела я бросился с верстака, схватив одной рукой руку с ножом, другой схватил его шею в «хомут», потрянул его грузное тело через свое плечо и спину, в одно мгновение распластал его на цементном полу котельной. Закинув подальше нож, я нагнулся над ним.

– Вставай, Мансур, иди спать.

– Лешенькэ, Лешенькэ, я встать не могу, коленка.

Я прощупал его коленку, чашечка была сбита ударом об пол. Она болталась под кожей.

– Хасан, шуруй котлы, я за «скорой».

Дело принимало непредвиденный оборот. Чашечка сбита, Мансур пьян, Великая Октябрьская, драка на работе. Все «вечники», с ними другой разговор. Примчалась «скорая», я ее встретил у депо. Было два часа ночи.

– Производственная травма, доктор! Сбита коленная чашечка.

Мансур на носилках, я рядом с ним. «Скорая» мчится в больницу. Дай Ты, Боже, чтобы там дежурил свой врач. Приемный покой. Агаси! Мансур трезв, как стеклышко, у Мансура производственная травма: поскользнулся, упал, сбил коленку. Акт составлен, мною, как свидетелем, подписан. Мансур на операционном столе. Я – в котельной. Срочно переписываем график дежурств.

Сегодня, согласно графику, дежурные Хасан и Гулям. У Гуляма производственная травма, я подменил.

Приходит утром Наумчик. Я рассказал ему все как было и не таясь, и как поступил. Наумчик все понял, Наумчик свой.

– Ты хоть поосторожней через себя кидай, а то некому котлы топить будет.

Много раз пришлось мне навещать Гулямчика в больнице и таскать ему гостинцы. Он долго ходил на костылях и, выйдя, получил на три месяца инвалидность. Меня подцепил агент по страховке жизни, с ножом к горлу пристал, не отцепишься, я сдуру и подписался. Иду и клянчу себя: «Вот идиот, деньги на ветер выкинул». Навстречу Гулямчик.

– Слушай, Мансур, иди скорей, там жизнь страхуют, ты знаешь, как это здорово.

Мансур поверил мне, что это здорово и застраховался, а потом пожалел брошенные деньги, вроде меня, и всякий раз при встрече напоминал мне, что я его втравил в «грязное» дело. Инвалидность, производственная травма, страховой полис – и Мансур мгновенно разбогател, государство ему отслонило три тысячи рублей.

– Мансур, ты мне должен половину отдать. Кто тебя подбил на страховку? Кто шиб тебе чашечку? Кто устроил тебе производственную травму?

Когда мы с ним начали разбирать по-дружески ночное происшествие в котельной, то он признался мне, что у него чесались руки всунуть мне нож.

– За что, Мансур? Что я тебе сделал плохого? Ты на меня имел зуб? Скажи!

– Лешенькэ, ты обидел мою Соньку.

– Я? Когда?

– Лешенькэ, ты, когда в депо, помнишь, продавали из вагона российскую картошку, заставил мою Соньку встать в очередь, помнишь?

– Было дело, но она лезла вперед всех и без очереди.

– Ты не должен был, она моя жена.

– И за это ты хотел меня маля-маля резать?

– Сейчас нет, тогда хотел. Пьян был. Сам знаешь, я дурной, когда перепью.



— Значит меня интуиция не обманула, Гулямчик. Я опередил тебя.  
— Не на много. — Помолчав, добавил. — Хорошо сделал.

До последних моих дней на Инте мы оставались друзьями, но пить с ним в компании или угощать его я опасался. В Гулямчике было что-то звериное, от диких гор или от пустынь унаследованное, хоть был он по натуре своей и добр, и отзывчив. Чужая душа — потемки, какие в ней там силы борются, Бог весть. Много, очень много раз в жизни меня спасала интуиция или может чьи-то руки берегли.

Многое постепенно менялось в нашей ссыльной жизни. Мягчал климат. Текла река жизни, медленно приближаясь к историческому моменту. Скоро грянет гром! Пусть сильнее грянет гром! Грянул и подкосились ноги. Грянул и перекрестилась Русь! С шумом рухнул идол.

О том, что творилось там, наверху, мы мало знали, газет не выписывали, все больше слухи, все больше надежды. Комендатура не злобствовала, отмечались с большим опозданием, легчал режим в целом. Все жили в ожидании чего-то, но мало кто мог предположить, что там, на самом верху, маленький, лысенький, с оттопыренными ушами деревенский пастух, впоследствии «соратник», лихо отплясывающий перед «хозяином» гопад, после его смерти так же лихо рубанет «древо жизни», на ветвях которого махровым цветом сам расцвел и вместе с ним вся компания «начинателей, продолжателей» великих идей. Рубанул! Свалил! И сам испугался. Мир ахнул! Железный занавес рухнул! Король голый! Икона, которой поклонялись, идол, перед которым курили фимиамы, низвергнут! Не отец родной, а палач! Не гений, а параноик! Невинные жертвы вопиют! Палачи затаили дыхание, что их ждет? Смиранные и тихие, в растерянности, заискивающе здороваются с нами, чуть ли не руки жмут. Купленик, встретив меня на улице, оправдывается. Людмила Фоминишна, «мать игуменья», робко спрашивает:

— Я вам ничего плохого не сделала? Мы ничего не знали, поверьте.

«Бабеты» в шоке. Пальчики холеные такие, все в золоте, одеревенели, не прыгают по клавишам, как бывало.

— Вы уж извините, Николай Сергеевич, а вы, кажется, беденький, сидели? Да за что же это?

Халилов, гроза Инты, отдает от всего сердца бедным деткам под ясли свой роскошный особняк. Полковник Жолтиков, тот самый, чей кобель помочился на вождя, встречается со мной, как единомышленник, дескать: «Я давно ее на это тренировал, вы, наверно, поняли тогда?»

В комендатуре объявление – «Явка отменена». Кто притих, кто в пьяных слезах, вроде старшего опера Интлага Лаврененко, клянется и божится, что он то и делал, что нас спасал от лютых бед и напастей. Целуйте его. Волнуются зоны. Тех, кого собрали не работать, а мучиться, не желают больше мучиться. Спиной уже не разговаривают, чуть ли не товарищами называют. Низкие, подлые ваши души, трепещут, боясь возмездия. Молва! Слухи! Выпускают! Выпускают! По лагерям комиссии. Реабилитации, свобода, ни за хрен собачий посажены 25 миллионов. Миллионы, и все ни за что! А сколько по тундрам с биркой, в траншеях один к одному, в привал? Сколько вдов, сколько сирых, сколько слез невинных? Сколько искалеченных, растоптанных жизней? Сколько с пулею в затылках? Кто в ответе? Ни корни ль дерева того, которое мы сегодня так усердно рубим? Найдутся ль корчеватели?

Златокудрая Маришка, выросшая на овсяном отваре, бойко бегала по комнатам. Кля, кля, мля, мшя, бля, бля. Головка ее все так же пахла солнышком, хотя солнышко давно скрылось на много месяцев. Коленька таскался по урокам, обучая томных «бабет» премудростям языка и гармонии.

В кабинетах давно исчезли «любимые черты», вместо них висел «Никита», показавший всему миру «Кузькину мать». Полковники до поры, до времени вложили в ножны свои карающие мечи. Вся их забота теперь была как бы сохранить свои «маршальские» звезды, ибо привыкли они на Севере выступать по-маршальски, не видя и не замечая никого, кроме тех, чьей кровью они питались. «Доноров» партиями освобождали все те же полковники, багровые хари которых сильно осунулись и побледнели. Тяжела для них была эта работа. Сажать – куда веселей, многие, не выдержав, уходили на заслуженный отдых.

В лагерях денно и ночью работали московские комиссии, рассматривая дела, реабилитируя, освобождая крупными партиями. На все наши вопросы мы получали один ответ: «В первую очередь

тех, кто в лагерях, вы ж на воле». Я накатал на имя генерального прокурора прошение о пересмотре дела и о реабилитации. Получил немотивированный отказ.

Написал вторично. Отказ. Многие из ссыльных рискнули съездить домой на побывку. Вернулись, никто им двадцать каторжных лет не предложил отсидеть. Упорно ходили слухи, что в отношении ссыльных есть указание отпускать. А где проверить, как узнать? Комендант жмет плечами. Приближался март 1956 года. Еще более упорные слухи, что есть указ, а его не выполняют местные власти, боясь оголеть шахты. План-то надо выполнять, лагеря отощали в рабочей силе.

Мысли, разные и противоречивые, слухи, одни других хлеще и настойчивей. Если начнется массовый исход, дом не продашь, бросишь, как все их побросают. Продать, пока не поздно? А как без него, где жить? Нас четверо. Поделился я своими мыслями с Гариком, приятелем по Абезю. У него свой дом, жена Томка, калининская девчонка и ребеночек. Переезжай ко мне, я тебе комнату одну освобожу, коль уезжать, то я свой шанхай брошу, кому он нужен. Продавай свою хату, она хоть денег стоит. С этими идеями я пришел домой. Я прекрасно понимал, что решать надо мне, но в то же время на мне лежит вся ответственность за непредвиденные обстоятельства, а кто их предвидеть может? Может статься так, что ни дома, ни свободы. Тут риск, кабы я был один, мне и думать не о чем. Все эти и многие другие соображения, за и против, выложил я на семейном совете. Если продавать дом, то продавать его со всем барахлом, взять только самое необходимое, упаковать в ящики и к Гарику, в сарай. Мнение было у всех одно и самое трудное: «Сам решай!» И я решил, решил самое рискованное – продать. Очень быстро я нашел купца не из вечников. Сторговался за семнадцать тысяч (тысяча семьсот). По рукам! Вещи, самые необходимые, в ящики, все остальное вместе с домом – как и сторговался. Деньги на бочку, магарыч пополам.

Обернулся я на свое детище и вроде не мое оно, чужое, словно и не жил, и не строил, словно и не было вовсе.

Вся наша комната у Гарика превратилась в одну кровать. Все вповалку, на полу. Проходит неделя, проходят две. Хожу на работу, шурую котлы, а в голове одна мысль, что предпринять? Пошел на

риск, так надо идти и дальше. Под лежащий камень вода не течет. Дождался зарплаты, написал Наумчику заявление об увольнении. Тот глаза вытаращил:

– Куда ты?!

– В Москву, Наумчик.

– Да кто тебя пустит? Ты что, очумел? Никого ж не пускают! Дом на кой-то хрен продал, а теперь, видишь ли, в Москву. Да тебя посадят, вот увидишь.

– Прошло время, Наумчик, сажать, сейчас отпускают, а не сажают. А дом продал потому, что как начнут отпускать, так все свои дома побросают, продавать некому будет, или цена им будет грош, так отдашь.

– Ну, а говоришь, что не айд, ты жид стопроцентный.

– Ты, Наумчик, так говоришь потому, что вы умных русских не видели, за дураков их считаете. Вспомни, как я Певзнера на место поставил!

– С какого числа расчет берешь?

– Завтра не выйду. Прощай, Наумчик, спасибо тебе за все добро твое, счастливо оставаться. Я поехал!

На следующее утро я пошел в железнодорожную кассу. Три взрослых, один детский до Москвы, на завтра, два нижних, если можно.

– Вставай, Коленька.

– Куда? Зачем?

– Коленька, слушай меня внимательно. Я купил на завтра нам всем билеты на Москву. Сейчас пойдем с тобой к коменданту. Ты парализован. Высунь язык и пускай слюну. Бормочи что-то несвязанное или мычи.

– Опять новая авантюра! Ты не можешь без них жить! Ты уверен, что нам выдадут документы?

– Без авантюр жить скучно, я даю тебе еще один шанс вспомнить это на следствии, если оно когда-нибудь будет. Мы с тобой ничем не рискуем. Не дадут, сдадим билеты да только. Надо рисковать, иначе мы тут бока пролежим. Пошли. Делай заранее идиотский вид. Помни, мы ставим спектакль. Тебе не надо учить роль, она у тебя без слов. У меня – сложнее!

Занавес!

Железный Феликс со стены смотрит с укором на вошедших. Язык, слюна, легкое бормотание, шарканье ног. Вот они поселились к стулу, развернулись, сели. Вид идиотский, все как надо. Комендант за столом в недоумении смотрит и ждет, что дальше.

— Товарищ комендант, я пришел вас предупредить, что в связи с тяжелой болезнью моего иждивенца, Романовского Николая Сергеевича, я вместе с ним завтра выезжаю в Москву. Очень прошу вас выдать нам нужные документы сейчас, если вы этого сделать не можете, то вот адрес, по которому прошу вас их выслать. Мне известно, что у вас есть распоряжение о снятии с нас ссылки. Человек может умереть, если мы будем медлить.

Комендант опешил. Язык его прилип к гортани. Он смотрел на меня, как баран на новые ворота. Наконец столбняк прошел, и я услышал русскую речь:

— Хрен с ним, пустьдохнет!

— Это с вами, а не с ним! А насчет подохнуть, мы еще посмотрим! Вам за эти слова придется отвечать, как за те смерти, которые висят на вашем счету. Я вас предупредил, завтра мы уезжаем. Как только приеду, я тут же обращусь в ЦК, там вам покажут «пустьдохнет». Ваше время кончилось.

Я подошел к Коленьке, стал его поднимать.

— Пошли, нам больше с ним не о чем говорить.

— Пойдите! Сядьте! Где ваши справки?

— Вот наши справки, возьмите!

— Подождите.

Он вышел из комнаты.

Коленька посмотрел на меня, я на Коленьку.

Через пятнадцать минут мы получили документы на выезд, по которым по месту жительства мы получим паспорта.

— Счастливо оставаться!

— Счастливо доехать!

Мы вышли на улицу.

— Ты его просто взял за глотку! — сказал Коленька, вытирая слюны с пиджака.

— А ему деваться было некуда, я все правильно рассчитал, так бы еще долго мы валялись на полу, пока они соизволят. Ишь ты,

пусть дохнет, не то время, и он сам знает, что не то. Привыкли, гады, права качать!

— Да, но сознайся, ты с ним очень нагло говорил, с ним разве так можно?

— Ах, будьте добры, скажите, пожалуйста, можно мне в Москву поехать? С ними, Коленька, говорить надо их языком, а с тобой — будьте добры, будьте настолько любезны, поедemте завтра в Москву.

— Ты обожаешь острые моменты, без них ты жить не можешь, ты в свою мать, она обожала, по ее словам, ходить по острию меча, и ты такой же.

Так, мирно обсуждая черты характеров, мы дошли до Гарика, там нас встретили восклицаниями.

— Ну, как!?

— Завтра в Москву! Вечная кончилась, начинается бесконечная! Все заорали: «Ура!»

Весть о том, что мы вырвались на свободу, собрала вечером всех друзей. Спектакль, данный мной и Коленькой в комендатуре, повторялся на бис.

Я, к сожалению, склонен радоваться и гордиться делами, мною совершенными, в то время, как вся моя жизнь и все пройденные мною пути и дороги не что иное, как постоянное, непостижимое милосердие Божие!

Моя вечная ссылка окончилась на шесть месяцев раньше, чем у других. Собраны все пожитки, заколочены ящики. Окончен судьбой положенный срок. Последние объятия, последний взгляд, последнее прощай!

Все дальше и дальше уплывают в вечность дымящие отвалы интинских шахт, серые, неприглядные, беспорядочно разбросанные домишки и заборы поселка, депо с его котельной, а там за ним одинокая водокачка, убогое пристанище печальных дней, а чуть правей, в «садах Черномора», сердцу милый дом. Прощай Инта! Прощайте добрые люди, протянувшие руки в беде! Прощайте неповинные души, чьи кости лежат по всенеобъятной, вечно замерзшей земле!

Стучат колеса, мчится поезд на юг, на юг, где нет бесконечной ночи, где нет сплошного дня.

Убегает, исчезает Урал, громадой белой — светлая колыбель невинных душ. Прогремел, промелькал Печерский мост, вон там, на берегу, у края мутных вод, гибли мы в декабрьский мороз, и за каждой спиной стояла смерть. Промелькнула Кожва, вот тут стоял вагон, из которого за ноги волокли досрочно освободившиеся тела. В нем безнаказанно грабил и смертным боем бил конвой в клетках запертых людей.

Там Танака-Сан неустанно повторял: «Касмар, касмар, касмар!» Там Ваня Саблин с чистой, детской верой этапом шел на смерть. Мчится поезд дорогой смерти, стучат колеса на стыках рельс, тут каждая шпала — загубленная жизнь, каждая рельса в крови.

Ухта! Тяжелая нефть для страны. Тяжкая смерть для людей. Здесь прощались мы с Иваном. Встретимся или нет, Бог весть?

Мчится, мчится поезд, колышется вагон. За окном глухая ночь, нет сил заснуть, всплывает в памяти моей другой вагон, другие люди, среди которых многих нет, но в памяти моей они живыми будут вечно!

В весеннее утро, солнечное утро, меня разбудили грачи. Грачи, грачи! Закричал я в восторге. Грачи! Десять лет не слышал я вашего крика. Милые, черные птицы, весенние птицы в лучах апрельского солнца кружились над гнездами, возвещая весну! Впереди и меня ожидали заботы. Новую жизнь строить с нуля, снова ни кола, ни двора, а где он будет, Бог весть, куда закинет судьба? Москва для меня закрыта, в ней я жить не имею права. В реабилитации отказано дважды. Меня манил к себе юг, дальний юг после крайнего севера, ласковый юг после жестокой тундры. Тихий плеск морской волны, цветущий сад, благодать земли. Обо все этом я мечтал, лежа на нарах, идя этапами, мечтал о тишине и покое своего дома, сада, подальше от суетного мира. Устал я от людского муравейника и всех кипящих котлов. Москва не прельщала меня, жизнь в общей квартире с Вариными родителями не входила в мои планы.

Мою давнишнюю мечту усмотрел в моих глазах тот хиромант из Будапешта. Вилла на юге, вилла на юге, вилла на юге — стучали колеса. Гудауты, Гудауты, Гудауты, Гудауты — перекликались с ними другие.

В моем кармане лежали два адреса в Гудауты, один из них к грузинскому князю, передать поклон и спросить совета. Там хотелось мне купить свою мечту. У берега моря плещет волна, у берега моря садик и дом, а в доме том я и она, да рыжая Мариха. Чем дальше мчится поезд, тем голубей весна. Россия! Милая моя, ихлестанная, распятая, заплеванная Родина! Церкви без крестов, скелеты куполов, ободранные, зашарпанные святыни «святой Руси».

Глаза все видят, все смотрят, радуются и плачут. Выжил! Возвращаюсь! Пережитое уходит, уходит в вечность памяти и возникает в ней, одно извечно — живое добро. Сколько суждено мне было его видеть среди мрака ночи и оно не угасало, и ночь не побеждала его!

Подмосковье, платформы, электрички, дачи, дачи, все как раньше, все как было.

Москва. Остановились вагоны. Открылись двери. Издалека вижу Ваню Сухова. Он в Москве, и я из Инты дал ему телеграмму. А вот Борис Иванович, мой новый тесть. Вот Маргаритушка! Тетя Граня, дядя Костя, весь бомонд. Вокзальная суета, объятия, чемоданы, ящики, шум большого города.

Знакомые улицы, как старые друзья ушедшей юности, встречаются и провожают. Курский вокзал, знакомый дом на площади, крутые лестницы, дверь, которая когда-то так плотно захлопнулась за мной, что казалось навсегда. Александра Ипполитовна сдержанно радушная, поцелуй в шейку и знакомая комната, в которой я не один раз бывал в своих мечтах и горьких снах на нарах. Все прошло, и все вернулось. Через несколько дней я поехал в Ленинград поцеловать Ивана Ивановича. Встреча с ним была теплой, радостной. Постарел он за эти десять лет. После Сталинского разгрома уцелел физически, раздавлен морально. Ушел от дел, пишет труды, живет на пенсию — фестивальные годы миновали, мальчишка! Все эти десять лет он ежемесячно посылал Тоне тысячу рублей на Сашку. Сидели, пили вино и слушали друг друга. Я рассказывал ему о своих планах, о том, что днями поеду в Гудауты приискать там домик и перебраться туда, если удастся, навсегда. На прощанье он дал мне три тысячи, сконфуженный за такую малость. Я благодарил его за Сашу, за его помощь, за все его добро ко мне.



Снова стучат колеса. Москва и снова вагон. На юг, на юг мчится поезд. Гудауты! Зеленые пальмы — не в кадлушках, голубое море — не на открытках. Остановился по первому адресу. Мир тесен. Разговорились, оказалось чуть ли не в родстве, но в каком-то очень дальнем. На столбах по городу полно старых и новых приклеенных бумажек: «Продается, продается».

Хожу по адресам. Тридцать, двадцать пять тысяч, дешевле нет. Советуют пройти в селение, вон оно, отсюда видно, там дешевле. Плещет ласковое море у самых ног, тут же, за низеньким забором, утопая в зелени цветущего сада, саманный домик с терраской, с огородом за ним. В окошки виден сад и море, бархатный пляж, а вдаль — синеют горы, а ближе — амфитеатром белые Гудауты. Не рай ли, не мечта? И всего шестнадцать тысяч, но земля не своя, земля колхозная. Чтобы купить, вступай в колхоз. Я готов на все, что мне после лагеря колхоз? Руки есть. Силы тоже, на всякий случай есть «глазное дно», всегда ослепнуть можно. Селение-то, Абхазское, а мне какое дело, все мы люди. Иду в колхоз.

— Хочу дом купить, вон там у синя моря.

— Вступай в колхоз, пиши прошение. Мы на правлении его рассмотрим и решим. Таков устав.

Написал, отдал.

— Приходи через день. Дадим ответ.

Вечером решил я зайти к грузинскому князю, передать поклон и завести знакомство. Сакля, вся в коврах, тахта, над ней кавказское оружие висит крест на крест, сабли и клинки, старинная утварь на полу и князь. Высокий, стройный, седая голова, кавказские усы, череска и гостеприимство на лице.

— Садись, душа любезный, гостем будешь. Откуда, как и что? О! Воркута! Бывал я там!

Рассказываю зачем приехал, что сосватал дом в селении рядом. Князь смотрит на часы.

— Послушай старика! До поезда осталось два часа. Садись и поезжай в Москву. Ты, братец, из одной тюрьмы лезешь в другую. Колхоз — та же тюрьма, да еще в Абхазии, здесь тебя в порошок сотрут. Не думай ни о чем, на поезд и домой. На прощанье — рог вина! Ала верды! Ала...

От князя на вокзал и домой. Знать не тут, а жаль.

А тот князь грузинский спас нам жизнь. Через два года мощной волной все селение было смыто. Об этом я прочитал в газетах. Ласковая волна плещется у самого дома, а в нем я и она, да златокудрая Маришка!

Зачем, для чего, с каким сокровенным смыслом хранит, бережет и ведет нас Божия рука по темным лабиринтам жизненных путей?

Вторая попытка найти пристанище не обошлась без участия в ней недобрых людей. Метался я не потому, что манил меня юг, а потому, что человек не знает своей судьбы и ищет ее.

Сейчас она мне предельно ясна, когда передо мной, как карты на столе, разложена вся моя жизнь. Ни одной из них не передвинуть, не поменять местами. А завтрашний день открыт, карта лежит рубашкой вверх и не подсмотришь.

В Москве меня ждала неожиданность — продается дом под Новороссийском. Вот план, вот сад и огород. Десять тысяч. Пять сейчас, пять там, после купчей. По рассказам вроде все хорошо, сватает дом тети Гранина знакомая. Я уже говорил, что я не имел права жить в Москве согласно справке об освобождении из ссылки. Москва и крупные областные центры, а также все столичные города республик для меня были закрыты. Где-то необходимо было обосновываться с семьей, работать и растить ребенка. Коленька сразу же прописался в Александрове, сто километров от Москвы. Что мне там делать? Варюшка в Москве, я там? Это не выход. Купить в Александрове домик и переехать туда? Там на дома баснословные цены. Снимать? Дорого, не вытянуть. Моей огромной ошибкой было то, что я всецело полагался на свои силы, не видя в Варе вторую рабочую силу. Я не видел ее не потому, что не хотел, а потому, что ее не было. Кроме дома я искал кусок земли, который бы кормил. Тогда я не мог все взвесить, чтобы не ошибиться.

Неприятный разговор с Александрой Ипполитовной подстегивал меня скорее решать главное, а главным для меня был свой дом. Поверив, доверившись честности человеческой совести, я отдал в Москве пять тысяч и купил «кота в мешке». Погрузив весь скарб в вагон, мы тронулись в путь, фактически в никуда. Меня могут резонно спросить, как же ты, такой ушлый проходимец, с лагерным стажем, попался на удочку проходимца? «На каждую

старуху, есть своя проруха». Но этого еще мало. Когда мы на грузовике влезли на гору Сапсай, и я увидел вместо дома турлучный сарай, я отдал проходимцу остальные пять тысяч.

Это была не Евангельская добродетель, это было отчаяние! Почти всю свою жизнь я старался уйти от зла, не внутри меня сидящего, то особая статья, а от злых людей, при этом я всегда что-то терял, но несмотря на это, я уходил с глаз долой, чтобы пресечь в себе обиду, чтобы не разжигать вражду. Поэтому я отдал еще пять, будучи поставлен в безысходное положение, понимая, что я остаюсь гол.

Я начал думать, как построить хату на этом пустом месте. Руки опускались. Местные бабенки рассказали Варюшке, что тут есть человек, который хотел у них купить этот участок за пять, те не продали и нашли дурака в моем лице. Мы решали, что нам надо как можно быстрее продать купленное и мотать удочки в Москву. Что мы и сделали незамедлительно, потеряв пять тысяч.

Тут необходимо забежать немного вперед и рассказать, как рука Божия вернула нам потерянное. Варюшка устроилась на работу и ей там, буквально насильно, всучили несколько облигаций первой денежно-вещевой лотереи, которые продавались на каждом углу и которые мы по бедности своей не покупали. А тут просто заставили. Приходит она и жалуется на потерю денег. Проходит время, в газетах опубликован тираж выигрыша. Она глазам своим не поверила: мы выиграли мотоцикл. Обозначенная стоимость его 5000 рублей. Копейка в копейку. Я взял мотоцикл и продал его за 6000, покрыв тем самым все накладные затраты, связанные с этой покупкой «кота в мешке». Бог правду видит, да не скоро скажет!

Снова Москва и Ваня Сухов на вокзале. Я поехал в Александров, снял на время чулан у Коленькиной хозяйки, прописался. Там получил паспорт и сел меж двух стульев. Одна нога в Москве, другая — в чулане. Так раскорячившись жить трудновато, а что поделаешь, коль судьбе так угодно? Другого выхода у меня не было.

Вернувшись с севера, у многих побывал, со многими повиделся, а главного человека не видел, встретиться я с ним раньше, я бы не метался в напрасных поисках.

Как-то сажу я у Леночки с Ясенькой, вы их помните — это еще с Мурوما друзья моей мамы. С ними жила тетя Соня, двоюродная

сестра Саши Некрасова. К ней в это время зашел Саша, я его впервые увидел за все эти десять лет. Зашел разговор обо мне. Я рассказал, что два раза писал в прокуратуру и дважды получил отказ. Саша Некрасов рассказал, что он один реабилитирован из всего нашего дела. Он считал, что мне необходимо идти на прием к зам. ген. прокурора Самсонову.

— Хороший мальчик, — добавил он, — иди, ты ничего не теряешь.

И я пошел по его совету. Предварительно записался на прием к Самсонову. Подошел назначенный день. У кабинета народу много, все такие же, как я. Я решил идти последним. Пришел мой черед. Любезное обхождение, садитесь. Сел, назвал себя, объяснил суть дела. Самсонов достал папку с моим делом. «Хранить вечно». Листает, смотрит.

— Вам правильно отказали, вы не подлежите реабилитации, так как обвинялись в подготовке террористического акта на членов правительства!

— Это неверно. Мне пыталось следствие навязать эту статью, но после очной ставки с Корнеевым и Романовским это обвинение с меня было снято, в чем мне дали расписаться. Кроме того, посмотрите решение ОСО, в нем я приговариваюсь к шести годам лагерей, по статье 58-Ю-П часть 2. В решении ОСО нет статьи террора.

Самсонов внимательно перелистывает лист за листом. Смотрит решение ОСО. Террора нет. Смотрит обвинительное заключение. Террор есть. Листает, листает.

— Ничего не пойму. Вы говорите была очная ставка?

— Да, была, на ней и Корнеев, и Романовский отказались от своих, ранее данных показаний на меня, вырванных у них путем применения насильственных средств.

— В вашем деле нет материала об очной ставке.

— Как нет? Значит этот материал был невыгоден следствию, на очной ставке провалилась состряпанная версия, поэтому они и изъяли эти документы из дела. После очной ставки мне выбили все зубы.

Я открыл пасть.

— А вы не знаете, где сейчас Корнеев? Нам необходимо для пересмотра вашего дела его подтверждение о том, что очная ставка

была, и что он и Романовский на ней отказались от своих показаний. Без этого мы пересматривать дело не можем.

— А где его искать? Прошло десять лет, он может быть давно умер. Романовский жив и я знаю, где он, о Корнееве понятия не имею, жив ли он вообще? Прокуратуре легче навести справки о нем, чем мне искать ветра в поле.

— Прокуратура розысками не занимается. Ищите, найдете — приходите. Без Корнеева, я вам повторяю, мы не можем ваше дело рассматривать.

Аудиенция окончена! Полнейшая безнадежность! Крах! Все надежды рухнули! Где искать? Что искать? Кости, если умер, ничего подтвердить не могут. Знает ли о нем вообще кто-нибудь? Жив ли он?

С такими грустными мыслями я и пришел к Варе. Что делать? Я решил сейчас же ехать в Александров и все рассказать Коленьке, может быть он что-то подскажет, посоветует?

Ярославский вокзал. «Поезд до Александрова отправляется с третьего пути». Всю дорогу страшная тяжесть на душе давила грудь. Тупик, черный тоннель. Мелькали платформы, Абрамцево, Хотьково, Семхоз. Показался Загорск со своими соборами и высокой колокольней. Выйти! Выйти! Выходи, выходи! Обязательно выходить. Какая-то сила выпихивала меня из вагона. Таким силам я подчиняюсь, зная куда они меня зовут. Они звали меня к мощам, к мощам! Туда, туда. Только там помощь, только там и нигде больше. Я вышел! Я пошел!

Троицкий собор, освещенный сотнями горящих свечей у раки преподобного Сергия. Пронизанные мерцающим светом, уходя в полумрак высоты, смотрят на меня лики святых из деисусова чина. За колонной справа невидимый народ пел на распев акафист преподобному, слышны были только голоса, наполняющие душу молитвой, и покой. Сзади стояли люди на коленях и горячо молились. К мощам текла живая нескончаемая река человеческих душ, обремененных житейскими скорбями и бедами, поднимаясь к святой раке, вставая на колени, они просили помощи. Целовали святые мощи и медленно спускались со ступенек солеи. У изголовья иеромонах в черной мантии, епитрахили и поручах, обратясь лицом к народу, тихо и внятно, нараспев читал Евангелие:

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обременении и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе и научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящите покой душам вашим. Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть». Поднявшись к мощам, я встал на колени и крикнул в сердце своем, из самой его глубины, вопль о помощи. Слился он в единый вздох:

— Хоть ты мне помоги!

Поклонился в землю, поцеловал изголовье и вышел.

У меня было такое ощущение, что я там, у преподобного оставил всю свою печаль, и меня больше ничего не давило и не мучило, я был спокоен.

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обременении и Аз упокою вы...». На поезде я доехал до Александрова и пошел большим картофельным полем, за которым был дом и мой чулан. Заходило солнце, расплескивая закат по вечернему небу и по всей земле. Еще издали я увидел так знакомую мне фигуру Коленки, медленно идущую в лучах заката мне навстречу. Он не ожидал меня и не встречал, а просто гулял, как он говорил, дефилировал. Мы повстречались.

— А, это ты. А знаешь, кого я только что встретил совершенно случайно?

— Кого? — спросил я равнодушно.

— Ивана Алексеевича Корнеева.

У меня подкосились ноги, меня поразило громом! Я только что кричал о помощи! Хоть ты мне помоги!

— Когда ты его встретил?

— Ну... час назад, не больше. Он только недавно сюда приехал, у меня есть его адрес.

— А ты знаешь, что ...

Солнце зашло за горизонт, мы все ходили по картофельному полю, а я рассказывал, потрясенный чудом.

В Александрове можно годами жить и не встретиться, а тут... Мой крик о помощи был услышан, и помощь пришла незамедлительно. Уже темнело. По адресу я нашел улицу, дом и вошел. Передо мной стоял в кальсонах и ночной рубашке сутулый испуганный Иван Алексеевич. Под мою диктовку он написал заявление на имя Самсонова, в нем он подробно рассказывал о следствии,

о применяемых к нему мерах воздействия, о данных им по принуждению ложных показаниях на Арцыбушева А.П. и на себя. На очной ставке он и Романовский отказались от ложных показаний, после чего с него, Корнеева, обвинение по этой статье было снято. Подпись, число, адрес.

Вечером Коленька написал от себя подобное заявление.

Утром, ни свет ни заря, я сел в электричку и к началу рабочего дня стоял у дверей кабинета Самсонова. Он еще не забыл меня и был удивлен быстротой находки. Внимательно прочитав обе бумажки, он нажал кнопку. Вошел человек в прокурорской форме.

— Я вас слушаю.

— Вне очереди рассмотреть все данные дела на реабилитацию!

Вскоре мы все были реабилитированы.

**«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии и аз упокою вы. Возьмите иго Моё на себе и научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящите покой душам вашим. Иго бо Моё благо и бремя Моё легко есть»**

(Евангелие от Матфея, гл. 11, 28-30.)





АЛЕКСЕЙ АРЦЫБУШЕВ  
**МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ**

ISBN 5-87785-028-8

УДК–821.161.1-94

ББК–84(2РОС=РУС)6-4

А-88

© ЗАО «Духовная Нива», 2005

© А.П. Арцыбушев, 2005

Оформление, текст, составление ЗАО «Духовная нива»

Подписано в печать 14.04.2005. Формат 45х60 1/16

Печ. л. 23. Гарнитура Newton. Бумага оф. №1 80 г/м<sup>2</sup>

Переплет №7. Тираж 600 экз.

ЗАО «Духовная нива», Москва, Большой Коптевский, 16

Тел: (095) 152-0103